

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ПОЛУВОЛЯ (В «БОЛЬШОЙ ЗОНЕ»)

Вступление в шестую часть

Период моей жизни, который должна охватить эта часть, время после ссылки и до моего окончательного, но экстренного возвращения в Москву в самом конце 1954 года, — период межеумочный. Был он — особенно поначалу — суматошным. И очень опасным. Но ведь и вообще в 1951 году в основном не выпускали, а брали — в том числе и «повторников», в которые я мог легко угодить и очень этого боялся. Начинались и антиеврейские репрессии — и я о них не думал. О них ходили только слухи. Духовно этот период определяется тем, что, как уже знает читатель, я, отнюдь еще не освободившись от коммунизма, был уже абсолютно свободен от сталинщины, пароксизмы которой душили не только тела, но и сознание многих — я имею в виду мыслящих порядочных людей. Это повышало опасность моего существования. Но, видимо, меня хранил Бог. И люди, в большинстве вовсе со мной не согласные. Но об этом и будет речь во всех главах этой части.

Глава первая. Гость с того света

Прикосновение к «воле»

Предыдущая часть кончилась на том, что тракторные сани, на которых я покидал Чумаково, тронулись, и Алик долго махал мне вслед своими «собаками» — большими рукавицами из собачьего меха. Очень долго стояли у меня потом в глазах эти «собаки».

Но сани ползли, и я уезжал. И это было счастье. Я ведь, в отличие от Алика, совсем не приспособился к местной жизни (люди и отношения с ними — другое дело), и то, что меня отпустили, все же как-то повышало мои шансы на выживание. И должно было меня радовать. Но был ли я счастлив в тот момент? Не знаю. Скорее, только взволнован. Непосредственно ведь когда покидаешь насиженное место, вообще больше волнует то, что оставляешь, чем то, что тебя ждет, к чему даже стремишься. А меня к тому же ждала только неуютная неизвестность. Хотелось где-то пристроиться и жить. А «пристроиться» при моих «квалификациях» и в большом мире было почти так же трудно, как и в Чумакове. О перспективах же состояться — заниматься хоть отчасти своим делом — и думать было смешно. Речи не могло быть не только о публикации, а просто о какой-либо легализации своих стихов. Наоборот, надо было зорко следить за тем, чтоб они случайно не попали на глаза кому не надо. Короче, меня ждал мир, где все мои мысли и чувства были нелегалны. Все так.

Но в двадцать пять, и особенно в момент, когда твое положение облегчается, трудно полностью предаваться бесперспективности. И за полной неуверенностью робко таились надежда и радость. И все же вопреки очевидности я собирался жить, следовательно, состояться.

Пора понять, что пафос ложный
Не годен в верные друзья.
И поступать всегда, как можно.
И понимать, чего нельзя.
Уметь молчать, уметь таиться,
От посторонних скрыв вполне
Мощь огнедышащих традиций
У ровных строчек в глубине.
Но только в глубине бездонной,
Закрытой гладью... Для того,
Чтоб тот, кто будет другом — понял,
А враг — не видел ничего.
Как глубину у небосвода,
Когда вокруг метет метель.
Как сердце у бойца свободы
Неслышно бьется сквозь шинель.

Эти стихи — воплощенное желание жить, оставаясь человеком, личностью, самим собой в условиях, когда все

вокруг специально направлено против этого, когда это немыслимо, почти неприлично (зря и опасно тревожит людей) и не видно никакого просвета впереди. Стихи эти — тогдашние. Сейчас я исправил только последнее четверостишие — 2-ю и 4-ю строки. Было «Как воздух дней, когда апрель» и «На коем серая шинель». Стало выглядеть не так неловко, а суть не изменилась.

Наверное, и по истокам, и по аксессуарам это стихи большевистские, в них воплощено стремление защитить воображаемую высокую суть этого явления от профанации.

Сегодня, сколько ни повторяй это, все равно многим трудно представить, что — коммунизм в коммунистической России в течение многих лет был запрещенной и свирепо наказуемой идеологией. Нелепо, но что делать — так это и было. Сталинщина не выносила никакой реальной духовной подлинности, но особенно свирепо, если она проявлялась в следовании той идеологии, которую она якобы представляла. Конечно, и эта программа — утопичная и невыполнимая. Не эта, пусть порочная, идеология, а многослойная и властно навязываемая нелепая ложь заполняла все поры общественного сознания. И отчасти бытия. И эти стихи в конце концов — просто о верности себе. И, кроме того, они странный *modus vivendi*, якобы найденный в обстановке небытия.

Ведь было и в тогдашнем воздухе нечто такое, что — и помимо молодости — эту мою «утопию» поддерживало и питало. Не коммунизм — наверное, само ощущение тока жизни, несмотря ни на что воспринимавшейся как единое целое. Целое, которому я все равно ощущал себя нужным. Даже тем, кто слушал меня со страхом — все-таки и их это непосредственно касалось, было их судьбой. То, что происходит сегодня, в конце века, тоже всех касается, но такое впечатление, что это ощущение общей судьбы исчезло. Под «общей судьбой» я имею в виду совсем не то, что теперь в тусовочных кругах надменно именуется политизированностью, а просто ощущение жизни как общей ценности, как общности, без которого нет ни личности, ни искусства. Ни культуры. Вообще ничего нет. А уж во времена моей молодости ощущать эту общность и в ней себя личностью, игнорируя проникшие во все поры бытия политические обстоятельства, было и вовсе невозможно. Таким небожителем можно было только притворяться — пусть перед самим со-

бой. Все равно. Для творчества это непродуктивно. Это отрыв от стихии жизни, а не следование ей.

Тогда эта стихия ощущалась. И тянула жить. И все-таки не обманула. Доказательство? Все эти трудные годы я оставался самим собой, но выжил. Правда, жил я не по столь аристократически вознесенной программе, как в этих стихах. Да это было бы и невозможно — поэзия не разговор посвященных. Но это выяснилось потом, спустя годы. А пока я ехал навстречу неизвестности — своей судьбе, у которой в тогдашних обстоятельствах не было никаких шансов сбыться. Конечно, все это висело над моей душой, но временами, конечно, отходило, меркло перед главным впечатлением — я еду. Другими словами, делаю то, что еще несколько дней назад было для меня невысказанным, каралось двадцатью годами каторги. То есть несколько дней назад я еще был прикован к месту цепью и привычно грустил на этой цепи, а теперь меня с этой цепи спустили.

Стоял тридцатиградусный мороз, но это никого, в том числе и меня, не озадачивало. Наоборот, он и дал возможность этой экспедиции состояться. Такого потепления она уже почти в полной готовности ожидала несколько дней — стоявшие до этого холода парализовали возможности и людей, и механизмов. А теперь тракторный поезд (трактор и несколько тракторных саней с грузом) как ни в чем не бывало двигался по дороге на хорошей пешеходной скорости, а люди, сидевшие в санях, когда начинали замерзать, прыгивали с них и бежали рядом — пока не согрелись и не уставали. Так и ехали. И я, и все мои спутники.

Кстати, одним из них оказался Петя. Тот самый плотник Петя, который выручил меня летом — причем в долг — и чья мать не сказала ему, что я этот долг через нее вернул. Компенсацию за этот долг он и сейчас отказывался принимать. Теперь Петя навсегда покидал родную деревню — переезжал в Татарск (станция Татарская) Омской области, куда его звали родственники. Только с ним одним мы оказались попутчиками и после Барабинска — Татарская расположена километрах в ста пятидесяти западней Барабинска по магистрали. Путешествие остальных завершалось барабинской нефтебазой, куда они были командированы за бензином для МТС.

Ночевали мы в какой-то деревне, названия которой я не запомнил. Встал вопрос о выпивке и закуске. Внешне

сложный, потому что магазин уже не работал, но, по существу, простой — потому что хозяева избы, где мы остановились, показали нам дом продавщицы. Тут только с меня взяли «плату за проезд» — 25 рублей на пол-литра. Практически это была не плата, а вклад в общий котел, поскольку нам предстоял ужин. И, как мне кажется, мой взнос не превышал взноса остальных. Разговоров не помню, помню обстановку дружества и сердечности, такую нередкую тогда в России. Участвовали в этом застолье русские и немцы, да вот и еврей в моем лице затесался, могли там быть (а может, и были) и татары — значения не имело. Атмосфера была простой и чистой. Все понимали мое состояние и положение, желали получше устроиться там, где я буду жить (предполагалось, в Тюмени). Атмосферу этого застолья я никогда не забуду.

Утром мы снова тронулись и приблизительно в полдень прибыли на нефтебазу. Оттуда мы с Петей шли пешком. К счастью, у него в Барабинске были родственники, и они нас любезно приняли. Но нам воспользоваться их гостеприимством не пришлось. Мы решили на минуту сбегать на станцию, узнать расписание. Но на первом пути стоял зеленый состав из цельнометаллических вагонов — я таких еще не видел. Оказалось, что это какой-то дополнительный состав на Москву, выбившийся из расписания. Нам сказали, что стоит он уже два часа и простоят еще столько же. Мы бросились за вещами и, запыхавшись, вернулись назад. Поезд, как нам показалось, стоял так же мирно. Мы без спешки купили билеты — Петя, которому было ехать всего ничего, в общий вагон, а я — на среднюю полку в «комбинированный». Трудности это не составило — возле касс никого больше не было. После этого мы спокойно вышли на перрон, полагая, что у нас еще есть час-полтора в запасе. Но оказалось, что это не так. На перроне царил та несколько торжественная напряженность, которая в России обычно предшествует скорому отправлению дальнего поезда. Озабоченно куда-то спешил дежурный, встал на положенном месте милиционер, пассажиры, выходявшие подышать воздухом или купить чего поесть, спешно бежали к своим вагонам, у каждого из которых с флажками в руках ждали отправления проводники. До этого мы собирались, заняв свои места, выйти еще на перрон, прогуляться, даже в буфете посидеть, но тут сразу стало ясно, что такое нам

не светит, что надо спешно прощаться. И мы наскоро простились друг с другом и, расставшись навсегда, бросились искать свои вагоны. Расставшись навсегда! — сказано просто. А ведь это в спешке, в озабоченности — как бы успеть! — навсегда исчез из моей жизни человек. Нет, не близкий, не друг — просто хороший человек, которого я знал и который однажды меня выручил. Уезжая, я не искал его, чтоб проститься (как и он меня), и если бы мы сейчас не оказались случайными попутчиками, я бы теперь в своих сложных обстоятельствах даже не вспомнил бы о нем. Но мы ими оказались, а теперь расстались — оба с частью своей жизни.

Правда, если меня не подводит память, я увидел его еще раз. На другом перроне — в Татарской. Кажется, я даже специально вышел для этого из вагона. И как сейчас вижу его озабоченно спешащего куда-то по этому перрону вдоль состава. И тут мы последний раз тепло кивнули друг другу, ведь здесь, в этой толчее, среди этого множества, больше не было никого, что-либо знавшего о нас. Кивнули, может, выкрикнули что-нибудь на прощанье — и это все. Неужели я все это выдумал?

Но, так или иначе, на каком бы перроне мы с ним ни простились окончательно — на барабинском или в Татарской, — с исчезновением Пети последняя моя связь с Чумаковым оборвалась. Начиналась другая жизнь.

Началась она как бы с символа, — с баклажанной икры. На какой-то большой станции (не на той же ли Татарской?) я увидел за стеклом перронного ларька банку этой икры. Читатель, не читавший или забывший третью часть этой книги, удивится: что это еще за символ! — консервы они и есть консервы. И будет прав. Но именно эта (точнее, такая же) стеклянная банка с металлической крышкой, была моей первой (и единственной) покупкой после денежной реформы и отмены карточек. Недоеденную половину этой банки я при аресте оставил на высоком подоконнике литинститутского общежития. И потом я часто с болью и с досадой вспоминал о ней. Она долгие годы была чувственным воплощением начавшейся, наконец, по-настоящему нормальной послевоенной жизни и одновременно моей — ножом по живому — отрезанности от нее. И даже — особенно поначалу — вообще от гармонического развития.

И вот она стоит, эта банка: бери — не хочу. Она не могла теперь восстановить мою «связь с гармоническим развитием», но что-то напоминала и чем-то взволновала. Восстановленными возможностями, что ли? Не знаю. Но я тут же ее купил и с нею в руках торжественно вернулся на свое место. Здесь раздобыл у кого-то из пассажиров консервный нож и поспешно, предвкушая восстановление блаженства, стал отдирать от нее металлическую крышку. И под стук колес (поезд успел за это время тронуться), одолев это последнее препятствие, приступил наконец к поглощению ее содержимого. Но ожидания не оправдались, особого блаженства я не испытал. Икра была по-прежнему вкусной (я и теперь ее люблю), но ничего чудесного и удивительного в ней не было. Не то, что тогда, три года назад, в первый день бескарточной торговли и последний перед моим арестом! Вероятно, тогда ее вкус был связан с радостью и надеждой. Да и что греха таить — голодней я тогда был. Так или иначе, теперь это яство воспринималось совсем по-другому, чем тогда. Видимо, и вправду нельзя дважды ступить в один и тот же поток.

А поезд шел дальше. В Москву. А для меня пока — в Свердловск. Вагонных впечатлений у меня в памяти почти не осталось. Только помню мрачного, всегда насупленного офицера-гэбиста и его милую жену. Они ехали с маленькой дочерью. Запомнил я эту женщину потому, что она попросила меня уступить на время свою среднюю боковую полку ее девочке — ребенок устал и давно не спал, — и когда я согласился, благодарно мне улыбнулась. Только и всего. Но почему-то эта ее мимолетная улыбка запомнилась мне. Нет, это не промельк несостоявшейся love-story — ничего подобного. Улыбка ее была милой, смущенной, женственной, но никак не кокетливой. Слишком она для этого была занята семейно-дорожными заботами. Вот дочь устроила на отдых, теперь надо мужа обиходить. Пространство тесное, но устраиваться надо и здесь. К тому же сношения с внешним миром, с другими людьми — а в поезде их не избежать — лежали тоже на ней. Муж ее, бирюк, был на это органически неспособен. Где уж тут кокетничать! Да еще с человеком много моложе ее. Она вообще производила впечатление интеллигентной женщины, какового муж ее, гэбэшник, не производил. Уровень ее интеллигентности остался для меня тайной — я с ней и словом не перемолвился, но

в ее улыбке, приветливой, но как бы извиняющейся, явно ощущалась вошедшая в привычку тяжесть мезальянса. Какая судьба свела двух этих людей?

Впрочем, нехватка мужчин — фактор серьезный, и мезальянсы в те годы не были особенно удивительны. Но мне казалось, что разгадка этого мезальянса в другом — слишком мила была эта женщина, чтобы на нее не было спроса. Скорее, этот бирюк женитьбой спас ее в трудных обстоятельствах. Когда ей что-то грозило. Может, в семье кто-то был репрессирован, и к этому придирались. Может, пребывание в оккупации дорогу перекрыло. А может — и того хуже — была на работах в Германии, и из-за этого под подозрением. Много могло быть такого, что считалось тогда виной и прегрешением и могло поставить советского человека под удар. На ней, может быть, уже затягивалась петля, а этот бирюк женился на ней и спас. Такое тоже случалось, если, конечно, сама не была репрессированной. Впрочем, и такой случай мне известен — когда лагерный гэбист ушел со службы и женился на освобождающейся «политической». И только уходом со службы отделался. Все бывало. Всякие предположения крутились тогда в моей голове — возможно, по отношению к ней романтические и придуманные, но для тогдашней жизни вполне реальные.

Впрочем, тогда это меня занимало меньше, чем сейчас, когда я об этом вспомнил. Мне и без того было о чем думать. Из всего, что меня ждало, я мог быть уверен только в одном — что в Свердловске мне предстоит встреча с друзьями, Анкой и Гришей Тамарченко: они меня пригласили и ждут. К ним и влек меня сейчас поезд.

По моим первоначальным расчетам он должен был добраться до Свердловска этим вечером. Но поезд, выбившись из расписания, все время наращивал опоздание, и потом меня начала согревать рабская надежда, что он и дальше будет накапливать опоздание и доберется до Свердловска только утром. Это тоже меня устраивало. Но поезд как назло вдруг припустил и стал быстро нагонять упущенное. Все яснее и реальнее становилась неприятная перспектива выгрузиться из вагона среди ночи. И действительно поезд особо не нагнал, но достаточно, чтоб оказаться в Свердловске не вечером и не утром, а, как я и боялся, в самое неудобное для меня время — на изломе ночи, часа в четыре утра.

Выхода не было, я подхватил свои вещи — не ту ли корзину, с которой меня арестовали? — и вышел из вагона. Январская ночь, хотя и разжиженная вокзальными огнями, было холодна и неуютна. Было зябко. Ехать к Тамарченкам явно было слишком рано. Хоть и друзья, но зачем их будить среди ночи? Да и соседей можно потревожить, а это неосторожно — можно привлечь к себе внимание и вызвать опасное любопытство. Да и ехать было не на чем — трамваи не ходили, а такси было словом не из моего обихода. Как-то не вязался я в своем сознании с выражением «взять такси», оно витало где-то намного выше моего социально-психологического уровня. Но деваться куда-то надо было, где-то надо было ждать наступления утра. Оказалось, что проще всего провести это время на вокзале — к моему удивлению, туда впускали беспрепятственно. И не тревожили. На моей памяти, правда, относящейся к временам войны, такого не бывало. То есть вокзалы, конечно, днем и ночью были переполнены, но тех, кто их переполнял, тревожили довольно часто, — то для уборки, то для санобработки, но в общем, чтоб не залеживались, — под разными предлогами старались выгнать на улицу. Иногда по несколько раз за ночь. Как с этим обстояло в послевоенные годы, я не знал, в эти годы задерживаться на вокзалах мне не приходилось. Но теперь пришлось... вот приятная неожиданность — входи, если надо. Это было для меня большим облегчением...

Людей на вокзале, как всегда, было немало, но тесноты военного времени не было и в помине. Никто ничем не докучал, не спрашивал документы (чего я боялся больше всего — это могло кончиться и трагически). Но несколько часов ждать здесь наступления утра все равно было тягостно. Не только скучно, но и изнурительно. И все же страшновато — документов не спрашивали, но уверенности в том, что так и не спросят, не было — спросить могли в любую минуту.

И поэтому я вздохнул с облегчением, когда часов в семь я все же разрешил себе покинуть вокзал и отправиться на трамвае к Тамарченкам. Приехать к друзьям в восьмом часу и при таких обстоятельствах уже не было большой наглостью. Тем более что чуть позже они могли и исчезнуть — день был рабочий, а я не знал их расписания. Предупредить телеграммой о приезде я тоже не мог. И не только из осторожности — просто сначала не знал, на какой поезд сяду, а потом, — когда этот поезд доберется до Свердловска.

И вот я ехал к Тамарченкам. Снова ехал по городу, по которому последний раз меня, если помнит читатель, провозили в «эзковозе»*. Сейчас я ехал в трамвае среди спешащих на работу «вольняшек» — словечко, усвоенное мною позже, от Солженицына. Конечно, воспринимал я их по-другому. В тот давний мой проезд, глядя на них в щели между фанерными щитами, я им завидовал. Да и день, если помните, был воскресный, светлый, почти праздничный: люди (в моем восприятии) «отдыхали после недели созидательного труда», беззаботно, как мне казалось, гуляли с детьми и парочками.

В это зимнее утро все выглядело гораздо будничней. И не только потому, что теперь я уже не мог завидовать их покинувшей меня причастности к «нашей буче, боевой, кипучей», о своей причастности к которой большинство моих нынешних трамвайных спутников никогда и не подозревали — даже если слышали эти строки. Им было явно не до таких материй, — печать привычной усталости и будничных забот лежала на их лицах. Впрочем, это сегодняшние оценки — тогда я вряд ли бы мог это заметить и осознать, — эта печать лежала на всех, кого я видел вокруг, до и после этого.

Правда, у них было другое, на этот раз, реальное, преимущество передо мной — им не надо было бояться проверки документов. А я побаивался. Впрочем, зря — в переполненных утренних трамваях Свердловска устраивать проверки документов было и нелепо, и затруднительно. Так что доехал я благополучно... И чуть свет явился к Тамарченкам вестником наступавшего утра. Оказалось, что живут они в преподавательском общежитии университета, построенном как бы по коридорной системе, и пройти к ним незамеченным было бы трудно. Но никто не обратил на меня внимания — мало ли кто к кому приезжает в гости.

Занимали Тамарченки две небольшие комнаты, и с моим появлением всем четверым членам их семьи, даже желающим досмотреть последний сон, пришлось пробудиться. Впрочем, уже и время было.

* «Эзковоз» — грузовик с надставленными фанерой, а потому высокими бортами, который в больших городах используется для перевозки заключенных по внутренним объектам — чаще всего из лагеря на работу и обратно.

Эта первая встреча с друзьями произошла не совсем так, как виделась предстоящая встреча с друзьями нашему великому поэту: тоже когда-то хлебнувшему ссылки.

О сколько слез! И сколько восклицаний.

И сколько чаш, подъятых к небесам!

Конечно, и у нас было все, что сопутствует радостной встрече — и слезы, и «чаши», и восклицания, — в общем, все, что полагается. Но температура проявлений была не та. Прежде всего восклицания — они должны были быть поневоле приглушенными. Чтоб соседи чего-либо не заподозрили. Конечно, Россия есть Россия, и гость в доме — понятный повод для выпивки и некоторой суматохи — это не подозрительно. Этих рамок и надлежало держаться — в восклицаниях и во всем прочем. Гость из дальних мест — событие приятное, обязывающее, но ординарное. О том, что я не просто гость, а человек, вернувшийся оттуда, откуда мог и не вернуться, откуда (тогда еще) почти никто и не возвращался, никто не должен был догадываться. Ибо в противном случае это могло кончиться плохо не только для меня, но и для хозяев. Вернувшиеся по истечении срока все равно продолжали относиться к категории «репрессированных», и общение с ними «не рекомендовалось», то есть грозило неприятностями — особенно воспитателям юношества. А предоставление им ночлега, да еще в «режимном» городе, каким был Свердловск, даже наказывалось. Поэтому простая встреча друзей, не связанная ни с какой конспирацией, была подпольной акцией, и ее надо было держать в секрете. Всем — и взрослым, и детям. Держали. Пушкин с такими обстоятельствами не сталкивался. Такую жизнь и Достоевский мог бы себе вообразить с трудом, а мы в ней жили. И с ней сообразовывались — она была нашей повседневностью. Так что шума и помпы не было. Да ведь и не с чего было. Ведь отправлялся я отсюда не в Москву, а в Тюмень, где меня ждала неизвестность. Но была радость оказаться среди своих, откровенные разговоры — собственно, других у нас никогда и не бывало.

Тамарченки сами довольно много пережили за это время. По ним непосредственно проехала своими катками антикосмополитская кампания. Она настигла их в Черновицком учительском институте — причем проехала главным образом не по еврею Грише, а по Анке, несмотря на ее

дворянское происхождение (впрочем, обвинили и в сокрытии оного при вступлении в партию, чего не было). Просто она была не ко двору в этой провинциальной клоаке, и ее «подвели под кампанию». Нелепо, грубо, глупо, но — такие были времена — результативно. Изгнали отовсюду. Так что Свердловск после долгих хлопот, мытарств и многократных поездок в Москву явился для них таким же подарком судьбы, как для меня — ссылка (вместо лагеря). Везунчики мы были. Впрочем, как и все порядочные люди страны, кто тогда уцелел.

Правда, я не могу понять, на чем основывались хлопоты, ради которых они ездили в Москву. Ведь надо было доказать, что ты невиновен в том, чего вообще не было в природе. Но хлопотали. Что-то доказывали. Добивались. Вот и Гришин брат, Давид Тамарченко, работавший тогда в тех же Черновцах и объявленный безродным космополитом на всеукраинском уровне, тоже ездил в Москву хлопотать и в конце концов даже туда перевелся. Именно в то страшное время. Как это получалось? И почему эта кампания была вдруг приостановлена?

Теперь мне кажется, что Сталин только отступил до «лучших времен». Методом проб он продолжал искать подходящие формы компрометации евреев. Космополитская кампания результатов не дала. Но как раз в те дни, когда мы спорили в Свердловске, в пыточных камерах Лубянки, Лефортова и Суханова продолжало формироваться уже упоминавшееся здесь «дело ЕАК» — Еврейского антифашистского комитета. Эта тщательно и втайне готовящаяся провокация тоже не дала результатов и закончилась тайным же (значит, ничего ему не давшим) расстрелом. Но потом Рюмин подсунил вождю «дело врачей». Это было «то, что надо» — «лучшими временами», ради наступления которых он и отступил после космополитизма.

Мой уже покойный друг Владлен Бахнов, который был объектом такой же травли, но в Литинституте, вспоминал году в 1995-м, как при личных встречах вели себя тогда его знакомые, в том числе и часть активных «антикосмополитов», как большинство из них были довольны, когда дела у их затравленных товарищей начали налаживаться. Заключил, правда, он свой рассказ так:

— Тогда все испытывали некоторую неловкость от этого, теперь — нет.

О том, что и почему «теперь», разговор будет в своем месте, но «тогда» было действительно так. Уж слишком это противоречило всему, в чем люди были воспитаны, и уж слишком наглядно проявлялась тут несправедливость и обстановка травли. Сказывалась и естественная порядочность. Думаю, что если такая обстановка создастся опять, то возмущения и смущения будет меньше. Не из-за усиления антисемитизма, а из-за ослабления нравственной ориентации. Слишком часто в последние годы хорошие слова оказывались камуфляжем, слишком часто обманывалось доверие. Слова мои эти для объяснения, а не оправдания будущих свинств. Человек простой и непростой все равно Homo sapiens. И он не имеет права говорить: «Меня до этого свинства довели». (Позволил себя довести — значит, стал свиньей.) Но тут есть одна тонкость — он о себе так говорить не может, но другие о нем — могут и даже должны. Ибо они обязаны думать не о его грехах, а о своих. Иногда — и перед ним. Но это другая тема и опять мысли другого времени.

А о чем и что мы говорили тогда? Конкретно это вспомнить трудно, ибо все это были разговоры того времени. И даже не важно, какие у кого были взгляды. Я ведь тоже придерживался «подлинного коммунизма». Разве что Сталина я теперь отрицал более решительно и абсолютно, чем пока они и почти все мои московские друзья. Но и это определялось не тем, что мне больше «показали» — мне ведь «показывали» долго, а я упирался, — просто я был человеком другого субпоколения и меньше был вовлечен в Сталина.

Начало моей сознательной жизни совпало не с завлекательным для молодой интеллигенции, обманным (только ложь еще удавалось скрывать) энтузиазмом первой пятилетки, а с неправдоподобной и массивной ложью тридцать седьмого года. И отвращения к ней не могла во мне выжечь никакая Победа и никакая диалектика. Космополитская кампания только освободила меня от насилия над собой. В людях первой пятилетки тоже все это было, но пристрастие к Сталину сидело в них глубже. Раньше стали вкладывать и больше вложили. Потом всякая разница исчезла. Но все равно — у меня, как и у них — все это было блужданием в потемках, подспудным и перманентным сопротивлением разума, духа, здравого смысла и порядочности тому, что теперь называется сталинщиной.

Разговоры и споры у Тамарченок касались не только «материй», но и людей, прежде всего друзей. Тамарченки оказались для меня в тот момент вершиной айсберга. Встреча с ними показала мне, что все мои друзья, о которых, конечно, тоже шла речь, так и остались друзьями. Последующий мой наезд на Москву подтвердил это. И даже больше: во всем моем окружении не было предателей. Собственно, в этом не было ничего удивительного.

Но мир и тогда, и теперь состоял не только из моих друзей, реальных и потенциальных. Приходилось соприкасаться и с другими. Большая часть этих «других» состояла, как в Чумакове, из нормальных людей, которые никому по доброй воле зла бы делать не стали. Но им и не надо было уж слишком идеологически самоопределяться и проявляться. Конечно, в какой-то мере в грех втягивали и их — тоталитаризм никого не оставлял чистым, — но мера тоже имеет значение. Например, мера активности.

Но те два студента, о которых я, собственно, и хочу рассказать, явно были людьми активными. Хотя рассказывать особенно нечего. Ничего ведь не произошло. Просто два студента по какому-то учебному делу в назначенное время пришли к своим преподавателям и не застали их дома — те где-то задержались (за что потом были принесены соответствующие извинения). А не застав, стали их дожидаться... Все это естественно. И то, что, дожидаясь, они обнаружили меня и занялись мной, тоже естественно — во-первых, я был для них новый человек, во-вторых, явно был гостем их преподавателей, следовательно, человеком, как-то связанным с ними и, весьма вероятно, с их профессией. То есть с будущей профессией самих этих студентов, с ее тайной. И при всем при том почти ровесник — с которым разговаривать по-свойски было нетрудно. Все это было естественно, и никаких задних мыслей у них при этом не было. И кто я и откуда, они сразу стали допытываться, отнюдь не из бдительности, а из интереса — раз встречен в этом доме, то, наверное и сам литератор или преподаватель, интересно познакомиться. Все это было естественно, но что-то в них было такое, что не располагало меня к откровенности. Много позже я узнал от тех же Тамарченок, что оба эти парня сделали блестящую партийно-идеологическую карьеру — занимались надзором над литературой и мыслью во-

обще. Но тогда я этого о них знать не мог, тогда еще и сами эти парни о себе этого не знали. Но доверия они у меня не вызывали.

На те простые вопросы, которые они задавали (вроде «кто ты?» и «откуда?»), я не стал бы отвечать любым малознакомым людям — даже намного более мне симпатичным, чем они. Обстоятельства и прежде всего долг перед моими друзьями исключали такие откровенности. Но здесь я и сверх того чувствовал, что с этими бойкими ребятами лучше держать ухо востро. Тamarченки после их ухода подтвердили это.

Нет, дело было не в их излишнем любопытстве — оно вовсе не было ни излишним, ни бестактным. Представить, что отвечать на простые вопросы человеку может быть затруднительно, нормальному человеку почти невозможно. Кстати, мое положение было бы не менее затруднительным, если бы эти вопросы задавали не они, а другие мало знакомые люди — даже гораздо более мне приятные. Но кто бы ни задал мне эти вопросы, они были заданы, и нужно было на них незамедлительно отвечать. А как?

Выдать себя за слесаря или фрезеровщика значило вызвать подозрение. Я, конечно, мог бы им некоторое время вешать лапшу на уши (все-таки кое-что об этих профессиях я знал), но уж слишком это было недостоверно. Непохож я был на рабочего. Да и должен был возникнуть вопрос: где я работаю? И тут я мог завратиться. Выдать себя за химика или биолога было еще опасней.

Не проще было ответить и на вопрос, откуда я. Хорошо я знал два места — Москву и Чумаково. Чумаково отпадало. Там я мог быть только агрономом или учителем. Но в агрономии я понимал еще меньше, чем в химии. Да и на агронома я был похож еще меньше, чем на химика. А на сельского учителя? Тоже весьма отдаленно. К тому же в специфике учительского дела эти парни могли оказаться более сведущи, чем я — вероятно, проходили педпрактику. Да и мог встать вопрос, где я учился. Все не получалось. И в конце концов пришлось мне выдать себя за... студента Литинститута. Тут все-таки было только извращение правды, а не чистая ложь.

Я вовсе не рвался хвастать, и когда, узнав, что я студент из Москвы, собеседники спросили:

— А где ты учишься?

Все-таки и на этот прямой вопрос я попытался ответить обтекаемо:

— В институте имени Горького.

Но их на мякине было не провести.

— В институте Союза писателей? В Литинституте? — буквально взревели они.

Пришлось скромно сознаться. Я сразу вырос в их глазах, а во мне все напряглось. Разговор принимал опасный для меня оборот, дело начинало пахнуть разоблачением. Но обошлось. Слишком большое впечатление произвело на парней мое признание. Моя осторожность была принята за скромность. Или, наоборот, за естественную (по их представлениям) надменность. Во всяком случае, за нечто естественное. Ведь перед ними сидел человек, достигший высот, о которых они и не мечтали. Я для них был олицетворением если не успеха, то человека, открывшего себе путь к нему. О том, что потом их поставят всеми такими счастливыми «руководить» (точнее, их контролировать), они, как и я, еще знать не могли.

Все во мне напряглось. Взрыв их интереса ко мне не создал атмосферы близости. Они и прочесть меня ничего не попросили, не полюбопытствовали. Так мне, во всяком случае, теперь кажется. Я ничего о них не знал, но почувствовал, а может, и понял, что это был взрыв интереса к ступени успеха, а не к литературе. Тем не менее мне пришлось отвечать на их вопросы о своих товарищах (из тех, кого награждали и о ком писали) — ходить по острию ножа. Но, слава Богу, три года не срок, и я еще «был в курсе», знал всех, о ком они спрашивали. А в крайнем случае мог правдоподобно приврать — великое дело компетентность! Обошлось. Никаких других неприятных и рискованных встреч и разговоров у меня в Свердловске не было. У Тamarченко мне было хорошо, с ними, с обеими их дочерьми — младшей Верой и старшей, Наташей. С Наташей я даже побывал в театре. Да и просто радовала возможность опять свободно ходить по улицам большого города. Но радость эта была омрачена сознанием, что все это более чем временно, что очень скоро мне предстоял неминуемый отъезд в Тюмень. Неминуемый не только потому, что я не имел права жить в Свердловске, а еще и потому, что согласно выданной мне «справке об освобождении» только в Тюмени, добровольно (по совету тех же Тamarченко) выбранной мной для жи-

тельства, я мог получить паспорт и вообще легализоваться. Должен сказать, что совет этот был вызван самыми лучшими и благородными побуждениями (например, мыслью, что если я буду под боком, мне легче будет при случае помочь), но был при этом абсолютно неквалифицированным (с «эзковской» точки зрения). Впрочем, кто мне мог тогда дать квалифицированный совет?

Так или иначе, побыв в Свердловске несколько дней, я вынужден был его покинуть. Моя несвобода властно держала меня в руках. Случайное обстоятельство — что уезжал я из Свердловска не на запад, а как бы возвращался назад, на восток — Тюмень расположена на полпути между Свердловском* и Омском (я уже проезжал ее по пути в Свердловск) — символично подчеркивало эту мою неосвобожденность.

Тюмень. «Белое безмолвие»

Так что настроение мое, когда я оказался в вагоне поезда «местного сообщения» Свердловск — Называевская (он проходил через Тюмень), было далеко от браваурного. Поезда «местного сообщения» были рассчитаны на обслуживание пассажиров, ехавших на не очень далекие, но существенно более длинные, чем пригородные, расстояния и призваны разгрузить «магистральные» поезда от «промежуточных» пассажиров. Проезд на них стоил столько же, сколько на дальних, но состояли они обычно из вагонов, более близких к пригородным — впрочем, достаточно удобных. Вообще этот поезд связан в моей памяти не только с плохим — на нем я потом раз или два скатал в Свердловск и обратно, на нем и уехал. «Небравурное» настроение мое по пути в Тюмень никак не было связано с качеством поезда.

Прибывал он в Тюмень, кажется, под вечер. Точно не помню. Помню только, что, впервые оказавшись там, я сдал вещи в камеру хранения и что первые две или три ночи пребывания в этом городе ночевал на вокзале. Ведь я здесь никого — ну совсем никого! — не знал. И — хуже того — не

* Напоминаю, если кто забыл, что я не употребляю здесь возвращенное городу имя Екатеринбург только потому, что стремлюсь передать реалии и ощущения описываемого здесь времени. Само же возвращение городам исторических имен, а тем более исчезновение с географической карты имени Свердлова я всячески приветствую.

знал, зачем я сюда явился, чего мне здесь добиваться и, следовательно, куда обращаться... Просто каждую ночь спал на вокзальных скамейках или на полу, дожидаясь утра и «выходил в город» — доезжал на автобусе до центра и начинал бродить по улицам. Большею частью бесцельно, читал газеты, вывески, объявления — как-то пытался сориентироваться в обступившей меня и спешащей мимо меня местной жизни. Ел я в забегаловках, и это было едва ли не самым осмысленным занятием в течение дня...

Представляет ли кто-нибудь из более молодых читателей, что это значит — и особенно значило тогда — оказаться одному в незнакомом городе, если ты прибыл туда не к кому-то в гости, не в командировку, не по распределению после института или техникума, даже не по оргнабору, а «просто так». Да еще с целью, одновременно и туманной, и насущной — а при кричащем отсутствии у меня профессии и при моих-то «правах» и немыслимой, — устроиться и жить. Как это было сделать, если мне здесь без всяких преувеличений не с кем было перемолвиться словом? По причинам частным (отсутствие знакомых), но и общим тоже. Я бы мог, например, посетить полуколлег в местных редакциях и попытаться завязать связи. Обычно это мне легко удавалось. Но это когда я не относился к касте прокаженных. Ведь далеко не каждый решился бы — тем более на глазах у товарищей, в помещении редакции, органа обкома (а где бы еще я мог кого-либо отыскать?), — проявить интерес и участие к незнакомцу с таким «статусом». Тут ведь и «заразиться» было недолго — особенно работнику идеологического фронта, каковыми считались все пишущие... Да и мне самому возникать в этих «сферах» было опасно. Выхода не было. Оставалось бродить по городу, как волку по клетке. Так не в ледяной пустыне Аляски, а в людном русском городе меня обступило «белое безмолвие», плотная стена абсолютного отчуждения...

Надо было сквозь это прорываться. А куда? Этот город белого безмолвия был в тот момент единственным местом в стране, где мое пребывание было абсолютно легальным: единственным местом, где я мог получить паспорт. Конечно, меченый, но хоть какой-то. Ведь в моем единственном документе — справке об освобождении — прямо значилось, что на жительство я направляюсь именно сюда, в Тюмень. Легальной в моем положении ничего и быть не могло.

Это стало причиной нелепого приключения. Не зная, куда деваться и куда обращаться, но сознавая свою абсолютную легальность, я не нашел ничего лучшего, как обратиться за советом к вокзальному милиционеру в штатском (перед этим обозначившему себя тем, что задержал какого-то воришку). Страж порядка потребовал предъявить документы и, увидев мою справку, счел за благо меня задержать и представить своему начальству. Его шеф, начальник вокзального отделения железнодорожной милиции, естественно, тоже не знал, что со мной делать. Никаких правонарушений с моей стороны не было, а была справка, направлявшая меня в Тюмень, где я в данный момент и находился. Все было в порядке. Но справка была выдана райотделом МГБ, и, хотя она была об освобождении, автоматически относила меня к тем, по отношению к которым следовало всегда быть бдительным. А поскольку, как проявить эту бдительность в данном конкретном случае, он не знал, а забот, причем вполне реальных, осмысленных, у него и без меня было выше головы, то решение отправить такую крупную птицу «по принадлежности» пришло к нему автоматически.

— Отведи его к Кондратову (за фамилию не ручаюсь), — приказал он милиционеру. И пояснил для меня:

— Это в доротдел МГБ. Там разберутся.

Соображение, что человек, ни в чем не обвиненный и находящийся там, где ему положено находиться, задержан неправильно и должен быть немедленно с извинением отпущен, показалось бы ему, может быть, и весомым, но не имеющим отношения к жизни. К власти нелепостей он, несмотря на то что в основном имел дело с реальностью, привык.

Доротдел МГБ помещался не на вокзале, а на некотором расстоянии от станции в невзрачном одноэтажном доме без вывески, расположенном на одной из привокзальных улиц. Человек, названный мной Кондратовым, при тусклом свете прочел мою справку и тоже испытал некоторую растерянность перед ней. Не знаю, чем занималось его подразделение, но явно не проверкой документов у пассажиров. К тому же вряд ли в его практике встречалось много людей с такими справками — похоже, это был первый случай. Но никакого испуга он не испытал. Даже сделал передо мною вид, что ему все это давно известно. И ему действи-

тельно было понятно, что справка об освобождении, выданная другим подразделением его учреждения, есть справка об освобождении. Коротко расспросил меня, что я собираюсь делать, и узнав, что деньги на съём квартиры у меня есть, посоветовал мне обратить внимание на доски с объявлениями — среди них появляются и о сдаче жилплощади. Совет был полезный — до этого я искал объявления в газете. Естественно, он и отпустил меня. Не Бог весть что, но, забегая вперед, скажу, что более человеческого отношения к себе я не встретил ни разу за все время моего пребывания в городе Тюмени. Впрочем, за исключением еще одного человека, даже попытавшегося — пусть поневоле робко, не входя со мной в отношения (не нарушая «белого безмолвия») и, конечно, тщетно — мне помочь. Но о нем — чуть позже.

Конечно, для Кондратова общение со мной не представляло никакой опасности, даже входило в круг его обязанностей — я был, так сказать, его контингентом, — но все же он явно проявил добрую волю, дал практический совет — спасибо. Я вовсе не стремлюсь этим обругать тогдашнее население Тюмени, обвинить его в отсутствии этой воли (да и вообще в чем-либо), не считаю, что там тогда собрались какие-то особо черствые люди. Не их вина, что у меня не было никакого ходу к ним, никакой зацепки для установления отношений. Не сомневаюсь, что мимо меня, не замечая меня, как я их, проходили и потенциальные друзья. Я даже понимал, что в этом нережимном тогда городе должны быть люди, подобные мне. Но где их было искать? С одним, правда, я случайно соприкоснулся на автобусной остановке. Я спросил, каким автобусом мне надо ехать, а он спросил, откуда я приехал, и узнав, откуда, «сознался», что и он сидел по 58/10.

— За язык, — пояснил он. — Во время войны (трепался по поводу связанных с ней бытовых трудностей).

И прочел мне чье-то четверостишие, содержавшее неловкую самоиронию по поводу таких, как он, «жертв войны». Сидел он недолго и вообще был местным. Многих тогда переполняла жажда чувствовать себя невинными кроликами. Это казалось удобней и спокойней... Никакого желания общаться дальше мой собеседник не проявил. Больше таких встреч не было. Одиночество мое ничем не нарушалось.

Впрочем, в первое утро я вышел в город (из помещения вокзала) довольно бодро. Не то чтобы мне было море по

колени, это было невозможно, но некоторую надежду на то, что все как-то устроится, я все же ощущал. Видимо, просто от взаимодействия утра и молодости. К тому же все же один план устройства у меня был, и он не казался мне несбыточным. Я собирался устроиться избачом в каком-нибудь дальнем районе (а Тюменская область огромна — простирается до Северного Ледовитого океана). Как я полагал, это значило стать сельским библиотекарем. Сиди, выдавай и принимай книги — и пиши втихаря. И даже какие-то радужные картины мне рисовались — любовь и прочее. Только потом, много позже, я узнал, что на самом деле это значило стать мальчиком на побегушках у председателя сельсовета. Кроме того, я должен был бы вестись сельской самодеятельностью, в первую очередь баяном, может, даже играть на нем. Как бы я с этим справился? Что бы я там делал в такой глуши при такой оторванности и зависимости? Но, с другой стороны, никакая другая должность мне на территории этой огромной области тогда не светила. Впрочем, как вскоре оказалось, не светила и эта. Однако в первый свой выход в город я ничего этого не знал. И сохранял бодрость. Но по мере того, как передо мной разворачивались день и город, уверенность моя таяла. Даже найти областной отдел культуры, который ведал «избачами», ничего и никого в этом городе не зная, было трудно. Как я все же его нашел, уже не помню. Может, случайно на него набрел в своих бесконечных шатаниях по городу, может, просто узнал адрес в киоске «горсправки» (если такой киоск там тогда был).

Но, скорее всего, узнал этот адрес в областной библиотеке, на которую действительно набрел случайно и где проводил много времени, которое некуда было девать. Помню, что там я впервые прочел «Бесы» Достоевского. Что-то, конечно, запало, но по-настоящему я этот роман воспринял только через несколько лет. Но речь не о романе, а о библиотеке. Ее читальный зал был, пожалуй, единственным местом в этом городе, где я «бывал». Похоже, нужный мне адрес я узнал у кого-то из сотрудниц этого зала — отдел культуры был их начальством. Впрочем, никаких других частных отношений или просто разговоров с работниками библиотеки у меня не возникло. Атмосфера «белого безмолвия» не нарушалась ничем. И меньше всего моими

контактами с областным отделом культуры, до которого я все же сравнительно быстро добрался.

Эти контакты представляют интерес сами по себе. Сегодня, конечно — тогда мне было не до «интересов». Они — experience, опыт или приключение, — называй как хочешь, но что-то в атмосфере тех лет они проясняют. Во всяком случае, в них есть нечто, о чем, безусловно, стоит рассказать.

Помещение, которое занимал этот отдел, представляло собой, как мне кажется, переоборудованную квартиру в одном из домов на главной улице города. Если доверяться моей памяти, его контора состояла всего из двух комнат — помещения, где сидели инспекторы, и кабинета начальника. Но так не могло быть. Наверняка была еще бухгалтерия, может, еще какие-то кабинеты, но я помню только эти две комнаты. Впрочем, только в них мне и пришлось побывать. Обстановка была самая заурядная, конторская.

Когда я пришел туда впервые, в комнате инспекторов был только один сотрудник. Видимо, время было обеденное и остальные его коллеги — все они, как потом оказалось, были женщины — разлетелись по своим неотложным делам. Наверное, таких дел было немало. Я потом этих женщин видел — не думаю, чтоб им жилось слишком легко. Но это к слову.

Инспектор, которого я застал — молодой (но чуть старше меня) человек в полувоенном, — оторвался от бумаг и спросил, по какому делу я пришел. И, естественно, кто я такой. Я ему подробно ответил: и кто я, и откуда, и почему. Я почувствовал, что он заинтересовался мной и захотел помочь. Но реалии 1951 года были сильнее чьих-либо желаний.

— Я не знаю, что могу для вас сделать, — начал он. — Максимум на что вы можете рассчитывать — это место избача... Значит, заведующего избой-читальней в деревне...

— Да ну! — легкодумно ответил я. — Я два года прожил в деревне... А тут все-таки работа.

— Но и этого я пока не могу вам обещать... — продолжал инспектор. — Начальника сейчас нет... А как он решит... А он будет дня через два-три... Зайдите в конце недели.

Дня через два-три! В конце недели! Еще несколько дней «белого безмолвия»! Когда ночуешь на вокзале и блуждаешь по улицам, потому что приткнуться негде. А видимая

цель этого блуждания по зимнему городу при этом не проясняется и не возникает... Кроме той, что связана с отделом культуры. Но ведь и она не радужна, да и с ней все сомнительно.

Впрочем, с ночевками на вокзале я скоро покончил. Все-таки совет Кондратова пригодился. На одной из досок с объявлениями я все же однажды увидел бумажку с заветными словами: «Сдается комната». Конечно, я сразу устремился по указанному адресу... Сдавалась она в каких-то Кузнецях* — это не имело значения. Только бы какое-нибудь пристанище! Только бы легализоваться! Ведь без квартиры я и паспорта не мог получить. Расспросив у встречных дорогу, я тут же бросился по указанному адресу — доехал на автобусе до нужной остановки, нашел дом и, почти не глядя, снял эту комнату. В тот же день я в ней и поселился: съездил на вокзал, забрал вещи из камеры хранения и перевез их сюда.

Комната эта и хозяева, сдавшие мне ее, — особый сюжет, о нем чуть позже. Но когда я ее снял, возник еще один, промежуточный сюжет — в первом отделении милиции города Тюмени мне отказывались выдать паспорт. Начальник паспортного стола объявил, что справку об освобождении я должен был получить в двух экземплярах. Видимо, освобождающимся из лагеря справка эта действительно выдавалась в двух экземплярах, а такие птицы, как я, в первое отделение города Тюмени еще не долетали.

— Ведь может быть и так, — объяснил мне начальник, — что где-то вы уже один паспорт получили, а теперь пришли за вторым. Я должен проверить.

Проверить он собирался путем отправки служебного письма в Чумаки с запросом обо мне — операция, которая, по его словам, должна была занять пару недель. Это был новый удар, причем оглушительный. Я опять повисал в воздухе — еще две недели «белого безмолвия»! — без паспорта нельзя было ни устроиться (если бы меня взяли избачом), ни уехать. Посылать этот запрос служебной телеграммой начальник наотрез отказывался. Мое предложение сделать это за мой счет было отвергнуто с ходу. И действительно, оно было глупым — служебные телеграммы не могли

* Тогда это был ближний пригород. В 1972 году, когда я с группой писателей опять попал в Тюмень, он был уже полностью поглощен разросшимся городом, даже название его никому ничего не говорило.

оплачиваться частными лицами, это ведь и оформить было невозможно. Отчаяние — дурной советчик. Положение казалось безвыходным.

Но отчаяние подсказало и выход — послать частным порядком срочную телеграмму-мольбу в Чумаково, прямо в райотдел МГБ капитану Кошелеву. Звучала она примерно так:

«Умоляю срочно подтвердить служебной телеграммой адрес первого отделения милиции города Тюмени получение мной только одного экземпляра справки об освобождении без получения паспорта. Мандель».

Влетела мне эта телеграмма в копеечку (из-за срочности и потому, что во избежание недоразумений я старался все высказать наиболее полно), но на следующий день, когда я пришел в милицию, начальник паспортного стола, увидев меня, сказал: «Все в порядке. Подтверждение пришло. Заполняйте анкету и приносите фотокарточки». Все-таки капитан Кошелев не подвел. Конечно, это была его обязанность. Но ведь и он мог замедлить с ответом, послать его по почте, подождать, пока придет официальный запрос. Да ведь и тюменский начальник прекрасно видел, что я не из тех, кому нужно два паспорта, мог бы в местном МГБ (к которому, кстати, тогда относилась милиция) выяснить, что значит мой документ — не захотел. Я для него не был человеком. А в Чумаках сработали патриархальные отношения. Все-таки «мы все были из одной деревни». Впрочем, думаю, что к доктору Пейперу капитан относился не хуже, чем ко мне, а понадобилось — стал формировать из него «дело врачей» районного масштаба.

Итак, паспорт был мне выдан. На вид самый обыкновенный паспорт. Только в графе «На основании каких документов выдан паспорт» значилось: «На основании справки об освобождении № такой-то, выданной там-то и тогда-то и статьи 38 положения о паспортах». Это был милицкий код. Статья 38 считалась не столь свирепой, как статья 39, которую после отсидки ставили в паспорта большинству «политиков», она менее жестко ограничивала количество городов, в которых человек имел право жить. Но разницы между этими статьями я на себе не почувствовал.

Однако жить в Тюмени я имел полное право. Тот же начальник в тот же день или наавтра меня прописал, и я

стал здесь персоной совершенно легальной. Помогло это мне как мертвому кадилу.

Когда я пришел вторично в отдел культуры, мой знакомец представил меня начальнику, худошавому сдержанному мужчине в гражданском, которому я повторил свой рассказ о себе. Выслушал он меня вежливо и внимательно, но ответил уклончиво, чтобы я зашел через несколько дней, поскольку ему надо выяснить, есть ли у них для меня вакансии. У меня не сложилось впечатление, что он просто тянул время. Ему это было ни к чему. На том же кодовом языке он бы мог мне сразу сказать, что вакансий, к сожалению, нет. Не сказал. Видимо, все-таки был не прочь помочь и стал что-то выяснять по своим каналам...

С тем я и вышел из кабинета. На этот раз весь женский коллектив был в сборе и разглядывал меня с любопытством, но, как показало дальнейшее, без всякого участия. Но не стоит забегать вперед.

Мой разговор с начальником был краток, но это все-таки было общение. Теперь оно кончилось. И я опять оказался на улице, где меня опять, как вода утопающего, обступило привычное (хотя к этому привыкнуть нельзя) «белое безмолвие». Я вышел, но мне абсолютно некуда было идти. Разве только в библиотеку — но книги никогда не могли заменить мне живой жизни. «Но ведь можно было пойти и домой», — скажет внимательный читатель. Он ведь помнит, что к этому времени мной уже была снята комната... Чего бы мне там не укрыться в трудный момент? Да, жилье у меня к этому времени было, но было оно таким, что укрыть ни от чего не могло. И возвращаться «к себе домой» мне всегда было тяжело. Ибо это был не дом.

Нет, дом был вполне домом — новый, крепкий — видимо, вся округа была свежей застройки. И комната была вполне комнатой, уютной, светлой. Все в этой комнате пахло свежей стружкой и свежей краской. Но на всей площади крашеного пола, когда мне впервые показали эту комнату, я не увидел ни одного предмета мебели. Комната была абсолютно пуста — хоть в крокет играй.

— А где мебель? Кровать, например? — робко осведомился я.

— Это все, — невозмутимо ответила хозяйка. И добавила: — Могу табуретку поставить.

И в углу у окна на крашеном полу действительно встала табуретка. Почти как у Ван Гога. Но это — все.

Может быть, следовало подождать, поискать другое жилье, но, как помнит читатель, такой возможности у меня не было. Ждать следующей возможности надо было, ночуя на вокзале. Пришлось спать на полу, расстелив то же заветное ватное одеяло и накрывшись пальто.

Такое неустройство в доме застройщиков меня поражало. Строились ведь тогда люди положительные и хозяйственные. Они далеко не всегда соглашались пускать квартирантов. Но предлагать квартиранту пустую комнату сочли бы делом несолидным. В крайнем случае сбили бы из досок какой-нибудь топчан и стол со скамьей. А этим было море по колено.

Хозяев было двое — дядя Саша, работавший в гараже на бензоколонке — накачивал бензин вручную, и его жена, имя которой не могу вспомнить. Дядя Саша, несмотря на физическую работу, был мужичонка щуплый, выглядел слабосильным — во всяком случае, таким (речь не об интимностях) воспринимала его жена, баба видная и в теле. Ее светлые с рыжинкой волосы гармонично дополняли ее формы. Люди они были, скорее, хорошие, во всяком случае, расположенные к людям. И в элементарном смысле честные — желания меня обокрасть я в них не чувствовал. Но все равно я не рисковал оставлять дома деньги. Не доверял я не их честности, а их образу жизни, с которым столкнулся в первый же вечер. Впрочем, в первый вечер я еще не понял, с чем столкнулся. Да и что я мог заподозрить — хозяева искренне и радушно (я и теперь не ставлю этого под сомнение) пригласили меня к столу. Странного в этом не было ничего — естественный способ знакомства и сближения с новым человеком. Так я к этому и отнесся. И тоже выставил на стол все, что у меня было. Явился живший неподалеку их приятель (назовем его Сергеем) — тоже не с пустыми руками. И не скажу, чтоб закипел пир горой, но посидели приятно. На следующий вечер водку счел своим долгом выставить я. Опять посидели в том же составе. Сергей, видимо, сбегал сюда от жены, не одобрявшей этот образ жизни. На следующий вечер водку опять выставил кто-то из них. Я уже начал от этого уставать. А когда я встал утром, хозяйка предложила мне выставить водку сегодня вечером. Я отказался. Объяснил, что вишу между небом и

землей, что денег не зарабатываю и поэтому тратить вынужден их скупно. Все это она прекрасно знала, и все трое мне в этом сочувствовали, но вечер без водки пугал пустотой, и она стала браниться. Но отношения не испортились. Ибо довольно скоро, таким же утром, она с полным доверием завела со мной вполне рискованный разговор:

— Наум, ты человек грамотный. Скажи, если дом мы построили на деньги его родителей, присудят, нет ли его мне, если я его брошу?

Читатель уже понял, что «он» — это дядя Саша. Оказывается, вот какие коварные (к счастью, несбыточные) планы созревали в ее полурыжей голове. Возможно, и у этого, как и у их пьянства, были причины, возможно, ее замужество ее не устраивало, возможно, кровь играла и находила выход в таких планах и водке — ведь движущей силой этих выпивок была она. Но все-таки бытовая простота подобной подлости и коварства меня поражала. «...Ужасней простоты/ Нет ничего на белом свете», — писал когда-то о такой простоте покойный Евгений Винокуров.

Конечно, я не ответил на ее вопрос. Не только потому, что мне не хотелось, просто я не был компетентен в таких делах. Думаю, что в сталинском СССР (да и в сегодняшней России) ее афера бы не прошла — право на подлость и коварство было почти полностью узурпировано государством. Граждане могли их совершать тоже в интересах государства. В своих собственных — далеко не всегда. Впрочем, в современной Америке оставила бы такая бабенка своего дядю Сашу без дома и даже без штанов совершенно запросто. Суд из идеологических соображений (освобождение женщины!) поддержал бы ее иск. Господи, что происходит с демократией!

Но тогда я еще не знал, как будет развиваться демократия, и не думал об этом. Думал о том, куда я попал. Кстати, этот разговор внес ясность еще в одну тайну этого дома, объяснил удивившее меня несоответствие социального статуса застройщика и пустоты в доме. Оказывается, реальными застройщиками были не дядя Саша с женой, а «его» родители, пытавшиеся таким способом поставить на ноги заблудших детей. Возможно, и мебель в моей комнате раньше была — только пропили.

Этот разговор мне и теперь вспоминать противно. И мало кого удивит, что тогда, в 1951 году, в Тюмени он был в

числе обстоятельств, которые, мягко говоря, не способствовали желанию возвращаться домой. И что возможность туда вернуться не нарушало абсолютности «белого безмолвия», в которое я выходил, покидая отдел культуры — единственное место, посещаемое мной «по делу».

Посещал я отдел культуры еще несколько раз. Выяснение вопроса о «наличии» для меня места все не завершалось. В один из последних приходов, подходя к двери, я услышал громкие женские голоса. Один что-то доказывал, остальные играли роль поддерживающего хора.

— Да что вы говорите! Вы только посмотрите, как он смотрит — мрачно, исподлобья... Ему все здесь не нравится! Куда его?

Я с удивлением почувствовал, что это говорят обо мне, хотя так обо мне никто никогда и нигде не говорил — ни до этого, ни после, — так меня никто не воспринимал. Но тут, конечно, речь шла не о моем характере, не о внешности, а о плохо скрываемой враждебности. Совбабы упоенно проявляли бдительную пронизательность, жили духовной жизнью. На них нашло. О том, насколько враждебно в действительности я относился к тогдашнему порядку вещей и к их идолу, насколько то, что я думаю, отличается от того, что в них вдолблено, они и представить себе такого просто не могли. И не это, конечно, имели в виду. Взгляд исподлобья означал в их разгоряченно-бдительном представлении ненависть ко всем советским людям. Но этого не было. Я даже их самих после этого, случайно подслушанного, не возненавидел. Но мне до сих пор больно, что так недобро, так бесчувственно была истолкована **ЖЕНЩИНАМИ** тяжесть бездомности и неприкаянности, печать «белого безмолвия», которую они видели на моем лице. Все это пробежало в моем мозгу, да что в мозгу, во всем моем существе в единый миг. Я был потрясен.

Когда я вошел, я увидел всю мизансцену — они явно атаковали моего благодетеля в полувоенном, а тот смущенно от них защищался. Позиция его ослаблялась тем, что он был евреем, и кое-кто мог истолковать его попытку мне помочь как взаимовыручку евреев. Я уверен, что это было не так, просто он был несколько интеллигентней своих коллег. И понимал мое положение. К тому же он со мной разговаривал, а они — нет. Кстати, их начальник, человек вполне русский, как я уже отмечал, был по-человечески

совсем не прочь мне помочь — потому и тянул. Да мне и не показалось, что и сами эти бдительные бабы имели в виду его «нацпроисхождение» — просто поддались азарту бдительности и топтания упавшего. Но сам он должен был — особенно после «космополитизма» — учитывать это обстоятельство. Оно затрудняло его положение в таком споре.

При моем появлении бдительность осеклась. Топтать незнакомого, ничего дурного им не сделавшего человека легче, когда его не видишь, не смотришь ему в глаза. Бабы смущенно замолчали и разошлись по местам. В глазах у них было больше растерянности, чем враждебности. Но эта сцена, этот невольный подслушанный женский разговор был кульминацией моего пребывания в Тюмени, моего «белого безмолвия». Еще раз подчеркиваю, что это «безмолвие» — вина не города Тюмени, даже тогдашнего, а только стечения обстоятельств, в которых ни этот город, ни его люди не виноваты. У меня просто не было возможности войти в его жизнь.

Но вернемся к сюжету. В завершение этой сцены мой благодетель смущенно сказал мне, что пока, к сожалению, все еще ничего не известно, но чтоб я зашел на днях, даже, кажется, завтра, тогда все выяснится. А когда настал этот следующий раз, он объявил мне, что ничего не выгорело. Впрочем, после описанной сцены это было вполне естественно. Да и как могло выгореть? Начальник был умнее этих баб, но правила глупость. Какой начальник в те годы мог бы пойти против бдительности своего коллектива? Прости, Господи, этих ошалевших баб, ибо не ведали, что творили и что в них вдолбили. Кстати, я вовсе не думаю, что все они были дурами. Не дурами — одураченными и натравленными. Да только ли они в те годы...

Теперь «белое безмолвие» потеряло последние просветы. Ведь я почему-то считал себя приговоренным к Тюмени. Но нет худа без добра — от отчаяния гипноз прошел, и я вдруг понял, что могу и переменить местожительство. Многие города для меня были закрыты, но какое-то право передвижения мне вернули. И я решил им воспользоваться.

Решение созрело мгновенно. Возможно, с чьей-то телефонной или почтовой подсказки я решил съездить в Москву и Киев, повидаться с друзьями и поселиться где-то поблизости. В тот же день я пришел в милицию выписываться — в анкете написал, что еду в Белую Церковь (чтоб через Москву и Киев).

— Я так и знал, что вы здесь не задержитесь, — сказал начальник паспортного стола, намекая на какую-то мою хитрость. Дескать, Тюмень мне понадобилась только для получения паспорта... Как будто я еще в Чумаках не мог получить прямое направление в Белую Церковь. А удивительнее всего, что он знал, а я нет. Я ведь всерьез собирался здесь осесть.

Тем же вечером я выехал из Тюмени. Навсегда (краткий мой приезд с делегацией писателей в начале семидесятых не в счет). «Белое безмолвие» кончилось. И больше не повторялось. Нигде. Даже в эмиграции. И даже почти не вспоминалось — а что было вспоминать? Но сейчас пропустить этот вроде бы незначительный эпизод моей жизни я почему-то не считал возможным. Кое-что я все-таки вывез и оттуда.

Ехал я сначала в Свердловск, чтоб потом, дня через два (Тамарченко в это время не было, были только дети, оставшиеся с их приятельницей), выехать в Москву и Киев. Билет же в Свердловске (еще до выезда из Тюмени) я решил взять тоже до Белой Церкви. Чтоб не было противоречия — в этом случае и Москву, и Киев я посещал как бы просто по дороге. До самой же Белой Церкви можно было и не доехать (там несколько часов я побывал только в 1965 году). Так я и поступил. То есть вел я себя как опытный конспиратор. «Конспиранси» по-английски означает «заговор». Но у нас в стране конспирировали в те годы отнюдь не заговорщики, которых у нас тогда, к сожалению, вообще не было, а обыкновенные граждане. Заговорщики же, если даже, как думает А.Авторханов, все же появились, то произошло это несколько позже, и только в верхах. К моей конспирации, имевшей целью повидать друзей и как-то прижиться, они отношения не имели.

В Москву с «мамками»

Дня через два или три на свердловском вокзале мой план был воплощен в жизнь. Правда, были затруднения, никак не связанные с ним или моим положением. Впрочем, положение даже помогло. Но потом. А когда я, провожаемый приятельницей Тамарченко, приехал на вокзал, мы узнали, что, как часто тогда бывало, на московские поезда (а их через Свердловск проходила тьма) билетов нет и неизвестно когда они будут. Отъезд явно задерживался. Но вдруг

у одной из касс мы увидели очередь,двигающуюся весьма быстро — шла оживленная продажа билетов. На какой поезд? Оказалось, на московский. Но билеты продавались на основании справки об освобождении. Я, хоть и освободился уже почти месяц назад и в моей справке значилось, что отправляюсь я в Тюмень, все же решил попытать счастья. Билет мне продали без звука. А уж куда продавать билет — в Белую Церковь, Фастов или Кривой Рог, — кассе было все равно. И я уехал из Свердловска на запад. В сущности, продолжил путь возвращения, начатый в Чумакове и Барабинске. Кстати, продолжал я свой путь на том же поезде, на котором начал — он так же и под тем же номером следовал из Владивостока в Москву. Потом оказалось, что и состав, и поездная бригада были теми же.

Выяснилось это случайно. На какой-то станции я столкнулся с проводником вагона, в котором ехал в Свердловск, и он меня «опознал» — весьма, кстати, враждебно.

— Не признаешь? А я — признаю. Я тебя рейса два назад из Барабинска в Свердловск возил. И опять ты тут как тут. Ездешь! Какие такие у тебя дела? Смотри, доездишься!

Говорил он еще резче и обвинительней — точно я его слов не помню, а может, главное было не в словах, а в интонации. Во всяком случае, в его словах я ясно ощутил уверенность в том, что дела, из-за которых я ношусь по свету, темные. Вот только недосуг мною заняться.

Конечно, это была чушь. Но чушью это могло выглядеть только в нормальном сознании. И в нормальном обществе. То, что несли тюменские культуртрегерши, тоже было чушью, однако эта чушь возобладала — ей подчинился их более умный начальник, и мне пришлось уехать. Короче, эта встреча меня встревожила. Конечно, подозрения и предположения этого проводника были фантастичны и сами по себе даже по тогдашнему времени мне ничем не грозили. Но если бы он «дал делу ход», я попал бы в поле зрения «органов», а для меня это было опасно. Тогда продолжалось вылавливание «повторников», и меня вполне бы могли «приплюсовать» к ним для повышения производительности труда. Железным правилом безопасности освободившегося зэка в отношении с органами было, по мнению бывалых людей, не напоминать о себе. А этот «проницательный» проводник мог обо мне напомнить.

И дело ведь было не в том, что он был такой уж активист, требующий от всех активного участия в «самоотверженном патриотическом труде советского народа». Ему вряд ли он и нравился. Скорее наоборот. Но ему было обидно, если кто-то уворачивался. Полагал, что это из-за таких шустрых все так плохо — выжужливают и разворовывают. А поскольку обо мне он ничего не знал, но дважды встретил разъезжающим, то и меня отнес к этой воображаемой категории. А что? Какой-то мрачный субъект, к тому же еврей, тихий и вежливый. И все ездит. Зря ездить не будет! Знаем мы вас, таких тихих и вежливых.

Эта потребность и способность находить корень всех бед обязательно в ближних, доступных, желательно беззащитных (опять вспомним тюменских деятельниц культуры), потребность, побочным образом воспитанная, точнее, усиленная опытом жизни в советской действительности, — наша беда. Эта психология опасна, она жаждет сведения счетов (чаще мнимых), но не способствует решению жизненно важных вопросов и спасению страны. В последние годы на нее сильно поработали Гайдар и К°. Всякого рода Березовские и Смоленские.

Впрочем, эта неприятная встреча не имела для меня никаких последствий. Видимо, пронизательный проводник удовлетворился собственным хамством. Или его донос не был принят во внимание. На что, собственно, он мог донести? Что недели три назад некий гражданин приехал из Барабинска в Свердловск, а теперь едет из Свердловска еще куда-то? Это и для поездного опера — не материал. Ведь о том, что я отношусь к категории «освободившихся», он не знал. Не знал он даже, в каком вагоне я еду.

А я ехал в вагоне, где, кроме освободившихся, почти никого и не было. «Почти» — потому что как-то расстарались попасть в него два гэбэшника или, скорее, работника лагерной администрации с семьями. Вероятно, спешили в отпуск из какого-нибудь «Нейрыплага», добрались до Свердловска, а там выяснилось, что в обозримый период мест на поезда нет и не предвидится — сиди «загорай», а отпуск пусть тает. И когда они узнали, что к самому ближайшему, можно сказать, вот-вот отходящему поезду специально прицепляют целый вагон для освободившихся зэков, они вспомнили о своей ведомственной причастности к этому сосло-

вию и как-то сумели ее реализовать. И хоть так, но уехать. Советские дефициты подчас ударили и по своей опоре.

Интересно другое — что сталинское государство, споконьяно объявлявшее *urbi et orbis*, что для незапятнанных советских граждан «местов нет и не будет», проявляло такую трогательную заботу об отсидевших зэках. Самые отверженные на миг становились самыми привилегированными. Конечно, трогательность эта объяснялась предусмотрительностью — чтоб не «скопятся» на больших вокзалах. Ибо народ опасный — кто в криминальном отношении, кто — доведенностью до отчаяния. Пусть лучше мирно разъезжаются.

Так или иначе, я опять оказался среди зэков. Правда, в основном среди неполитических. Как ни странно, я и уголовников среди них не припомню. Видимо, те не очень стремились следовать по объявленному им маршруту, а возвращались к прерванной тюрьмой деятельности сразу же, как только представлялась возможность. Основу населения этого «зэковского» вагона, как всех тюрем, вагонзакв и пересылок, где мне пришлось побывать, составляли люди, которые бы ни в одной стране никогда ни с какой пенитенциарной системой не столкнулись. И не то чтоб они все сидели совсем ни за что или по выдуманному поводу, как политические. Нет, этого не было. Но все же сидели они или за то, за что нигде не сажают (например, за те же колоски), или за прегрешения, которых нигде быть не могло, которые вытекали из существа патологической системы отношений — таковы все торговые преступления, возможные только при советской системе торговли, являвшейся блудной дочерью советской системы распределения.

Или такие наивные девушки, как чумаковские кассирши из райпромхоза, которые выдавали своим начальникам-пьяницам деньги без расписки по любому их требованию, а потом оказывалось, что у них крупные «недостаки», что они растратчицы (значит, брали деньги себе), а начальник ни при чем: никаких доказательств, что деньги изымались по его распоряжению — нет. Хотя вся деревня это знает и видела, как он их пропивал. Но это к делу не пришьешь. И поэтому всё — тюрьма, суд, срок и лагерь — валилось на головы таких девушек. А как после такого жили эти начальники, мы видели на примере чумаковского Королькова — нанимали других таких же и продолжали пить. Выдвиженчество и безбожие делали свою работу.

Конечно, в лагере от своей первозданной деревенской наивности такие девицы навсегда избавлялись... К сожалению, чаще всего вместе с естественным доверием к людям и жизни вообще.

Но эти размышления основаны на более долгом опыте, не только и даже не столько на впечатлениях, вынесенных из этого «эковского» вагона, но и на них тоже. Тем более что в купе общего вагона, где мне удалось пристроиться, они составляли большинство. Правда, были они на другом витке своей судьбы, на них уже был лагерный «лоск», в них чувствовался лагерный опыт, более того, опыт женщины в лагере. Начать с того, что в большинстве они не отсидели своих сроков, а были по указу освобождены как «мамки». Тогда время от времени издавались такие — непубликуемые — указы, освобождавшие женщин, ставших в лагерях матерями. Конечно, если они были осуждены не по страшной 58-й и отчасти (только отчасти!) приравненной к ней статье 593 (вооруженный бандитизм), а по какой-нибудь «бытовой» мирной статье — растрата и тому подобное. Но речь не о системе наказаний, а об этих девушках, ставших в лагерях «мамками».

Как воспринимали себя и свою судьбу эти молодые женщины? Ведь самое интимное, самое поворотное в их судьбе было скомкано и подменено случайной, а то и вынужденной связью. Оно, конечно, и на воле тогда из-за недостатка мужчин с этим было немногим лучше. Но все же оставалась какая-то свобода выбора своего поведения. В лагере мужчины были в избытке, и некоторым, наверное, удавалось устроить свою судьбу. Но в принципе у большинства с таким выбором было хуже, чем на воле... Слишком велика бывала зависимость одних от других. Как могли чему-либо противостать такие девушки, для которых все происшедшее с ними — и преступление, и наказание — было непостижимо, несоразмерно и не связано с их сознанием и волей? Не способствовало это появлению и укреплению представления о суверенности и значимости своей личности и личной жизни. Нет, они вовсе не были разбиты или подавлены, наоборот, оживленны и веселы — ведь они ехали домой. Допускаю, что некоторые и рожали с этой целью. Таковы были, по их «повзрослевшим» представлениям, параметры жизни, с которой они освоились, которые приняли за норму, с которыми — в какой-то степени сравнились. В этих

«параметрах» они выживали и теперь тоже ехали дальше в них жить — только все-таки в более легких условиях. Я не утверждаю, что это новое представление о жизни полностью их поглотило, тем более всех, но думаю, что кое-что из этого унесли в себе многие из них.

Лагерь понижали общее представление народа о самом себе, о возможном и должном. И это понижение (ломать — не строить, энтропия не требует усилий) обрело определенную устойчивость, уцелело в душах до наших дней и не способствует нашему спасению.

Но и это — взгляд на их судьбу и ее значение из сегодняшнего дня, взгляд обогащенный (и удрученный) всем, что я узнал, пережил и понял за прошедшие с тех пор полвека, а не тогдашнее восприятие. Да я и сегодня не утверждаю, что они — тем более все — были или выглядели тогда аморальными оторвами. Нет, но они, независимо от своих персональных качеств, были невольными носителями и распространителями такого «знания» о жизни, такой способности примирения с недопустимым. Но это больше о нашей истории, чем о них. А сами по себе они тогда вовсе не производили дурного впечатления.

Просто рядом со мной и вокруг меня, так же как и я — в тесноте, да не в обиде, — пристроились и ехали «на запад» эти, конечно, уже бывалые, уже крепко ударенные жизнью, кое-что о ней узнавшие и как-то в ней сориентировавшиеся, но нисколько не унывающие молодые женщины. Младенцев, из-за которых их освободили, при них не было. Во всяком случае, у большинства из них — не припомню, чтоб в купе пеленали младенцев. Их уже относительно давно, то есть при первой возможности, увезли домой родители этих матерей-одиночек, как изящно именovalo их сталинское законодательство. Предстоящая встреча со своими детьми — они об этом говорили — явно поднимала их настроение. Несмотря на звериную вольность нравов, которая была им принудительно привита в лагере, они были весьма далеки от woman liberation*.

Но больше говорили о лагере — тема для всех вокруг понятная и близкая. Рассказывали лагерные байки, выясняли, кто из них за что сидел. А также за что сидели те, кого они знали. Выяснялось, что все — ни за что. В выраже-

* Женское освобождение. Практически, во всяком случае в США — как я уже отмечал — освобождение женщин от женственности.

ниях не стеснялись. Заявить на полвагона: «Да чего говорить? Все вообще сидят ни за что!» — было для любой из них раз плюнуть.

Кстати, справедливо ли это утверждение? Буквально нет. Сидели ведь и убийцы, и грабители — тех, кого не жалует ни одна полиция мира. И все же я думаю, что в их устах оно было справедливо. Во всяком случае, правдиво. И потому, что преступлением считалось то, что никогда и нигде не считалось преступлением, и ввиду вопиющей несоразмерности в большинстве случаев масштаба содеянного и грандиозности расплаты. Наказание в таких случаях воспринимается не как справедливое возмездие, а как просто несчастье.

Но эти девушки-матери говорили настолько откровенно, что однажды я увидел, как после одной из таких фраз один гэбист (или лагерный администратор) с самоуважением профессионала подмигнул второму и выкрикнул (из-за чего я и осознал их присутствие в этом вагоне):

— Ты слышишь, что говорят?! Клеветнические опровержения!

Но второго, видимо, причастность к профессии сейчас не волновала. Он был в отпуске и этого интеллектуального разговора не поддержал. По-моему, те, кто вызвал это высокоумное замечание, его просто не заметили, как и вообще присутствия столь важных персон в зэковском вагоне. Так и сошли в Москве, не зная этого.

Между тем за такие высказывания еще недавно хватали вполне автоматически — в любом социальном слое. И я не думаю, чтоб к тому времени вышло указание, чтобы в отношении малых сих смотреть на них сквозь пальцы. Но, видимо, сама гильотина потеряла прежнюю прыть и в этом безнадежном направлении работала спрехвала (как мы видели на примере Чумакова). Кто-нибудь прыткий мог бы при случае и кому-нибудь из этих девчат вклеить 58/10, но особого уважения у коллег это бы не вызвало. От обескровленной им деревни Сталин подвоха не ждал, а работники органов к этой категории граждан, из которых многие из них вышли (и которых так блистательно «переросли»), привыкли относиться с презрительной снисходительностью как к темным и непонимающим. В их глазах это было лишнее рвение — «проявить себя» можно было и без этого, «работы» хватало. Чего стоило «обслужить» репрессиями и «правильно оформить» дела лиц всех возрастающих в количе-

стве категорий, по которым вождь считал необходимым срочно нанести превентивный удар. И ведь каждого надо сломить, заставить. Короче, работы и так выше головы — зачем еще сюда совать темных и непонимающих «колхозников». Впрочем, насколько я знаю, без таких «колхозников», проходивших по статье 58/10 (а не только, допустим, «за колоски»), дело и тогда не обходилось.

Были у меня спутники и другого рода. Наиболее примечательный — один латыш. Крепкий, молчаливый, он часами сидел за столиком, расположенным в проходе под боковой полкой, молчал и даже в окно не смотрел. Я подсел к нему и завел разговор. Он отозвался. Оказалось, что он фермер, почему и был арестован, когда органы «осваивали» Латвию. А брат его был из тех латышских стрелков, которые ушли в Россию и стали там основой пролетарской диктатуры. В результате брат давно расстрелян, а он все-таки пока что жив, вот из лагеря вышел. Усмехнулись оба... Денег у него почти совсем не было. Я немного угощал его в дороге и дал ему на дальнейший путь три рубля. Конечно, это покрывало его элементарные потребности в дороге, но мне до сих пор больно и стыдно, что дал я так мало. Дело не в скупости, а в том, что я не знал, не был уверен, чем меня встретит Москва, кто примет меня, а кто побоится (а вдруг все побоятся?), и мне было страшно тратить деньги.

Так же скупко подкармливал я и еще одного приглянувшегося мне человека — молодого парня, привлекшего меня спокойствием и разумностью. За что он сидел, не помню (но вроде не за политику). Был он то откуда-то из Львовской или Ивано-Франковской области — кажется, с Карпат, в общем из Галиции. Был украинцем, но даже со мной говорил по-русски. И должен сказать, что его русский был не только грамотен, но безупречен. Без малейшего акцента. Что редко встречается среди жителей этих мест. Но симпатичен он был мне не поэтому, а вообще. Вызывал полное доверие и доверия не обманул. Постепенно к исходу одной из ночей поезд стал подходить к Москве. Стали мелькать знакомые станции. В Мытищах поезд несколько задержали, и я даже постоял на перроне. В полпятого утра он стал подходить к Ярославскому вокзалу. Я решил сначала отвезти вещи на Киевский вокзал, и если выяснится, что никто в Москве меня видеть не хочет, тем же вечером уехать в Киев. С этим чувством я и въехал в Москву... Мои друзья ничем

не заслужили таких сомнений в себе, да и Тamarченки были этому ярким доказательством, в общем, я это знал, но напряженность ожидания оставалась — сказывалось зэковское чувство прокаженности.

Приезд в Москву был отмечен небольшим приключением. Поскольку ждать открытия метро было еще долго, я договорился с некоторыми из «мамок» (среди них были и украинки) и еще с кем-то, что вместе возьмем такси на Киевский. Своему галицийскому приятелю я сказал, что его долю этого расхода беру на себя. И если Москва меня примет, что-нибудь ему еще добавлю. В такси сразу набилась уйма зэков (человек 7—8) со своими сидорами, деревянными чемоданчиками и прочим скарбом. Поехали по предутренней Москве. Таксист, увидев такую толпу провинциалов, готовился, как скоро выяснилось, «сорвать крупный куш». Но он не знал, с кем связался. Признаться, и я тоже.

Когда мы прибыли на Киевский, на счетчике было 22 рубля, но таксист безапелляционно объявил:

— С каждого по десятке.

Но на моих «мамок» эта безапелляционность не произвела никакого впечатления.

— А в нас грошей нэма... Мы з лагэра, — невозмутимо ответствовали они, схватившись за свои «тлумки» и стремясь как можно скорее выбраться из машины.

— Да вы что! Мне ведь и счетчик надо оплатить.

Но на «мамок» это не действовало. Таксист растерялся. И счетчик с «на-чаем» оплатил я. Почему-то мне было неловко перед шофером.

— Но на меня вы не обижаетесь? Больше дать я не могу.

— Да нет, — расстроено ответил он. Счетчик он оправдал, на чай получил, но куш сорвался. Девки, как видите, показали, что кое-чему в лагере обучились.

Мы с приятелем вошли в хорошо знакомое мне здание. Народу, как всегда, было много. Мы сидели на скамье и ждали. В голове стучало: «Примут — не примут?» Неужели я проеду Москву, так в ней и не побывав? Зачем тогда жить, если я никому не нужен?» Звонить еще было рано. Особенно Ляле, которая жила в коммуналке. Почему я решил звонить именно Ляле? А не Жоре*, допустим? На этот вопрос трудно ответить. Может быть, потому, что она близка Та-

* Ляля — Ольга Игоревна Ильинская, Жора — Георгий Борисович Федоров. О них обоих смотрите часть 3 этой книги.

марченкам, с которыми все уже было в порядке. Впрочем, кому-то из холостяков я все же позвонил раньше, но попал к другим людям и был справедливо обруган — видимо, изменился номер. Это нельзя было принять за отказ, но все откладывалось. Оставалось ждать — уехать ведь тоже было нельзя. Хоть уезжать мне не хотелось.

Наконец, кое-как стрелка доползла до девяти... Теперь уже вроде прилично звонить и в коммуналку. Бросаю гривенник, набираю номер. Долго не берут трубку. Наконец взяли.

— Простите, пожалуйста, — стараюсь говорить как можно обыденней, — можно Ольгу Игоревну?

Проходит полминуты, и я слышу Лялино «Алло!». И после моего отклика сразу:

— Эма! Наконец-то! Ты откуда? Приезжай скорее!

Я даже удивился. Меня ждут. Но ведь я и сам не знал, что поеду в Москву, мечтал где-то укрыться, спрятаться, а здесь понимали, что мне не миновать ее... Это сразу наполнило меня радостью. Раз меня ждут, значит все на месте и, несмотря на статью 38 положения о паспортах, я вернулся. Значит, опять вокруг меня моя Москва.

Попрощавшись с попутчиком, я оставил ему то, что намеревался оставить в этом случае (что — не помню, но совсем немного), спустился в метро и поехал к Ляле. Жизнь опять обретала свои очертания.

В Москве 1951-го. Снова у Ляли

Ехать было недолго. Всего только от «Киевской» до «Арбатской» — две остановки. Максимум минут через тридцать (все же и площадь надо было перейти, чуток пройти по Поварской и чуток по их переулку) я уже сидел в знакомой Лялиной комнатухе в Мерзляковском. Описывать, как тепло меня приняли, не буду — это ясно из телефонного разговора. Да и не очень я это умею. В принципе и Ляля, и Борис Сергеевич, и Лялина мама встретили меня, как обычно, что мне и надо было больше всего. Может быть, только чуть радостней, чем обычно. Все-таки давно не видались, да и вообще могли не увидеться. Но в общем все было, как прежде. Это значило, что в главном мы не переменялись — ни по отношению друг к другу, ни вообще. Да и накопилось за это время много друг другу несказанного и нерассказан-

ного — это тоже накладывало свой отпечаток на атмосферу встречи, на разговор. Естественно, много рассказывал я (все, что я мог рассказать, читателю этой книге уже известно), но многое стремились рассказать и они. Этим многим была пережитая ими в непосредственной близости антикосмополитская кампания. Как знает читатель, эта кампания меня потрясла, явилась поворотным пунктом в моей внутренней биографии, но проходила она все-таки вдалеке от меня. По Тамарченкам она ударила непосредственно, но на периферии, где она была «к месту» использована против них, основные же смрадные ее бури прошли не над их головами, разворачивались не на их глазах. И даже не рядом с ними.

Что же касается Ляли и Бориса Сергеевича, то хотя непосредственно ни один порыв этой бури никого из них не задел (их не травили на собраниях или в печати, не глумились над ними, не вынуждали неизвестно в чем каяться и не выгоняли с работы), но все ее перипетии, все уродства и падения разворачивались или на их глазах, или на глазах их друзей — в непосредственной близости от них. И переживалось ими тоже непосредственно. Смрадность эта была для них, как для многих в Москве и в других главных центрах, еще менее умозрительна, чем на периферии. Отчетливей было видно, кто и как на этом вылезает наверх. Они были оскорблены этой кампанией. Как и многие другие, кого она тоже непосредственно не задела — порядочных людей в России было много... Ведь в ней оскорбительно было все: воскрешение гитлеровского антисемитизма через три-четыре года после победы над ним, после многих лет тотальной антигитлеровской пропаганды — так же обязательной для усвоения, как теперь «антисионизм»; да и вообще ее кричащее несоответствие прокламируемой идеологии (к которой, повторяю, мы относились серьезно и из-за которой многие со многим мирились). Такое наглое обращение Сталина с тем, что он сам внушал, не могло быть не унижительным ни для кого, кто имел дело с такими материями. Даже для аппаратчиков. Просто это чувство подавлялось еще в подсознании.

Мое нахождение вдалеке дало мне определенные преимущества — мне легче давалось обобщенное понимание ее значения, ее места в исторической перспективе. Поэтому мои суждения о природе этой кампании и ее возбуждениях были резче и определенной, чем их... Это было един-

ственное, в чем я был не согласен с ними (и с Тамарченками, и со многими другими), но это нас несколько не разделяло. Ибо возражения их не были слишком упорными, смрад этой кампании не располагал к этому, а то, что я тогда считал истиной — было только остановкой в пути по направлению к ней. И я, и они интеллектуально и духовно находились внутри «настоящего коммунизма». Только мне теперь ничего не стоило ассоциировать с ним Сталина, а они продолжали за него держаться. По-настоящему не за Сталина, а за коммунизм. Но почему умные, незаурядные, образованные, честные и безусловно достойные люди, по своему социальному происхождению чаще всего относящиеся к «враждебным классам», так прикипали к этому лжеучению, что даже держались за его фальсификацию?

У нас, можно сказать, и выбора не было, и если открывалось какое-либо его интеллектуальное (а не вульгарное) истолкование, то люди за него хватались. Но ведь и на Западе он многим светил. Возможностью исторического творчества, деятельности во благо. Смыслом жизни, дружеством, чувством локтя... Да так светил, что когда коммунизмом овладел чуждый им по духу Сталин, он автоматически овладел и их душами! В реальность Сталина трудно было поверить и посторонним — слишком невероятны по масштабу его преступления, но людям, отдавшим себя коммунизму и всем хитросплетениям его диалектики, поверить в возможность такой беспредельной измены своему делу было еще труднее. И они стали предавать все это — и смысл жизни, и дружество, и чувство локтя.

Психологическая коллизия это была свойственна и многим из нас, но «предавали» — это больше о Западе. У нас это было свойственно только некоторым старым большевикам-партийцам при воцарении Сталина. К моим друзьям, не только к Ляле и Борису, ко всем — сюжет с предательством не относился, они, во-первых, не состояли в партии, во-вторых, не предавали никого и ничего. Дружество и чувство локтя, сохранение самоуважения для них было превыше всего — нам казалось, что мы вместе храним верность настоящему коммунизму, растоптанному то ли Сталиным, то ли его приспешниками независимо от него (потому что у него руки не доходят) — в том и были расхождения. Но мои друзья прежде всего были людьми. Во-первых, не все уже держались за Сталина, а кто держался,

то без всякой страсти. В целом все, в том числе и я, держались теперь только за некую объективную прогрессивность строя. Мыслями мы в чем-то могли расходиться, но чувства и ощущение реальности были общими.

Тем более по отношению к космополитской кампании. Лялю не трогали, но над ее друзьями измывались — причем чаще всего те, кто им в подметки не годился. И нельзя было громко ответить ни на какую чушь, надо было перед ней унижаться. Впечатления были незабываемы. Особенно в Лялину память врезалась некая Демешкан, которая подвизалась в этой кампании на видных ролях. Фигура эта весьма примечательная, тоже одна из иллюстраций нашей трагедии... Она была то ли любовницей, то ли приятельницей жены, во всяком случае креатурой, тогдашнего секретаря ЦК Г.Александрова, «курировавшего» эту кампанию, и поэтому ничего не боялась и не стеснялась. Она не скрывала, что сводит счеты с евреями. Но какие и за что? За то, что во время Гражданской войны ее родители, бессарабские дворяне, были расстреляны ЧК. Я вполне допускаю, что среди принимавших решение об этом расстреле и приводивших его в исполнение чекистов все или большинство были евреи. К сожалению, это не исключено. (Только не убежден, что она могла это точно знать — ведь мала была.) Возможно, эти евреи в ЧК тоже сводили счеты — среди бессарабских дворян было много черносотенцев (Пуришкевич, например). Но даже если эти расстрельщики все или в большинстве были евреями, это никак не давало ей права измываться над достойными людьми, не сделавшими ей ничего дурного и не имевшими никакого отношения к этому расстрелу, — только потому, что они тоже евреи. Думаю, что это отвратительно и низко. Это было бы отвратительно даже, если бы она так действовала в условиях Белой реставрации — то есть открыто исходя из констатаций, которые и я теперь считаю правильными, а именно: что большевизм — организация насильников, красный террор — кровавое преступление, а ЧК — преступное учреждение. Тогда бы такое возражение зарвавшимся мстителям — а они всегда бывают — было бы уместно.

Но ведь эта Демешкан выступала не от имени Белого мщения, а от имени коммунистической партии, при покровительстве секретаря этой партии по пропаганде (офи-

циально коммунистической). И дело не в этой бешеной (и подлой — раз она использовала такую ситуацию) бабе, а в Сталине. В той обстановке протрации, которую он насаждал. Баба эта к концу кампании покончила жизнь самоубийством — вряд ли от укоров совести. Возможно, когда Сталин стал лавировать, она стала неудобной. Возможно, ей даже помогли уйти — Сталину в любом деле нужны были исполнители, а не энтузиасты. Возможно. Но все это домыслы — я не разу не встречал ни ее, ни кого-либо, кто ее знал. Я отнюдь не преуменьшаю значения ее беды, но, к сожалению, среди потерь, которые она понесла, была и порядочность.

Мне приходилось встречать тех, у кого в ЧК погибли родственники и близкие (Ляля первая), но порядочные люди не срывали зло на невинных. И вообще не занимались травлей невинных — особенно когда у тех были связаны руки. Не по-дворянски как-то выглядело. Конечно, большевики делали все, чтоб «раздворянить» дворян, но не в отношении всех это удалось. В отношении г-жи Демешкан их старания увенчались успехом. Другой вопрос — пошло ли им это на пользу? Нет, им ничего не пошло на пользу.

Говорили об этом много. Но не только об этом. Мелькнула и неприятно поразившая меня информация (кажется, исходившая от Лялиной подруги, Тамары Лурье — кстати, тоже замечательной женщины, необыкновенно умного и благородного человека) о том, что на одном из «этих» собраний выступила Юля Друнина и приняла участие в травле П.Г. Антокольского. Мне стало очень больно, трудно было поверить, что Юля могла так измениться. О ней еще будет речь, скажу только наперед, что нет, не изменилась. К Юле я еще вернусь.

Но пока мой рассказ не о Юле, а о Ляле и Борисе, об их доме, с которого началось мое возвращение в Москву и в котором я вовсе не перестал бывать и потом — в этот приезд, в остальные и вообще всегда... И в котором, как и до моего ареста, не перестали бывать всякого рода интересные люди. Атмосфера высокого и честного интеллектуализма никогда не покидала этот дом. В основном там бывали друзья. Старые и новые, то есть приобретенные за три года моего отсутствия... Существенную их часть составляли Лялины студенты — еще учащиеся и уже закончившие курс. В основном сценаристы, режиссеры и киноведы... Из старых

знакомых — сценарист Будимир Метальников. Однажды, придя к Ильинским (иногда их звали так — по Ляле, иногда Емельяновыми — по Борису), я обнаружил у них другого гостя — высокого, стройного и черноволосого парня с черными же усами. Парень встал с кушетки, где сидел рядом с тоже красивой, под стать ему женщиной, и по Лялиной просьбе представился:

— Гриша.

Это был будущий знаменитый кинорежиссер Григорий Чухрай. Потом Ляля познакомила меня с Гришиной женой Ирой, с той красивой женщиной, которая сидела рядом. Должен сказать, что хотя с тех пор прошло без малого полвека, красивы они оба до сих пор. И дружба моя с ними обоими, начавшаяся этой встречей, тоже продолжается до сих пор. В доме Ильинских—Емельяновых завязались многие дружбы. И это не случайно. Люди, которые собирались в их доме вообще, были близки друг другу. Прежде всего профессионально — в основном это были гуманитарии и люди искусства. Но и тут происходил отбор. Естественно, сам собой. Особенно это видно на примере студентов. Ляля вообще была популярна среди них... У всех ее бывших студентов, к какому бы поколению они ни относились, российских и бывших «демократов», с которыми мне приходилось встречаться, теплели глаза, когда я о ней спрашивал. Ничего удивительного: институт, где она преподавала, был элитарный, творческий, и хотя предметы, которые она читала, назывались «Иностранная литература» и «Теория стилей», она, читая их, попутно читала эстетику — вскрывала тонкие взаимосвязи искусства и бытия, искусства и истории, раскрывая жизненную, по существу религиозную (хотя считала себя атеисткой), суть искусства. К ней прибивались люди, наиболее к этому расположенные. Других больше волновали проблемы «чисто профессиональные», которых в кино действительно много и которые порой (не только в кино) эту суть заслоняют — в свободном мире чаще, чем тогда у нас. Людей, которые прибивались к Ляле — будь то наш общий старый друг, талантливая актриса Малого театра, кондовая интеллигентка Таня (Татьяна) Панкова (потом народная артистка СССР), или такие люди, как Гриша Чухрай, или аз многогрешный, происхождения гораздо более разночинного, — отличал интерес к сути искусства.

Гриша, в отличие от меня, был фронтовиком — да еще каким! Война его началась в июне сорок первого... Правда, первое свое ранение он получил еще по дороге на фронт, когда его часть попала под бомбежку. Но вскоре после госпиталя — осенью 1941-го, — узнав, что идет набор добровольцев в воздушно-десантные войска, он выразил желание стать десантником и в этом качестве воевал всю войну: неоднократно прыгал в тыл противника и возвращался, выводил оттуда людей. Войну он закончил старшим лейтенантом ВДВ. Несмотря на безупречность биографии, храбрость, ордена и верность идеологии, именно благодаря своей честности (в том числе и по отношению к идеологии) наткнулся на всякие неприятности, в том числе и на «органы», несколько раз был чуть ли не на грани ареста, но вступались «разведотделы». Обходилось.

Гриша был чудесный рассказчик. Многие фронтовые истории буквально оживали перед глазами, во всяком случае, переживались слушателями. И к нему и к его рассказам я, наверное, еще не раз буду возвращаться в этом повествовании... А сейчас вспомнил о его способности рассказчика в связи с одним эпизодом, высветляющим атмосферу этого дома, а отчасти и времени.

Однажды Чухрай рассказал о том, как ранней осенью сорок второго, возвращаясь с задания, он (и его друг Павел Кирмас) выводил из вражеского тыла к Сталинграду группу десантников и приставших к ним солдат разгромленных частей. Вокруг была сухая горячая степь, заходить в деревни было опасно, а у них не было еды. А воды — полторы-две фляжки на всех. Чухрай и распределял эту воду. Мерилась она наперстками — те, кто слабее, получали по два наперстка, те, кто крепче — в том числе и сам «дистрибьютор», — по одному раз или два в день. Благодаря таким, как Чухрай и Кирмас, — в людях просыпалось все лучшее, хотя все при этом оставались живыми грешными людьми. Рассказ изобилует смешными эпизодами.

Рассказ этот произвел колоссальное впечатление на присутствующих. (Мне до сих пор обидно, что Чухрай не сделал из него фильма — фильм был бы как раз по нему.) Все слушали, раскрыв рот. Среди слушателей был и друг Ляли и Бориса Рудак — Евгений Александрович Рудаков, личность яркая и интересная. Он был человек колоссальных знаний и умений, обладал высокой квалификацией во мно-

гих областях. Но сейчас все его квалификации и умения пропали втуне, ибо, как и я, отбыв свой срок (только в отличие от меня лагерный), находился в Москве нелегально. Правда, он уже принял решение прописаться в Боровске (город в Калужской области, больше чем в ста километрах от столицы, что и требовалось). Но дело не в этом. А в том, что к существующему строю он относился не просто критически, а начисто отрицал его достоинства. Лялю это огорчало — она ведь еще не только от коммунизма, но и от Сталина не освободилась. И она в связи с этим часто пикировалась с Е.А. Пропустить такой выгодный момент, как произведенное Гришей впечатление, она не могла. И в следующий раз, когда Рудак их навестил, задала ему невинный вопрос:

— Ну как вам Гриша, Евгений Александрович?

— Что сказать — очень хороший человек.

— Нет, не просто хороший человек, — назидательно сказала Ляля. — Разве вы не понимаете, что это продукт эпохи?

Е.А. на минуту задумался и даже согласился:

— Пожалуй, вы правы, но вся беда в том, что эпоха сначала создает этот продукт, а потом его поедает.

Атака была отбита, и Ляля сама это признала. Но суть не в атаке. Думаю, что в этих словах суть и трагедия того героического «советского поколения», о котором я уже здесь не раз говорил. В нем были вызваны самые высокие чувства и качества, которые были употреблены ни на что, а то и во зло. И которое горько поплатилось за это.

Хочется мне еще сказать несколько слов о ближайшей Лялиной подруге Тамаре — об упоминавшейся Тамаре Новне Лурье, с которой и у меня всегда были теплые, дружеские отношения. Она была дочерью еврейского писателя Ноя Лурье и вдовой известного критика-«теченца» Владимира Гриба. Но и сама по себе она была личностью незаурядной. Прежде всего опытным тонким литератором, редактором. И вообще очень ярким, образованным, умным и хорошим человеком. Но тогда она могла работать только как «негр» — выполняла работу по договорам своих друзей. Заключить договоры на свое собственное имя она не могла: фамилия Лурье не подходила. Но ее друзья, люди, как теперь выражаются, «этнически русские», выручали ее — доставали ей работу на свое имя. И даже стыдно отметить, что совершенно бескорыстно — без комиссионных. Само пред-

положение о такой возможности было бы для них (и для меня по отношению к ним) оскорбительно. За деньги «негры» писали пьесы за героя антикосмополитской кампании Сурова — ибо ему по должности следовало к доверенному ему «общему руководству литературой» время от времени добавлять и собственную литературную продукцию. И скучные «производственные» пьесы, основанные на пресловутом «конфликте хорошего с отличным», писали за него те, кого он шельмовал и кого вообще «не допускали». Это было время, о котором Николай Глазков (его я, естественно, тоже навестил), выражался так (объясняя почему он занялся переводами):

— Понимаешь, Эмка, надо переводить. То, что сейчас печатают, настолько плохо, что претендовать на авторство — идиотизм. А так пусть деньги частично будут и тебе, а слава — целиком ему.

Про себя я скажу, что тогда я его советом воспользоваться не мог (мне бы переводов не дали), а начал переводить я в другое время и с настоящего поэта — Кайсына Кулиева. Впрочем, и со мной случалось.

Тамара и теперь зазвала меня в гости, обдала теплом, ободрила. Похвалила стихи, особенно «Легкость» — о Пушкине.

Вот круг людей, в котором я оказался, придя к Ляле и Борису. Разумеется, эти впечатления не только того утра. Надо бы больше рассказать о первой послесысловочной встрече. Но хронологически мне трудно отделить разговоры, которые были тогда, от более поздних. Сейчас я могу передать только атмосферу. Но возвращаться к Ляле я буду еще не раз — и в этот приезд, и в последующие. А пока придется перейти к другим впечатлениям и встречам. Прежде всего к дому Яхниных.

Сага о носителях анахронизма

В первое мое посещение после первых объятий Ляля вдруг вспомнила:

— Да, не забыть! Эма... Позвони своей тете, Розалии Ефимовне... Она очень просила... Она явно хорошая женщина и хочет принять в тебе участие.

Розалия Ефимовна Яхнина была двоюродной сестрой моей матери, я еще и до ареста знал о ее существовании в

Москве, но не торопился установить родственные отношения. Потом она смеялась:

— Ты, наверное, думал: «Зачем мне какие-то еще бердичевские родственники?..»

Признаться, нечто подобное я и думал. Потом, когда моя мама приезжала в Москву после моего ареста и когда проезжала через Москву ко мне в Чумаково, ее кузина приняла в ней большое участие. Отсюда она и знала Лялю. Конечно, участие теперь нужно было и мне. Прежде всего мне негде было ночевать. Конечно, на очень худой конец можно было переночевать и у Ляли, в их двенадцатиметровке — в тесноте, да не в обиде, — но теснота была уж слишком буквальной. Правда, я еще не думал о ночевке, думал о встречах, ведь вокруг была Москва. Уж где-нибудь как-нибудь переночую. И в принципе я был прав.

А позвонил я своей тете не поэтому, а потому, что я чувствовал себя обязанным, и потому, что Ляля сказала.

— Наконец позвонил? — сказала тетя. — Приходи скорее, а то у Ольги Игоревны и без тебя тесно.

Дала адрес и объяснила, как доехать и как дойти.

— Запомни все и ни у кого ничего не спрашивай, — присовокупила она — Не привлекай к себе внимания.

И я отправился в Замоскворечье, к тете Розе (так я ее начал называть почти сразу, называл при жизни и так буду ее называть здесь). Хоть Панской улицы, на которой жили Яхнины, я не знал, но их район — возле Даниловского универмага — я представлял прекрасно и дом их нашел быстро... И, как было велено, никого ни о чем не спрашивая, поднялся на пятый этаж (лифта в доме не было) и позвонил в дверь указанной квартиры. И мне открыли... И мы познакомились. Потом пришел с работы ее муж, Давид Михайлович. Знакомство с ними было одной из высочайших удач в моей жизни. Родственники оказались отнюдь не «бердичевские». Сейчас старики жили одни. Их сын Женя, фронтовик, офицер, выпускник Военно-химической академии, жил в Саратове, где преподавал в военном училище, а старшая дочь Вера еще до войны вышла замуж за знаменитого летчика-испытателя Николая Степановича Рыбко, многожды описанного в различных мемуарах, посвященных советской авиации, и жила отдельно. Кстати, столь близкий контакт его тещи со мной мог поставить под воп-

рос всю его дальнейшую работу. Они это понимали, но не могли изменить своим традициям. А традиции были.

Указание тети Розы насчет того, чтоб я отыскал ее квартиру самостоятельно, никого в доме (на лестничной клетке) ни о чем не спрашивая, не было в ее устах спонтанной предосторожностью — это было правилом конспирации, а она была опытным конспиратором. Этот опыт приобретен был ею и до революции, когда она состояла в эсерах (или только была связана с ними — я этого не уточнял), и после нее — когда она (до 1937 года) была членом коммунистической партии. И до революции, и после нее она помогала тем, кого преследовала полиция. Так что то, что она появилась в моей жизни в далеко не самый безоблачный ее момент, что мне немедленно был предоставлен кров и стол, было для нее естественным и традиционным. Кстати, кров и стол автоматически предоставлялся мне каждый раз, когда я приезжал в Москву — до самой смерти Сталина, когда по «ворошиловской амнистии» я был восстановлен во всех правах и предоставление мне ночлега в Москве перестало быть наказуемым деянием. Тогда она мне сказала:

— Вот что, Эма! Друзей у тебя много, все они тебя теперь примут — так что живи у них, а то я уже стара, и обслуживать мне тебя трудно.

Многих эти слова покорабят или хотя бы удивят. Между тем удивляться надо не этим ее словам, а совсем другому — тому, что они не были сказаны раньше. Ведь и за два года до этого разговора, когда я только появился в их доме, они с Давидом Михайловичем уже были почти так же немолоды, как теперь. И тете Розе взваливать на себя дополнительную тяжесть было почти так же нелегко. Тем не менее тогда она не только не говорила этих слов, а проявляла инициативу, никак из них не вытекающую — по своей воле взвалила на себя эту дополнительную тяжесть. Она могла бы просто не возникать в моей жизни в такой тяжелый и опасный момент. Кто бы ее осудил — ведь мы и знакомы не были. И пока это было опасно, безропотно несла на себе связанные с моим пребыванием тяготы. А опасность — словно бы ее действие на эту немолодую женщину вообще не распространялось — в расчет вообще не принималась. Конечно, у друзей мне и до этого момента случалось ночевать, и не раз, но базой мне, когда я приезжал в Москву, всегда служил дом Яхниных. При моем полуправильном по-

ложении это было удобно — у меня было надежное пристанище в Москве.

А теперь — тетя Роза была права — я мог свободно ночевать у всех своих друзей, даже у тех, кому раньше было трудно на это решиться, которых у меня и вправду было много, и не доставлять ей лишних хлопот — она свое дело сделала, свой долг передо мной (если мог быть у нее такой долг) исполнила.

Все это было самоочевидно, и разговор этот, естественно, не привел ни к какому, даже минимальному, даже к краткому охлаждению отношений. Посмеялись, и все. Естественно, я продолжал у них бывать, а в экстренных случаях и заезжать к ним. Правда, теперь уже ненадолго. Да и вообще жизнь пошла иная, и скоро — в конце 1954 года — я окончательно вернулся в Москву. Добрые, дружеские, близкие и теплые отношения продолжались у нас до самой их смерти.

Люди они и впрямь были замечательные. Я не знаю, что делала тетя Роза в эсеровской партии или при ней до революции, и даже толком не выяснил у нее (тогда это еще мне казалось естественным и понятным), почему она потом стала коммунисткой, но знаю другое — что и став коммунисткой, она продолжала помогать эсерам и неэсерам, когда они попадали в беду. Марусю Спиридонову, Женю Ратнер и многих других тогда знаменитых людей она иногда поминала запросто... Но занималась она не только знаменитыми. Рассказывала она о том, как в каком-то городе, где она работала в каком-то учреждении, местная ЧК ни за что ни про что арестовала и быстро (прежде чем тетя Роза смогла вмешаться) расстреляла учителя или директора местной гимназии. Ее это возмутило. Ему помочь было нельзя, но оставалась семья... И тетя Роза взяла в оборот председателя ЧК, простого полуграмотного рабочего, плохо понимавшего, что он делает, и доказала ему, что тот расстрелял человека ни за что. Тот устыдился и в конце концов под ее давлением выдал семье справку, что ее глава геройски погиб за революцию. А как бы она жила, если бы считалась семьей расстрелянного контрреволюционера?

В другое время она помогала попадавшим на ее пути раскулаченным — что потом аукнулось — помогло мне, о чем чуть позже...

Была она знакома и с большевистскими лидерами, например, наркомфином Гринько и секретарем КП(б) Укра-

ины С. Косиором. Впечатляющим было ее воспоминание о последней встрече с ним. Увидев его в каком-то учреждении, она спросила:

— Почему вы перестали ко мне заходить, Станислав Викторович?

— А разве вам будет приятно, если я к вам приду в сопровождении цербера, Роза Ефимовна? — ответил он вопросом на вопрос.

К «старой гвардии» я отношусь отрицательно. Даже если на фоне сталинских выдвиненцев она и выигрывает, то этот фон создала она сама. К Косиору же я отношусь хуже, чем к большинству ее представителей — он непосредственный организатор искусственного голода на Украине — «голодомора». Конечно, он был только исполнителем, только проводником линии ЦК, то есть лично Сталина. Даже не совсем безмолвным. Недавно я прочел, что он все-таки пытался этот «голодомор» предотвратить — ездил к Сталину и доказывал, что план хлебозаготовок сильно завышен и необходимо его сократить. Однако когда был «поставлен на место», одно из самых страшных преступлений века совершил. И даже взял его на себя*. И сошел он с этого места, отнюдь не по своему желанию, но и не за свои преступления, только в могилу. Извинений ему нет.

И все-таки я и теперь не испытываю удовольствия, когда думаю о том, что перед окончательным исчезновением ему еще пришлось походить с цербером. У этой преступной партии, взявшей на себя божественные функции творения мира (определение, услышанное мною от Н.А.Струве), все-таки была и своя трагедия. И ее не стоит игнорировать. И потому что она имеет отношение к духовному опыту человечества (в отличие от сталинщины, которая, может быть, и бич Божий, но духовным опытом не является). И еще потому, что она наложила на трагедию страны. Сталинских клеветов последних призывов присутствие церберов вовсе не оскорбляло, они к этому относились как к чему-то само собой разумеющемуся, даже почетному — значит ценят. А ведь это было не слежкой, не подслушиванием, даже не открытым наблюдением, а наглым неотступным следованием (под видом охраны) за человеком. И применялось

* Сталин вообще любил, чтоб брали на себя. Например, все его антисемитские, в том числе и кровавые преступления (дело ЕАК), кампании связаны с именем Маленкова, который вовсе не был антисемитом.

это не по отношению к реальным или мнимым недругам, а к лицам, в официозной печати именовавшимся вождями (потом «руководителями партии и правительства»). Правда, и они, когда предвкушали наступающую немилость, начинали этих церберов опасаться. Но уж никак не оскорбляться. Право оскорблять было уже в их глазах естественной прерогативой Вождя и любого другого начальства. Так что это их иногда пугало, но отнюдь не оскорбляло. Косиора еще — оскорбляло. Говорить, что избавление от таких рудиментов не налагало ничего на историю страны и ее облик, все-таки нелепо.

Кстати, тетя Роза тоже была «партийкой», пока ее в 1937 году не исключили — кажется, за связь с «врагами народа». Видимо, исключили ее слишком поздно — начался откат, Ежова сменил Берия, и ее не посадили. Потом ей даже предлагали восстановиться в «рядах», но она этого делать не стала. Возможно, потом это спасло ей жизнь — о ней забыли. Но как показывает случай со мной, она отнюдь не перестала быть самой собой.

Между тем муж ее, Давид Михайлович, продолжал пребывать в партии. Правда, к партократии он не относился — работал рентгенологом в районной поликлинике на Щипке. До этого он был главврачом этой поликлиники. Думаю, что ушел он с этой должности по возрасту, а не из-за «жидоморства». Был он настоящим русским интеллигентом. Это о нем я вскользь рассказал, что, когда его хоронили, пожилые нянечки и санитарки плакали:

— Какой хороший человек был! Когда в войну главврачом работал, себе в последнюю очередь брал... Теперь таких нет.

Представить, будто он не понимал, что мое пребывание в их доме грозит неприятностями, невозможно. Понимал. И что тут его членство в КПСС явилось бы отягчающим обстоятельством — понимал тоже. Но он ни разу не проявил при мне никакого беспокойства по этому поводу. Причем, если самоотверженность тети Розы как-то еще можно было объяснить родственными чувствами (весьма, впрочем, искусственно — напоминаю, мы и знакомы до этого не были, а мою мать до моего ареста она видела раз или два за всю жизнь), то Давид Михайлович был мне только свойственником, к тому же весьма отдаленным. Конечно, почти сразу мы стали близкими людьми, но ведь до этого надо было

захотеть меня приютить. Конечно, потом я беспрепятственно ночевал у многих своих друзей, но ведь они были друзьями (дружбу Сталин, несмотря на все старания, разрушить не смог), а тут мне пришли на помощь — да еще как! — практически совсем незнакомые люди — из чистого благородства. Безусловно, это было традиционное поведение русского интеллигента. Но ведь из многих Сталин эту традицию выбил. Из них — нет.

Кстати, при этом Давид Михайлович, в отличие от своей жены (все-таки бывшая эсерка), существующий строй вовсе не отрицал. Он часто мне говорил:

— Эма, не впадайте в бальзаковскую ошибку.

Сегодня это выражение мало кому понятно. Не говоря уже о том, что мало кто теперь читает этого гениального французского писателя. Связано это выражение с каким-то высказыванием Маркса, сводящимся к тому, что Бальзак из ненависти к буржуазному строю стал легитимистом, но как художник он объективно изображал современное ему общество и классовые отношения. «Бальзаковская ошибка» — это отрицание более прогрессивного общества из-за его язвы, которых раньше — во всяком случае, в таком количестве — не было. Я был согласен с Марксом насчет Бальзака, но не согласен был, что она применима к современному нам строю. Сталинщина явно не была в моих глазах прогрессивной и, как я потом понял, не была строем — и стабильность, и монументальность ее были локальны, не имели в себе ничего самодвижущего или самовывживающего. Держалась она на тотальном насилии и тотальном обмане, а также на бессовестной трате природных богатств, позволявших как-то до времени откладывать решение нарастающих проблем. О роли насилия и обмана я знал (что она громадна), но в целом это мысли иного времени — прозрачность наших индустриальных достижений тогда не было ясна и мне.

Впрочем, о «язвах», о том, что такое сталинщина и Сталин, обо всех его проделках на пути к воцарению Давид Михайлович знал больше меня. И говорил об этом прямо. К ситуации относился с отвращением, предоставлял мне пристанище... Только что боялся «бальзаковской ошибки».

Честность его была невероятна. Его сын, ныне доктор химических наук Евгений, когда в 1955 году увольнялся из армии, проходил медкомиссию. Какая-то заминка вышла с

рентгенологом. Дело затягивалось. Кто-то спросил его, нет ли у него в Москве знакомого рентгенолога, и, услышав, что им является родной отец, обрадовался:

— Вот хорошо. Только вы ему скажите, чтоб он написал это вот в такой форме (невинно сгушавшей краски), и вы получите преимущество после увольнения.

— Ты ж понимаешь, как бы отец воспринял такое предложение, — говорил мне потом Женя. — Конечно, я ему ничего такого не сказал... Просто он сделал рентген и описал то, что увидел. И я уволился нормально.

Конечно, и сам Женя не был склонен к таким махинациям, тем более дающим какие-то материальные выгоды. Но уж для Давида Михайловича и сам разговор об этом был немислим. Он был бы потрясен, услышав такое предложение от родного сына.

Однажды кто-то попытался всучить ему взятку — не для каких-то льгот, а чтоб лучше лечил. Существовало уже такое поверие в народе. Давид Михайлович об этом поверии не знал или его не понимал. И был до глубины души оскорблен. Но при этом оставался в пределах вежливости. Он только запер дверь и сказал:

— Деньги свои вы, пожалуйста, заберите. Заберите, прошу вас.

Растерянный пациент счел за благо их взять и рванулся уходить.

— Нет, задержитесь, пожалуйста, — продолжал Давид Михайлович. — Я хочу понять, почему вы решили мне дать эти деньги. Может быть, что-то в моем поведении дало вам повод так думать обо мне? Вы скажите, что именно, чтоб я мог это учесть и больше такого повода не давать... Скажите, разве я дал повод?

Не знаю, понял ли его пациент, думаю, что он был счастлив, оказавшись на улице. Давид же Михайлович еще долго не мог успокоиться, потому и мне рассказал.

Честность его не имела границ. Через год с этим столкнулся и я. Тогда я уже был студентом Карагандинского горного техникума (о том, как я стал им — позже) и возвращался с каникул. По каким-то причинам я на несколько дней задержался в Москве и опаздывал в начало занятий. Кажется, и начало занятий несколько запаздывало. Но мне было бы удобней, прибыв, предъявить справку о болезни. Я знал, что Давид Михайлович относится ко мне хорошо,

даже любит меня, понимает мое положение, знает, как мне важны эти несколько лишних дней в Москве. А справка эта не давала мне никаких материальных выгод, а просто нужна была для соблюдения формы. Я не сомневался, что Давид Михайлович сделает мне это пустячное одолжение. Однако он наотрез отказал мне.

— Что вы, Эма! Как я могу вам дать справку, что вы больны, если вы здоровы? Это невозможно... Ну, в крайнем случае, я могу вам дать справку, что вы ко мне обращались.

Мне такая справка помочь бы не могла, но когда я вернулся в Караганду, обошлось без всякой справки — такое это важное было дело.

Этот эпизод меня озадачил. У меня было полно знакомых врачей, и любой из них выдал бы мне эту справку незамедлительно — почему не помочь увернуться от бессмысленной бюрократической строгости человеку, который ничего дурного не замысливает, ничем поживиться не собирается? Ведь так же отнеслись бы к ней и в техникуме — никто б и не подумал справляться о моем самочувствии или поздравлять с выздоровлением — все цену таким справкам знали, но просто желательно, чтоб в бумагах все было в ажуре. Эти справки — одна из уловок народа, уворачивающегося от системы.

Но Давид Михайлович, несмотря на свой партбилет, был «человеком раньшего времени». Он был врачом, доктором, это была его функция в жизни, и каждая подписанная им справка могла быть только точным медицинским документом и никак не филькиной грамотой. Иначе он переставал бы быть функционален, потерял бы себя и свое представление о себе, перестал бы себя уважать. Я понимал, что это анахронизм. И действительно, такое отношение к делу в наших условиях было слишком громоздко, часто просто неуместно. Но я и тогда почувствовал, чего нас лишили, превратив эти необходимые человеческие качества, это цивилизованное отношение к делу — в анахронизм...

Разврат, конечно, шел сверху. Ведь сатирическое выражение «Чего изволите?» отражало тенденцию, крайность, а при Сталине это стало нормой всей государственной и общественной жизни, чуть ли не критерием добронравия. От этого государственного, часто жестокого «добронравия» народ защищался своим, подпольным, но очевидным добро-

нравием. Даже взятками, которые тоже были иногда оправданны. Вряд ли взятки врачам — врачи обязаны лечить. Впрочем, в рамках ненормальной системы все нормальные правила не абсолютны — ведь и врачам сильно недоплачивали. Защищались и фиктивными справками. Ради целей иногда более гуманных и разумных, чем те, ради которых выдвигались нарушаемые требования. И они давались — и я не помню, чтоб за деньги. И все это вместе ни к чему хорошему не вело. Ибо в жизни должны быть параметры, твердые ориентиры. Справка от врача должна точно констатировать состояние здоровья — для того и выдается. В нормальном мире.

Но мы жили в мире, очень далеком от нормальности, а Давид Михайлович упрямо продолжал жить по законам нормального мира. От других того же не требовал (вообще не морализировал по поводу других), но по отношению к себе самому требований не смягчал. Вечная память этим двум очень порядочным, благородным и храбрым людям, сумевшим сохранять свое достоинство и требовательное уважение к себе. Во времена, когда это было запрещено и даже как-то «выглядело несолидно».

Встречи с друзьями (1951—1953)

Сегодня расстояние между этими двумя датами кажется кратким, как черточка между ними. Немногим больше с такого расстояния кажутся и четыре года. Но с этим спорят строки песни Окуджавы, начинающейся словами «Четвертый год подряд/ Война твой дом, солдат» и заканчивающаяся ненавязчивым, совсем вроде неполемическим напоминанием: «А война была четыре года / Долгая была война».

Я не сравниваю солдатские будни со своей тягомотиной: для солдата ведь каждый день и каждый час мог оказаться последним — все эти четыре долгих года войны, а для некоторых это распространилось на несколько часов и даже дней после Победы. Равняться с этим человеку моего поколения, не побывавшему на фронте, — бессовестно. Но это не отменяет того факта, что наше время вообще было длинным. Это было длинное, как лагерный срок, время несвободы, хоть далеко не все это сознавали. Тем более что несвобода его становилась все глубже — она развивалась в соответствии с

медицинским состоянием Сталина. А в эти два года она, как известно, развивалась особенно интенсивно.

Встречи с друзьями начались у меня с первого дня моего появления в Москве за эти два года. Ну хотя бы с Ляли и Бориса. А ведь Ляля и Борис — это еще целый круг людей. И я сразу «пошел по рукам». Приезжал я в Москву (проезжал через нее с длительными остановками по пути в Киев и обратно) раза четыре, и, возможно, мне будет трудно дифференцировать эти «разы» — что к какому относится. И мало отличаются мои впечатления за эти два года. Так что я буду говорить о своих впечатлениях и встречах, почти не дифференцируя. Тогда друзья молодые — самым старшим тридцать — тридцать два года. Теперь большинства из тех, кто меня тогда принимал, уже нет на этом свете. Это требует от меня особой осторожности — ведь они уже не могут ни поправить меня, ни ответить.

Меня принимали все, но нет правил без исключения. У меня таких исключений было два. Одно из них имело серьезное объяснение, которого я тогда не знал. Касается оно Максима. Его я отыскал одним из первых. Это было непросто, он продолжал жить у своих теток, без телефона. Но откуда-то я узнал, что он теперь завлит Театра имени Станиславского. И однажды дозвонился до него. Результаты были ошарашивающими. Он сухо и твердо отказался со мной встретиться. Такое, как я думал, предательство меня обескуражило. Что ж будет с другими? Но с другими ничего не было. Встретились мы только после смерти Сталина. И он рассказал мне, что накануне того дня, когда я ему позвонил, был арестован Платон Набоков, с которым он тогда тесно дружил. И ему было страшно усугублять свое положение встречей со мной. Обстоятельство, смягчающее вину. Ведь мы не были членами заговорщицкой организации, которые как бы берут на себя обязательство быть готовыми к любому повороту событий, а были просто литераторами, частными гражданами, за которыми бессмысленно охотилось сошедшее с ума государство.

Второе предательство тоже объяснялось страхом, но вспоминать о нем мне гораздо более неприятно. И не только потому, что там не было такого смягчающего вину обстоятельства, как у Максима, а из-за формы проявления этого страха. И именно эта форма превращает этот незначительный вроде эпизод в общезначимый...

А дело было вот в чем. Примерно за год до ареста я где-то познакомился и сразу подружился с двумя своими сверстниками — студентами школы МХАТа Таней Гулевич и ее тогдашним мужем Ф. Собственно, познакомился с гораздо более широким кругом театральной молодежи, их друзьями и товарищами, но особенно тесно я подружился с этими двумя. Теперь я думаю, что из-за Тани. С этой прелестной, умной и благородной женщиной я сохраняю самые теплые дружеские отношения и сейчас. То тяжелое приключение, о котором я сейчас расскажу, никак на них не отразилось. Причем отношения наши никогда не имели романтического привкуса. Даже в самом начале, даже с моей стороны — хотя она и теперь очень красива, а уж тогда — и говорить нечего. Связывала нас и связывает только нежная дружба, если здесь уместно это «только» — ничего другого никогда не предполагалось*. Но и ее тогдашнего мужа я тоже считал своим другом.

Мы много и всерьез говорили о природе искусства, о том, как оно связано с жизнью. И в связи с этим о том, какова жизнь тоже. Если помнит читатель, я тогда не был оппозиционным, но сложности бытия меня занимали. Разговоры эти были интересными, иногда увлекательными и, конечно, были связаны с нашими планами. Всем нам хотелось создать что-нибудь настоящее. Так что дружба наша была довольно тесной, они были среди тех, по ком я скучал в ссылке. И, конечно, когда после ссылки я опять оказался в Москве, я предпринял энергичные попытки их разыскать.

Но сделать это было не так просто. Адреса их у меня не было, телефона тоже, а училище они уже закончили. Впрочем, и появляться там мне было небезопасно — демонстрировать, что я в Москве... Общих знакомых, кроме Максима, у меня не было. Что было делать и как я их все же нашел?

Откуда-то мне стало известно, что живут они на Чистых Прудах, у самых Покровских ворот. Видимо, они жили там и раньше, и я у них там раз или два побывал. Это более вероятно, чем то, что я прибегнул к услугам адресного бюро. Ибо тогда бы у меня был точный адрес, а я хорошо помню, что адреса их я как раз не знал и искал их жилье визу-

* Это писалось давно. Теперь она уже умерла, но чувства мои к ней неизменны.

ально по памяти, как бы на ощупь, помня только, что оно должно быть «где-то здесь». И все-таки нашел, методом проб и ошибок, стучась в разные квартиры.

Соседи сказали, что живут они действительно здесь, но домой обычно приходят поздно вечером. Помня короткость наших отношений и краткость моего пребывания в Москве, я пришел к ним часов в одиннадцать или даже позже. Пришел как раз вовремя — они сами только что вернулись. И с ними было еще несколько человек — то ли ученики, то ли коллеги, то ли родственники. Это время и для меня было крайне неудобным — я пришел к ним максимум часа за полтора до прекращения работы городского транспорта, от которого более чем зависел — ходить одному по ночной Москве мне, как знает читатель, было опасно. Но я рассчитывал, что в крайнем случае переночую у них. Друзья ведь, и так давно не видались, и я их так искал — какой же может быть разговор! И если бы это зависело от Тани, то никакого разговора бы и не было. Конечно, люди, тесно, но в тесноте да не в обиде! Однако ситуация, с которой я столкнулся, была совсем не той, какую я ждал.

Когда я позвонил, они собирались не пировать, а ночевать. И встретил меня Танин муж — а он там царил, как режиссер на сцене (он и был режиссером) — неожиданно (для меня) сразу очень нелюбезно. Конечно, прямого вопроса «На кой хрен пожаловал?» задано не было, но тон, которым он разговаривал, а также его мимика и жесты выражали именно это. Разговор протекал примерно в таком стиле. Я что-нибудь говорил, а он стремился меня срезать. Как человек, занятый делом, которому мешают досужие дилетанты. Возникает вопрос: когда я мог стать в его глазах дилетантом? Когда мы встречались, он меня так не воспринимал. Неужели мое положение автоматически переводило меня сразу (в его глазах) в разряд дилетантов?

Вершиной этого его воспарения была такая вразумляющая фраза, ставящая все точки над «i»:

— Да-да, раньше я тоже все время думал об искусстве, а теперь я думаю о ро-ли! О ро-ли — понимаешь?

Слова «о ро-ли!» — он назидательно проскандировал и повторил. Видимо, полагал, что этим окончательно меня сразил, припечатал мое ничтожество...

Сразить он меня этим не мог, но неприятно поразить смог вполне. Это «о ро-ли!» (а не об искусстве вообще)

имеет много этажей глупости и, пожалуй, низости. Прежде всего «буквальный», точнее эстетический. Ни режиссеру, ни даже актеру нельзя не думать об общем смысле того, что он делает. Думать «о ро-ли» — это тоже значит сознательно или подсознательно входить в контакт со зрителем, другими словами — с жизнью. Впрочем, «о роли» (то есть об исполнении порученного) — это то единственное, над чем позволял думать своим подданным товарищ Сталин. О смысле всего остального (в том числе и об искусстве в целом) позволялось думать только ему одному. За отсебятину карали. Испытывать гордость от этой отведенной тебе роли (тоже, как видите, «роли») — занятие, недостойное творческого человека. Это выражение — вариант общей формулы «дело надо делать», которым затыкали рот — часто и в своей среде — любому начинающему что-то понимать. Безусловно, в нашей стране всегда было достаточно людей, любивших «с чувством поболтать», но обычно этой формулой вразумляли не их. Эта вразумляющая самоуверенность страха, а иногда и менее оправданного им конформизма хорошо мне знакома, я с ней сталкивался всю свою жизнь и в России, и в эмиграции тоже — хотя там не было опасности сесть в тюрьму. С этой уверенностью неизвестно в чем не только приспособлялись к тому, что велел страх — она вообще помогала объявлять наиболее комфортным местом тот пятак, куда тебя все равно загнали. Лучше представлять себя свободным трудягой, чем рабом и трусом. Даже когда твоей жизни ничто не угрожает, легче быть тем, кем ситуация тебе позволяет или велено быть. С этим легче поверить, что ты этого и хотел и что это наиболее достойное существование. Звучные решительные фразы очень помогают верить, что ты и впрямь в это веришь...

Но в этой его «о ро-ли!» есть еще один этаж падения — то, что это «о ро-ли!» было обращено ко мне. В чем был смысл этого назидания? Я ведь не мог ему внять, даже если б захотел. Даже если бы «одумался» и последовал его примеру, бросил «пустое умствование». Он ведь прекрасно знал, что в обозримый период никакой возможности «думать о ро-ли!», то есть найти практическое применение себе (пусть даже в ссученном виде), предоставлено мне не будет. Чего же он хотел от меня, да еще столь страстно? А очень простого — чтоб я не появлялся в его жизни и вообще не напоминал о себе, не вносил коррективы в столь интересно

начавшуюся его жизнь. Мир мог гибнуть сколько угодно, но он не должен был мешать ему чай пить. В народе этот комплекс чувств формулировался еще яснее: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Конечно, все мои намеки (довольно прямые — про такие говорят: «обухом по голове») на то, что мне опасно ходить ночью по городу, что любой милиционер может, даже того не желая, стать концом моей свободы и судьбы и что, следовательно, мне бы лучше остаться ночевать — не возымели действия. Конечно, народу у них в этот день было много, и без меня было тесно. Но ведь на весах лежала моя жизнь (впрочем, обошлось без мимикрии — довод о тесноте не выдвигался). Таня опускала глаза — справиться с мужем, когда он был в таком состоянии, ей было не по силам. Он царил и подавлял.

Может быть, я к нему слишком строг. Ему начинала светить карьера, и страх ее потерять понятен и может быть простителен. В такое время мы жили. Но мои друзья, которые меня принимали, рисковали тем же, все они ходили под этой деформирующей тяжестью несвободы, но вели себя иначе. Может быть, он слабее, чем они, а нельзя ненавидеть человека за слабость — тем более покойника. Но я его и не ненавидел, никогда не желал ему зла на этом свете и желаю ему Царствия Небесного на том. Я его не ненавидел, просто был поражен предательством. Вообще был поражен. Я никогда не желал ему зла, но, да простит меня Господь, мне приятно знать, что Таня потом от него ушла. Приятно, хотя я сторонник «легитимизма» и противник разводов. Приятно, но не потому, что ему от этого было плохо (может, и не было), а потому, что иначе Таня не могла бы быть равна самой себе. А по отношению к нему я испытываю некоторую брезгливость.

Может, я и прирастен, но память о моем «проходе» по ночной Москве после этой встречи не располагает к благодати. Слишком много страха я натерпелся в ту ночь. Правда, должен сознаться, что в этом я и сам виноват. Я мог взять такси — это, конечно, «кусалось», но все-таки было возможно (о чем Танин муж знать не мог и чего мне никто не посоветовал). Но как бы это ни «кусалось», это избавило бы меня от опасностей и страхов этой ночи. Однако, как я уже здесь отмечал, «такси» тогда было словом не из моего лексикона. И мне пришлось пешком тащиться через всю

Москву — от Покровских ворот до Даниловского универмага мимо ночных милиционеров, очень тогда для меня опасных. Правда, у Кировских (Мясницких) ворот я чуть не поймал троллейбус №4, он мог меня, что главное, провезти мимо центра и довести до Калужской площади (тогда его маршрут от Сокольников до Киевского проходил через весь город, в том числе и через Замоскворечье), но он пронесся мимо. И я пошел по улице Кирова (Мясницкой) к центру, а потом через центр к Каменному мосту... Милиционеры тогда в Москве, и особенно в центре, было много, они меня встречали и провожали глазами, и у меня каждый раз екало сердце. Потом я пустился бежать — молодой человек, спешащий домой, вызывал не больше подозрения, чем идущий шагом... Но у самого Каменного моста со мной чуть не произошло страшное. Вместо того чтоб повернуть на Каменный мост, я по ошибке повернул шага на два раньше и побежал... к Боровицким воротам Кремля. Правда, пробежав шага три, я с ужасом осознал, что бегу не туда, и сразу услышал у себя за спиной стук чьих-то быстрых шагов — кто-то спешил ко мне со стороны Ленинки. Это был конец. Но все же я быстро повернул назад и побежал по мосту. К моему удивлению, шаги за спиной сразу стихли, никто меня не остановил и не преследовал...

Оно, конечно, и ежу должно было быть ясно, что я не атаковал Кремль (куда одиночка все равно бы не мог проникнуть), а просто бежал домой и малость ошибся. Но что было бы, если бы я вовремя не опомнился, знать никто не может. Особенно при моих документах. Соблазн сделать из меня террориста мог бы овладеть каким-нибудь честолюбивым гэбистом спонтанно — это ценилось... Правда, скорее всего, дело бы ограничилось отнесением меня к категории «повторников» — и отправкой обратно в ссылку. А вопросы о том, где был и где остановился в Москве — нет, спасибо... До сих пор благодарю Бога, что не вызвал ложного, но опасного интереса кремлевской охраны.

Больше приключений у меня в пути не было, но страх сопровождал меня всю дорогу. Хотя в Замоскворечье милиционеров было меньше. Это мало что меняло. Прежде всего «меньше» не значит «мало», а во-вторых, на меня хватило бы и одного... И поэтому мимо каждого из них я проходил, дрожа, яко тать с добычей. Успокоился я только, когда до-

стиг тети-Розиного подъезда — на лестничной клетке милиционеры не предполагались.

Это ночь была едва ли не самой страшной в моей жизни. Во всяком случае, так она врезалась в мою память. Так что неудивительно, что я не испытываю добрых чувств к тому, кого имел основания считать своим другом, но кто уверенно обрек меня на это опасное, но ничуть меня не обогащающее переживание.

На этой ноте я разговор об этом печальном эпизоде кончаю, он исчерпан. Но Россия сейчас переживает смутное время — расплату за соблазны кровавой эпохи. Даже неполноценность «перестройки» и вера в первоначальное накопление капитала (превратившееся при содействии государства в окончательное разграбление) в постиндустриальной экономике — оттуда... Я, как и многие, надеюсь, что все утрясется и Россия станет правовым государством, где особенно никого подавлять никому не надо будет. Надеюсь, но понимаю, что надежда эта может и не оправдаться. Слишком далеко мы зашли по патологическому пути. Отчаяние народа может опять отдать власть фанатикам подавления (других у нас нет), и тогда многое может повториться. Опять может встать вопрос: как вести себя порядочному человеку? И кое-что, связанное с этим эпизодом, опять обретет актуальность. Нет, не поучительность — только актуальность. Ибо я сам не знаю, как должен вести себя человек в патологической ситуации. Даже в отношении первого Таниного мужа не знаю. Осуждать его можно за то, что он оказался плохим другом. Но не за страх. Ибо боялся он не ветряных мельниц и не плодов своей больной фантазии, а вполне вероятных тяжелых последствий. И в каком-то смысле непорядочен был не он, а я, который пришел к нему гости и нарушил его покой, обрек его на риск. Правда, я считал его своим другом, а дружба тоже важная ценность, вершина человеческих отношений. Но кто дал мне право испытывать его дружбой? Может, с моей стороны вообще достойнее было бы повеситься, а не встречаться с людьми, не разговаривать с ними? Не знаю. Кто знает, как достойнее вести себя нормальному человеку в противоестественном, терроризованном обществе, где достоинство запрещено...

Я не требую ни от кого, чтоб он в таких обстоятельствах обязательно проявлял самоотверженность и героизм. Не все на это способны, а те, у кого возникнет такая потребность,

не нуждаются в требованиях со стороны. Я не требую от всех, чтоб они гласно игнорировали навязываемый идиотизм, — в тоталитарном обществе это тоже может быть опасно, и это непростое требование. Люди, удовлетворяющие ему, тоже всегда найдутся, им заранее мое уважение и преклонение, но и те, кто на это не может решиться, кто из страха перед занесенной секирой поддакивает — тоже люди. Чужую беду своими руками разводить легко.

Сегодня самое страшное для меня в бывшем Танином муже не то, что он сделал (это тогда было страшно, но обошлось и можно забыть), а то, что он при этом говорил, вся его повадка. Этот страх и конформизм, выдаваемые за гордость и уверенность. Вот только этого я прошу избегать, если опять придет такая беда. И что бы вас ни заставляли говорить и делать — в условиях несвободы человека насилем можно заставить сделать все, что угодно, — сознавайте свое положение, степень своей искренности и неискренности, не заглушайте самосознания громкими фразами, не позволяйте страху в ваших душах обернуться гордостью — не теряйте себя. Особенно это страшно и невосполнимо для художника и интеллектуала. Для них это смерть. Воспитывайте в себе чувство самосохранения личности. Если она хотя бы в глубине души остается, если человек продолжает себе верить и сознает свое положение — тогда еще не все потеряно. В личном плане и в общественном тоже. Это залог освобождения. А иначе — чему освобождаться?

Эти мои сентенции серьезные, они имеют отношение ко многому, но будем надеяться, что той ситуации, подготовкой к которой они рождены, не будет, и в этом конкретном смысле они не понадобятся.

Ну и хватит об этом. Я так много внимания уделил этому эпизоду отнюдь не потому, что он был характерным для людей, с которыми я дружил. Он и впечатление произвел на меня своей исключительностью (хотя и сквозь проглядывают закономерности — только не круга моих друзей, а времени). Но я рассказываю о себе, а в моей жизни таких случаев больше не было. Больше друзей, которые бы меня так встретили, у меня, как я уже говорил, не было.

А встреч было много. В том числе и курьезные. Одному из первых я позвонил Жоре (Г.Б.Федорову — см. ч. 3). Не навзвался и начал разговор:

— Здравствуй, Жора!

- Здравствуй, — последовал холодный отклик.
- Это я.
- Понимаю, что ты.
- Я приехал.
- Очень приятно, — отвечивал Жора.
- Так ведь увидеться надо.
- Я занят, — отрезал Жора.
- А ты знаешь, с кем говоришь?
- Знаю, — продолжал Жора в том же тоне.

Создавалось ясное впечатление, что Жора от меня отгораживается. На дух не переносит. Это было странно. Жора мне всегда передавал приветы, вообще как мог поддерживал, и вдруг — как отрезало. Он вообще никогда не отрезался от друзей. Но мало ли что бывает. Я повесил трубку. Но через несколько дней я все же позвонил опять. Кажется, по какому-то делу, узнать о ком-то (не о Максиме ли?). Трубку взяла Майя.

— Здравствуй, Майечка. Извини, пожалуйста, это Эма говорит, — начал я предупредительно.

— Эма?! Ты в Москве?

— Да... Уже несколько дней.

— Так чего ж ты не заходишь, не звонишь?

— Я звонил... Но Жора не захотел со мной видиться.

— Жора? — рассмеялась Майя. — Не может быть! Он, наверное, принял тебя за кого-то другого... А ты где? Его сейчас нет. Он придет и тебе позвонит.

Я объяснил, где я и как звонить. Через полчаса звонок и радостный Жорин голос:

— Эмка, ты что? С ума сошел? Приходи скорее.

За кого он меня принял в первый раз, я так никогда и не узнаю. Но это и неважно. Важно, что друзья оставались друзьями и в это страшное время, и в этих непростых обстоятельствах. Круг моих знакомых не только не сужался, а расширялся. У Жоры я познакомился тогда с физиками-теоретиками Владимиром Берестецким, ныне уже покойным, и Виталием Гинзбургом, с их женами Олесей и Ниной, ныне академиком. В общем, совсекретные ребята. Рисковали больше, чем Танин муж, но ничего — общались. Впрочем, бывали там не только физики, но и гуманитарники. В основном народ академический, «остепененный». В том числе и старый друг Жоры, химик, к тому времени

доктор наук Павел Бутягин с женой Миррой, режиссером-кинодокументалистом.

В это время среди таких людей — преуспевающих, но порядочных — был в моде культ светской жизни, общения на уровне умственной элиты. Встречи обставлялись соответствующим антуражем, всякими чашками-блюдцами, установка была на изысканность. Но, в общем, это было детской игрой, попыткой создания своего особого мира, отделенного от окружающей рабской суетни. «Нам за работу, которую мы любим, платят больше, чем другим, мы умственная элита, так будем хоть в своем кругу свободными и культурными!» Разумеется, «социальность» этой «аристократичности» была мнимой — несмотря на мое социальное и имущественное ничтожество, я воспринимался этим «светским обществом» как свой и не скажу, чтоб его атмосфера не была мне приятна. Кстати, говорили в этом обществе обо всем откровенно. Такой была одна из форм противостояния интеллектуальному, нравственному и личностному небытию, насаждаемому Сталиным. В условиях несвободы каждый спасает свой внутренний мир как может, но все равно такие условия деформируют всех. Однако люди, входившие в это общество, все были не только честными, но еще серьезными и умными. Так что эти игры в светскость им скоро самим надоели и испарились сами собой. Примерно через год или два Володя Берестецкий, с которым я потом подружился, и сам вспоминал об этой причуде с иронией. Но это была одна из гримас того патологического времени.

Ничего дурного из этих игр не вышло. Они испарились, а дружбы остались. Причем дружбы интеллектуалов из разных областей знания: естественников, технарей и гуманитариев. Это создало уникальный культурный слой, которого в таком виде теперь нигде нет. Не хотелось бы, чтоб он исчез и в России.

Впрочем, розы без шипов не бывают. Замкнутость и ориентировка на «свой круг» помогали выстаивать, защищать свою творческую мысль от тоталитарного давления. Но она же помешала этому слою во время «перестройки» стать во главе всего общества и вывести его из тупика. А все ее попытки реализовать свои кружковые представления о политике и привели к тому, что КПСС (в лице КПРФ) смогла приобрести свое сегодняшнее влияние. Эти рассуждения,

основанные на опыте другого времени, нелишние в этой книге, не имеют никакого отношения к воспоминаниям о моем тогдашнем общении и к людям, о которых я пишу. Они не отвечают за безвыходность тогдашнего положения и за глупости сегодняшнего, до которого большинство из них не дожили. Роз без шипов не бывает, но никто из-за этого не отказывался от роз. Эти люди сумели быть хорошими и достойными, мыслящими людьми в обстановке, в которой сама память о том, что можно такими быть, вытравлялась. И этого достаточно. Кто мог тогда больше, тот был мудрее, однако лично я таких тогда не знал. Но с этими людьми я тогда только познакомился, а речь шла о встречах с моими старыми друзьями. Выражение «старые друзья» в применении ко мне тогдашнему (мне тогда только что исполнилось двадцать пять лет) мне сегодняшнему, с «высоты» моих нынешних семидесяти четырех* на минуту показалось смешным. Но только на минуту. Двадцать пять лет — особенно в такие эпохи — солидный возраст. За спиной у каждого было слишком много пережитого. То, что в общих воззрениях большинство из нас не преодолели внушенной и выработанной (через унаследованное поклонение революционным традициям) инфантильности, причудливо сочеталось с богатым жизненным опытом и личной взрослой ответственностью за свое поведение. Жили ведь не в общих вопросах. С предательством в своей среде, за исключением описанного случая с театральным деятелем, я не сталкивался.

Коля Старшинов и Юля Друнина (найти их не представляло труда — они жили в той же квартире, при том же телефоне), как только я им позвонил, тут же зазвали меня к себе и очень тепло приняли. Собственно, как всегда. Только разговоры были о другом. Естественно, они жадно расспрашивали меня о том, что я пережил и видел, — ведь тогда это было равносильно репортажу с того света (хотя свет был этот, и очень даже — этот). Рассказывали о том, что в мое отсутствие происходило в Москве. В том числе и о недавно (года полтора назад) отшумевшей антикосмополитской кампании, которая все еще остро переживалась, отзывалась стыдом и болью. В основном ее «конкретика» — как все это проходило, кто как проявлялся.

* Мой возраст в момент, когда писалась эта глава.

Для Юли с Колей эта тема была болезненней, чем для других, поскольку, как я уже слышал и здесь это отметил, Юля и сама оказалась невольной участницей этого шабаша — неожиданно для всех выступила на комсомольском собрании в Литинституте с горячей обвинительной речью против П.Г.Антокольского. Естественно, в то время и в тех обстоятельствах такое выступление выглядело погромным. Это поразило почти всех — с «Юлькой» представление о погромных страстях и наслаждением травлей никак не вязалось. Она была чужда и антисемитизму, и карьеризму. В чем же было дело? У нас были достаточно короткие отношения, и я задал этот вопрос прямо. Оказалось, что ларчик открывался просто — дело было в ее личной ненависти к Павлу Антокольскому... В чем была конкретная причина этой ненависти, я так никогда и не узнал, но она и теперь не могла без ярости произносить его имя. Поручусь за одно — это не имело никакого отношения к его национальному происхождению.

Она была в полной мере тем, что называлось тогда «положительным героем наших дней», была им не в казенном смысле, а, как ни странно это звучит, в реально-романтическом, продолжающем традиции Павла Корчагина и пр. (так и на фронт пошла). Антисемитизм с этим никак не вязался. Просто все давно привыкли, что все должно вязаться не с логикой, а исключительно с гениальностью Сталина (оно же историческая необходимость, воля истории и пр.). Нельзя сказать, что Юля с этим воевала или этому противостояла или, наоборот, что была наивной или глупой — мои стихи о тридцать седьмом годе ее, как и многих, вовсе не оскорбляли, об этой стороне действительности (значит, не только о жестокости, но и о пронизанностью ложью) она тоже имела представление. Но, как и многие другие, как и я временами, она, воспринимая это как одну из сторон жизни, и ухитрялась жить как-то вне этого, сохраняя — тоже как многие хорошие люди тех времен — излишнее доверие к действительности, не акцентируя внимания (тем более что склонности теоретизировать она не имела) на разладе с ней. Это ее и подвело — она не заметила, что мы все оказались в клоаке.

Подвела ее и наша общая нравственная невоспитанность. Выступая на этом собрании, она считала, что поскольку говорит то, что думает и чувствует, что считает правдой, то

все равно, где она это говорит... Мне было легче разговаривать с ней, чем многим, потому что, в отличие от них, я тогда и сам относился к Антокольскому без всякой нежности, считал его, говоря по-нынешнему, воспитателем конформизма в поэзии, очень недобро вспоминал его «остроумную», а по существу, зачеркивающую меня фразу, сказанную в середине сороковых: «В наше время тот не поэт, кто не может отоварить свои стихи». Потом мое отношение к нему смягчилось. Я вообще перестал ставить каждое лыко в строку — особенно когда это «лыко» касается того противостественного времени.

Потом я узнал, что он в то время всячески помогал молодым поэтам, тем, кому сложно было помочь — например, по своей инициативе, даже без их ведома относил их стихи в издательства и т.п. — вообще, всячески проявлял добрую волю. Короче, мое отношение к нему потом переменялось. Но тогда оно еще оставалось прежним. И это облегчало мое положение в этом разговоре, когда я старался объяснить Юле ее ошибку. Я говорил ей, что на таком собрании нельзя выступать и с правдой, ибо и правда подкрепляет ложь и подлость... Она меня слушала и, хоть температура ее ненависти к Антокольскому не снижалась, все-таки соглашалась со мной. Впрочем, она уже и раньше это поняла, даже жалела, что поступила так. И все же от своих слов не отрекалась.

Но от нравственной невоспитанности, о которой я говорил чуть выше, был тогда несвободен и аз многогрешный. И совсем не зря я называл ее «нашей общей». Да, я понимал, что выступать на таком собрании не надо. Но, во-первых, сказывалось традиционное интеллигентское (не только еврейское) отношение к антисемитизму как к чему-то грязному и стыдному, во-вторых, я трезвее оценивал и поэтому шире видел политический фон происходящего. То есть моя нравственная позиция если не полностью определялась, то подкреплялась, легализовалась позицией общественно-политической. Я вовсе не говорю, что я был безнравственным, да и Юля ведь всю жизнь была человеком нравственным. Я говорю о нравственной воспитанности.

Что это такое? Сошлюсь на пример послереволюционной — «первой» — русской эмиграции. Антисемитские настроения и воззрения были распространены довольно широко. В сознании многих евреи прочно связывались с

большевистской революцией, испортившей им жизнь. Бесспорно, интерполяция эта неверна — начать хотя бы с того, что евреи жили и в эмиграции. Но такие настроения были. Конечно, заражены этим были отнюдь не все, но речь сейчас не об этом. Какие отношения были у евреев с остальной эмиграцией — точно не знаю, но думаю, что всякие. Как всегда между людьми. Следовательно, плохие тоже. Но вот пришли немцы... Как известно, во всех оккупированных странах они стремились уничтожить всех евреев. Но многие евреи прятались. Уж, кажется, тут эмигрантам и карты в руки — помогать немцам в окончательном решении этого проклятого вопроса. Но мало кто воспользовался такой возможностью. Я лично просто не знаю случая, чтобы кто-то донес на такого еврея. Это не значит, что таких случаев не было (в семье не без урода), но они были очень редки. Одно дело — общее отношение (его мало кто изменил), другое — донос на и без того затравленного человека, обрекающий того на уничтожение.

Психологически отражает это положение рассказ одной старой эмигрантки, теоретически настроенной вполне антисемитски. Ее покойный муж, белый офицер, кажется, первопоходник, был настроен так же. Жили они до войны и во время оккупации в Праге. И вот однажды при немцах они встретили на пражской улице знакомого еврея. Но не просто еврея, а человека, видимо, явно, по их мнению, не порядочного и к тому же сделавшего им какую-то гнусную пакость. Тот, увидев их, затрясся.

— Ну вот, Андрей Викентьевич, — обратился он к ее мужу, — теперь вы можете сделать со мной все, что хотите.

— Нет, только не теперь, — ответил офицер и джентльмен.

Для того, о чем я хочу сказать, абсолютно неважно, был ли этот еврей действительно подлецом, сделавшим им гадость (что не исключено), или они считали его таким несправедливо. Должен сказать, что антисемитизм этой женщины, как, видимо, и ее мужа, носил общий характер и не сказывался на отношении к конкретным людям — плохо, а тем более *так* плохо, она характеризовала отнюдь не всех евреев, которых встречала, а довольно редко. Но дело не в этом. А в том, что об этом человеке они совершенно искренне думали плохо и считали его достойным тюрьмы или виселицы. Не говоря уже о том, что вообще считали

евреев виновниками если не всех, то большинства бед России и их лично. Повторяю, я не знаю, правильно ли они относились к этому человеку, и знаю, что их общее отношение к евреям было неправильным. Но они-то были уверены в своей правоте. И тем не менее все равно им и в голову не могло прийти сводить счеты таким образом — принять участие в государственной охоте на человека, преследуемого не за то, что он сотворил, а в общем порядке. Понимали, что такая победа даже над подлецом не может быть торжеством справедливости... Руководствовались они не взглядами, а своей нравственной воспитанностью, порядочностью.

Юля этого тогда не понимала. А понял ли бы это тогда я сам, если бы оказался на этом собрании? Ведь, как, надеюсь, помнит читатель, я и сам в своем чумаковском одиночестве при преподанном мне опыте, да еще при еврейском происхождении, — и то поначалу пытался найти объяснение и оправдание этому шабашу. А как бы я вел себя, окажись сам на этом собрании, в самом центре этой смрадной бури, где тебя поносят непонятно за что и велят в этом каяться — от имени того, что ты и сам признаешь священным? Тут для того, чтобы вести себя правильно, реагировать на ситуацию мгновенно, точно (закачался — пропал: вымажут в дерьме) и достойно, надо не только преодолеть страх (что тоже — ох не просто!), надо с детства ориентироваться на защиту не только взглядов, а прежде всего личного достоинства, а я был тогда по рукам и ногам опутан сетями диалектики! Как хорошо, что меня посадили до этого!

Нет, я и теперь убежден, что то же человеческое достоинство в некоторых обстоятельствах (а отнюдь не всегда, как я думал раньше) требует общее поставить выше личного. На алтарь общего дела иногда кладут и жизнь. Но я уже давно понял, что это не может касаться «обыкновенной» личной совести и личной нравственности в отношениях к людям и с людьми — короче, личного достоинства. Это должно всегда при любом твоём взлете и экстазе оставаться при тебе самом. За это ты отвечаешь прежде всего и главным образом. Это я понял уже давно, но много позже описываемого времени. Тогда мы, и не в последнюю очередь сама Юля, руководствовались этим только инстинктивно. Поэтому и бывали сбои. Это ее выступление и было таким сбоем.

Конечно, разговор наш продолжался долго, далеко за полночь, и, конечно, я был оставлен ночевать, что бывало и потом не раз. Эти ночевки были не совсем легальны, не совсем безопасны для хозяев... Эта нелегальность несколько потом подвела Колину память — ему показалось, что я приезжал нелегально из ссылки. Но самовольное, пусть даже временное, оставление места ссылки считалось побегом и каралось двадцатью годами каторги. На это у меня никогда бы не хватило прыти — да и слишком дорогая это цена за несколько дней пребывания в Москве. То, что это бы значило подвергать и друзей невероятному риску — укрывательство беглеца было уголовным преступлением, — и что я бы на это никогда не пошел, я и обсуждать не хочу, ибо никогда не собирался пускаться в такие предприятия. Но и простое предоставление ночлега товарищу, легально вернувшемуся из ссылки и не имеющему права жить в Москве (разница в том, что таких могли прихватить, но, в отличие от беглецов, специально не искали), тоже требовало мужества. У большинства моих друзей оно было...

Тепло принял меня и Андрей Турков. Причем принял не где-нибудь, а в редакции «Огонька», где он тогда работал. Конечно, журнал тогда еще выходил под редакцией Суркова, а не Софронова, как потом (а это не одно и то же), но все же принимать в «идеологическом учреждении» (каким считалась любая редакция) человека, который был так недавно репрессирован «нашими славными органами», было не совсем безопасно. В тот момент это вряд ли грозило арестом, но принести неприятности, вплоть до потери места, эта встреча вполне могла. Андрей был моим сокурсником (вернулся в институт после фронта и ранения). В институте мы были не то чтоб очень близки (с Максимом и Игорем у меня были более близкие отношения), но в отношениях очень хороших и доверительных, любили друг с другом разговаривать. Во всяком случае, то, что я, приехав, ему позвонил, было естественно и для меня, и для него. И вот мы сидим в его кабинете, на улице Правды (редакция «Огонька» помещалась в комбинате «Правды») и разговариваем. О чем? Точно теперь не помню — о том, о чем всегда: о литературе, о жизни, о поэтах, о Твардовском, которого я тогда только недавно для себя открыл. Да мало ли еще о чем! Сейчас это и не важно — важно, что разговариваем. С той же естественностью и доверительностью, что

и раньше. Разумеется, и о том, что произошло за эти три года, и о том, что пришлось повидать и испытать мне. Среди моих друзей, дальних и близких, не было людей, кто бы этим не интересовался. Кем надо было быть, чтоб этим не интересоваться — особенно писателю? Ведь это была скрытая, но неотъемлемая часть действительности, в которой мы все жили...

Одного такого человека я, правда, встретил — к моим друзьям он не относился, он вообще появился, когда меня не было. Теперь он был мужем моей приятельницы, тогда уже как-то заявившей о себе поэтессы... Мы некоторое время шли рядом — она оживленно со мной разговаривала, расспрашивала и тщетно старалась перебросить мост между своим мужем и мной, но он сохранял олимпийскую отчужденность — ему не надо было лишних, тем более мешающих гармоничному мироощущению, впечатлений, ему вполне уютно было и в усеченном мире.

Кстати, такое отношение воскресло, даже укрепилось, и в поэтах «андерграунда котельных» и «сторожек». Я где-то читал о некоем поэте — не названном, но обозначенном как «хороший», — который в начале чеченской войны, когда его приятель заговорил с ним об этом и даже пригласил его то ли подписаться под протестом, то ли сходить на митинг, отказался. Должен сказать, что я и сам не любитель ходить на демонстрации протеста, и просто об отказе от участия в мероприятии я бы и говорить не стал. Задел меня не отказ, а его мотивировка. Поэт объяснил свой отказ тем, что его интересует только поэзия, а подобные материи ему скучны. И продолжил свой путь в ресторан ЦДЛ для «неполитизированного» элитарно-эстетического общения — тогда еще там цены были более-менее доступны.

Мысль о том, что игнорирование пожара в доме, где ты живешь, не только неразумно, но и никак не может быть проявлением художественной непосредственности, ему в голову не приходила. А предположение, что само это отношение — замшелая литературщина, показалось бы ему вообще диким... Я не знаю, о ком речь, но не очень верю, что речь действительно идет о хорошем поэте, как его рекомендует автор. А тут речь именно о человеческой бесчувственности, а не об отсутствии гражданских чувств (требование, которое мне многие с удовольствием припишут). Гражданские чувства предполагают благородное сочувствие

чему-то, лежащему вне нас (или его имитацию), а тут идет речь об игнорировании того страшного и неприятного, что происходит с нами и на наших глазах, но что волевым усилием или снобистской устремленностью насильно отсекается от душевного опыта.

Иногда это подпирается высоким уровнем профессионализма и культуры, заглушается мощью самовлюбленности, вызванной тем, что ты все-таки что-то проносишь, чувствуя благодарность современников, но со временем эта усеченность все равно проступает — причем даже в самых «неполитизированных», вроде и вообще не имеющих отношения к «острым» темам стихах. Ибо усеченность восприятия — недостаточность личности, ее недостоверность. Ложь самим себе для поэта или интеллектуала губительнее, чем ложь другим. Конечно, и последнее никого не окрыляет. Это серьезный этический проступок, часто — подлость, а иногда и преступление, но в этом можно раскаяться, как Пушкину, «прочешь с отвращеньем жизнь свою» и начать жить заново. Лгущий себе, то есть подавляющий собственное восприятие, перестает себя слышать, теряет себя. Мы, я и мои друзья, были грешны, то сложнее, то проще подгоняли мысли под ответ, но восприятия все же не подавляли. И оно в конечном счете определяло наше личное поведение.

Разумеется, я говорю о своих друзьях, а не о всех людях определенного возраста. Хотя в разной степени это было свойственно всем. Конечно, степень тоже важна. Иногда эта степень была столь мала, что принимала смешные формы. Однажды Андрей Турков (не в этот мой приезд, а в следующий) сказал мне, чтоб я обязательно позвонил NN (он назвал имя нашего сокурсника), что тот очень просил, ибо очень хочет меня видеть. Я несколько удивился. Ничего плохого об этом человеке я не думал (и теперь не думаю), но он никогда не относился к числу моих близких друзей, да и теперь не был мне особенно интересен. Но за эти годы произошло многое, и раз он так страстно хочет меня видеть, то, видимо, у него есть потребность выговориться, что-то для себя узнать и уяснить. И я позвонил.

— А, Эма! — услышал я его озабоченный голос. — Хорошо, что ты позвонил. Нам надо бы встретиться.

— Только я послезавтра уезжаю.

— Жалко, — услышал я дальше... — А сегодня я не могу. Потому что я должен ехать на дачу.

И такое самоуважение слышалось в его голосе, такая естественная уверенность, что назначенный срок поездки на дачу важнее любого разговора — даже с человеком, возвратившимся с того света, что я понял, что настоящая необходимость меня видеть в данном случае — только манера речи. Могут сказать, что он испугался. Но нет — ему просто сегодня надо было ехать на дачу, а возвращаться завтра для столь необходимой ему встречи как-то нелепо и неудобно. Впрочем, страх в этом случае, по-моему, более достойный мотив отказа от встречи, чем такая респектабельная «занятость».

Встречался я много во время своих приездов и со своими старшими друзьями Борисом Слуцким и Давидом Самойловым. Оба они тогда не печатались, но Самойлов уже начал переводить, а Слуцкий больше промышлял литконсультациями*.

Отношения наши были такими, как всегда — дружескими, но кусачими. Тем не менее читали друг другу стихи. Помню, как поразили меня — тогда и на всю жизнь — стихи Слуцкого «о доме отдыха ремесленных училищ» и многие стихи Самойлова. Им тоже понравились кое-какие мои стихи. Но «цапать» это нам не мешало. Пререкались мы не только в разговорах о поэзии.

Они оба чувствовали и остро, и реально все происходящее в жизни, но при этом, как почти все, кого я знал, от Сталина тогда еще не отказывались. Слуцкий стоял на своем с некоторым фанатическим, отчасти даже презрительным упорством (чему, как я уже говорил, противоречила доброта многих его стихов и общего отношения к людям и к жизни), а Самойлов — с тем легким налетом снобизма, который при своем уме и незаурядном таланте сохранил до конца дней. Но об этом я уже писал.

Бывал у Дезьки и в Мамонтовке на даче, принадлежавшей его тогдашнему тестю профессору Фогельсону. Сам

* Теперь это слово требует объяснения, но тогда его знали все, причастные к литературе. Все печатные органы обязаны были отвечать авторам любых стихов, рассказов, пьес и т.п., в обилии присылавшихся трудящимися в эти органы. Им надо было объяснить, почему ихopus не могут быть опубликованы, и давать полезные советы (читайте классиков и т.п.). Поскольку штатные сотрудники справиться с таким потоком не могли, этим занимались внештатные литконсультанты. Вокруг этого кормилось много народу, но и много настоящих литераторов, особенно «непечатных»...

профессор там бывал нечасто, и дачей практически владел Дезька с семьей... На даче я встречал разных интересных людей. Из встреченных там впервые мне больше всего запомнился отец Дезькиного друга, известного редактора и литературоведа Бориса Грибанова, снимавшего дачу рядом с Дезькой. Компания получалась веселая, шумная и приятная. Вместе бражничали, вместе ходили купаться. И так как-то получилось, что, возвращаясь с пляжа, мы с Тимофеем Алексеевичем — так звали отца Бориса — отстали от общей группы. Отстали не только потому, что были заняты беседой, но и потому, что Тимофей Алексеевич останавливался у каждого киоска, где торговали водкой — а таких киосков, торговавших водкой распивочно («в разлив», как тогда говорили), в те времена было всюду много, — и «отдыхал»: покупал по сто граммов себе и мне. Пил я больше для единопущия, поскольку Тимофей Алексеевич очень мне понравился и меня заинтересовал. Должен сказать, что от выпивки он не становился менее интересен.

Тимофей Алексеевич Грибанов, по природе своей старый русский инженер, занимал крупную инженерную должность в одном из промышленных министерств и характер нелепости советской экономики понимал прекрасно. Всего, что он рассказывал, я теперь не припомню, потом эти вещи говорились с трибуны, освещались в печати (например, в очерках моего сокурсника Анатолия Злобина, одним из первых коснувшегося этой темы), и неудивительно, что то, что он говорил тогда, сегодня почти полностью стерлось из памяти. Но слышать такое из уст работника министерства мне, недавней деревенщине, было вдвойне приятно. И перепадом общений, и... неожиданностью.

Не знаю, мыслил ли он оппозиционно по отношению к советской системе в целом... Быть оппозиционером — значит настаивать на альтернативе. Для человека инженерного склада на альтернативе возможной, а невозможность тогда каких-либо альтернатив была для него очевидна. И он хотел бы попытаться лечить не болезнь, а симптомы — собирался обратиться к обществу и правительству с заявлением «о вреде учета и контроля». Мысль его была проста. Он полагал, что на учет и контроль, во-первых, уходит больше средств, чем украли бы при их отсутствии, а во-вторых, что все эти учетчики и контролеры сильно мешают работать. Теперь я понимаю, что истинность этих откровений

относительна. Как выяснилось при распаде советской системы, советский деятель без учета и контроля может украть гораздо больше, чем мог себе представить этот старый русский инженер. А для того чтоб экономика действовала без учета и контроля (впрочем, чтоб без них все не разворовали), нужна самодвижущаяся экономика, другими словами, отмена советской (сталинской) экономической системы. О чем тогда и речи идти не могло. Тимофей Алексеевич вовсе не был наивен (с подобными предложениями он так и не выступил), но просто он был по своей природе предпринимателем, руки чесались от желания работать с максимальной отдачей, и мечта об этом предложении была мечтой о приспособлении здравого смысла к непреодолимой нелепости, которая правила жизнью.

Конечно, такие оценки мне тогда в голову не приходили, я ведь и сам отрицал систему только за несоответствие себе самой, то есть не мысля себя и жизни вообще вне ее границ. Так что разумность предложения, которое собирался выдвинуть этот старый менеджер, была и для меня вне сомнения. При всей неожиданности подхода к явлению за ней ощущалось и само явление, сама наша засекреченная от сознания жизнь. И кроме того, в нем самом — в его высказываниях и поведении, — несмотря на его преклонный возраст. Даже в том мальчишеском замысле, которого и я был невольным исполнителем, когда мы с ним, разумеется, по его инициативе и, как говорится, под его руководством незаметно (для меня тоже) отстали от компании — дабы хоть ненадолго скрыться от учета и контроля со стороны близких, препятствующих тому, чем мы с ним занимались: баловаться водочкой ему было строго-настрога запрещено. Я думаю, что этот человек сделал в жизни много, но гораздо меньше, чем позволяли его силы.

Вместе с Грибановыми снимал с семьей полдачи Николай Непомнящий, милый, хороший человек, ифлиец, работавший редактором в одном из издательств. Родом он был из тех мест, которые стали уже при нем Еврейской автономной областью, но, как большинство жителей этой области, был человеком абсолютно русским. Он смешно рассказывал, как на спортивном параде в Хабаровске колонну этой области, которая состояла из четырехсот пятидесяти русских ребят и ста пятидесяти еврейских, обучили, подходя к трибуне, кричать:

— А грус дем хавер Лаврентьев!*
Любил спектакли товарищ Сталин.

Ситуация эта всех нас смешила. Думаю, что и тогда, проходя в строю перед трибуной с этим возгласом, эти русские ребята не были возмущены такой нелепостью. Скорее всего, они ее не замечали. Не потому, что это было правильно — неправильно (искусственно было не только это, но и сама Еврейская автономная на Амуре), а потому, что для них, как почти для всей советской молодежи, особенно активной, это было время доверия. Несмотря на все страшное, что бывало у каждого за спиной и что рядом. Ей казалось, что все, что делается по велению власти, продиктовано благими намерениями и что любая задача, если поставлена, достижима... А уж по сравнению с другими задачами создание советского еврейского очага — далеко не самое трудное дело. И благородное — особенно на фоне того, что творилось тогда в Германии и о чем повествовали антифашистские кинофильмы... «Ну ладно, пускай и у евреев будет своя республика», — тем более земли в этих краях хватало.

В стране были колоссальные резервы доверия, и мне жаль, что они были истрачены ни на что, на веру в нашу непобедимость, на уверенность, что врага мы разобьем обязательно на его земле и малой кровью, на то, что мы живем лучше всех в мире — на все, что было опрокинуто Второй мировой войной. След этой опрокинутости остался если не в сознании, то в подсознании большинства из них... На этом фоне приветствие на идиш товарищу Лаврентьеву, произносимое русскими ребятами, — одна из самых малых составных. Приходилось выкрикивать и более непонятное, и более лживое, хотя и на языке, весьма напоминающем русский, но только лишенном вкуса, цвета и реальности. Расплата за это приходит страшная. В девятичасовой телепередаче программы «Время» от 15 сентября 1999 года в репортаже из Дагестана я видел, слышал, как солдаты, молодые ребята с очень хорошими лицами, грустно говорили, что не понимают, за что они воюют и за что погибли их товарищи. Здесь и сейчас они занимались реальным делом — защищали там цельность и безопасность своей страны, но как им это объяснить? Они уже никому не верят.

* Привет товарищу Лаврентьеву (идиш)! По-видимому, Лаврентьев — фамилия тогдашнего секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б).

Нет ни одного ценностного определения, которое на их глазах или на глазах их родителей (а такая информация передается) не превратилось бы в свою противоположность или просто в труху, Россия обречена. А если такое доверие вспыхнет, можно ли поручиться, что кто-нибудь не постарается на нем заработать? Но это дела и страхи не того времени, о котором я рассказываю.

Кстати, о военных. В одно из своих посещений Дезьки в Мамонтовке я присутствовал на торжестве, связанном с присвоением звания полковника нашему общему другу Петру Захаровичу Горелику, в просторечии Пете. Я уже поминал его. С ним с детства дружил Борис Слуцкий, с довоенных времен Дезик Самойлов, Изя Крамов, Лена Ржевская, а с конца 1944 года и я. Одновременно я подружился с его женой (сперва невестой) Ирочкой. Теперь то ли они, то ли Петины родители тоже снимали дачу рядом с Дезькой. Там и происходило это торжество, на которое Петя с Ирочкой прибыли из Твери (тогда Калинина), где Петя преподавал тактику в интендантской «Академии тыла». Потом Академию перевели в Ленинград, где Петя с Ирочкой живут и поныне. Естественно, Петя уже давно в отставке. С Ленинградом, где круг общения у них был столь же широк, как в Москве, связан и один смешной эпизод, рассказанный Ирочкой. Какие-то знакомые однажды, придя к ним гости (дело было в конце шестидесятых), вдруг вспомнили нечто их поразившее: «А вы знаете, третьего дня мы у наших друзей видели еще одного интеллигентного военного». Конечно, эта фраза позволяет судить не столько о Пете, сколько об их гостях, а точнее, о том проклятом отчуждении военной интеллигенции от всякой иной, так трагически отозвавшемся в ответственные годы «перестройки» и всеобщих надежд. Но кое-что говорит это и о Пете. Он всегда был человеком не только интеллигентным, но и литературным, хотя собственно литературной работой занялся сравнительно недавно. Пишет воспоминания о друзьях, с которыми прошел жизнь и которых уже нет, занят публикацией их неизвестных стихов и писем.

Но тогда мы не знали, кому о ком придется писать воспоминания. Тогда Петя только что получил полковника, и мы обмывали это событие. Радовались искренне. Отношение интеллигенции к армии по разным причинам испортилось много позже. А тогда, через шесть-семь лет после вой-

ны, к армии все, в том числе и я, относились хорошо. Ее никак не воспринимали как опору всего, что нам не нравилось. В. Корнилов, который тоже одно время служил офицером, в одной из своих позднейших поэм даже отмечал «антагонизм армии и жандармов». Мне кажется, что либеральная интеллигенция по-настоящему оттолкнулась от армии и оттолкнула от себя армию в начале «перестройки». Ибо, отрицая все, для чего использовалась армия, она в своей риторике никак не желала принимать во внимание положение и интересы военнослужащих. Речь идет только о риторике, по-настоящему влиять на события она не могла, и нынешнее тяжелое положение профессиональных военных произошло из-за нее. Но она была застрельщиком взаимонепонимания этих групп населения, сегодня (пишу это в сентябре 1999 года) очень опасного для страны. Конечно, после всего ею пережитого извинительно, что она могла «нести только свой монолог», но это несчастье, ибо ее функция в этих тяжелых условиях — налаживание взаимопонимания, а кроме нее, выполнить эту функцию было некому.

Но тогда, в 1951—1953 годах, к армии относились без всякой отчужденности. А некоторая ее сепаратность была во благо. Например, как говорил Петя, в армии тогда не была принята политика «задвигания евреев», которая к тому времени утвердилась во всех областях государственной и хозяйственной жизни. Во всяком случае, она не была столь абсолютной. Наглядным доказательством этому был сам Петя. Его еврейское происхождение не помешало его нормальному росту по службе. Вот и полковника получил. За обедом произошел его короткий, но забавный диалог с матерью. Петя объяснял, через какие промежутки времени присваивается каждое звание. Сколько майору (в академию Фрунзе он с фронта пришел майором) нормально надо служить, чтоб стать подполковником, и сколько подполковнику, чтоб стать полковником. И тут мать полюбопытствовала:

— Ну а генералом когда ты станешь?

Петя задумался... Видимо, генералов тогда еще не выпекали как блины.

— Нет, генералом я вряд ли стану. Генерал — это другое дело. Тут правила чиновничества не действуют... Может, если будет война...

Тут мать прервала его.

— Знаешь что, Петя! — живо отозвалась она на эти слова... — Оставайся лучше полковником.

Все рассмеялись. Должен сказать, мне было лестно, что мой друг стал полковником. Хотя сам я, как, может быть, помнит читатель, по-настоящему и до рядового недотягивал.

В таких социокультурных перепадах проходила моя жизнь. Хочу напомнить, что эта встреча и чествование не могли произойти в мой первый зимний приезд-проезд — какие дачные «гулянья» могли быть в январе! Но я уже предупредил читателя, что все мои приезды до моего окончательного приезда в Москву спутались в моей памяти. Ибо у всех у них была одна общая черта — привкус полуполюгальности-полузапретности. После того как я стал студентом Карагандинского горного техникума и приезжал в форме (а тогда время было супермундирное), я стал выглядеть более легально. Но только выглядеть — до первой проверки документов: отметка в паспорте оставалась прежней. Но в форме я меньше привлекал внимание.

Остановившись на дачных встречах, я как бы упустил московские встречи. Прежде всего Леночку Ржевскую и Изю Крамова. Сколько я их знаю, они много работали и поэтому очень дорожили временем. По-моему, проблема выделения на меня времени их занимала неизмеримо больше, чем риск, связанный с моим посещением. Но время всегда выделялось — для общения. А уж если в том была нужда — допустим, мне надо было переночевать, — то тут и говорить нечего. Изя умер, когда я жил в эмиграции, Леночка хоть и не очень здорова, но, слава Богу, жива и работает не менее напряженно и никак не менее интересно, чем раньше. Из всех моих старших, другими словами, «ифлийских» друзей (к ним я отношу и Слуцкого, который никогда в ИФЛИ не учился) Лена и Изя были мне наиболее близки. Я имею в виду близость не идеологическую (тут мы изменялись в одном направлении, но не всегда совпадали по фазе) и даже не литературную (все-таки работали в разных жанрах), а более глубинную, человеческую, если так можно выразиться, эмоционально-культурную. У них обоих было то, что я когда-то назвал, говоря о давней Леночкиной повести (но черта эта присуща всему Леночкиному творчеству) «уважением к жизни».

Сегодня и по этому поводу можно иронически улыбнуться. Дескать, подумаешь, кто этого не знает! Кстати, я

вовсе не уверен, что современная тусовка это знает. Это не совсем то же, что уважение к велениям своей левой ноги (именуемой в их среде личностью) или к работе органов внутренней секреции. Нет, я имел в виду нечто другое: уважение к жизни, определяющей человеческую судьбу, ощущение этой судьбы, причем отнюдь не элитарной, а обыкновенной, как определяющей жизненной ценности.

Изя много занимался историей революции, общественной мысли, с нею связанной, и очень интересно рассказывал об этом. При любой его ориентации его ощущение исторических деятелей было всегда объемно, история оживала во всей ее драматичности. Уважение к жизни, другими словами — к людям, не покидало его никогда. Я помню его ответ на чьи-то сетования, что народ плохо относится к интеллигенции:

— А что вы хотели! До революции простой человек видел в студенте заступника, который о нем думает, всегда готов помочь... А теперь — кого он видит в студенте?

Это правда. Не знаю только, можно ли в этом винить интеллигенцию. Думаю, что это разобшение — одно из достижений советской власти. И знаю твердо, что это беда. Особенно остро и трагически она проявилась в полной ее неготовности к перестройке, к тому, чтоб вести себя как элита, а не как отдельная группа. И не так уж удивительно, что ее наследницей стала тусовка.

Я не помню ни одного человека (и сам им не был), кто бы тогда заметил это явление. Мыслящая интеллигенция была всегда под ударом, всегда подвергалась шельмованию власти и, что ни говори, восстанавливала и спасала ценности, так что как будто критики со стороны своих не заслуживала. Но Изя видел шире. Конечно, ни перестройки, ни беспомощности интеллигенции в судьбоносные моменты он, как и те, кому он тогда возражал, не предвидел, но видел кое-что и за пределами одолевавшей всех нас злободневности...

А злободневность одолевала не случайно. Ведь встречались мы в трудные для честного человека дни. За спиной — антикосмополитская кампания, впереди — нависавший «процесс врачей», которого никто из нас не предвидел (патологическую надо было иметь для этого фантазию), но все мы дышали той гнетущей атмосферой, в которой вполне можно было объявить нечто подобное. Атмосферой, воз-

можность возникновения которой в рамках своего мировоззрения не могли объяснить. И дело не только в нашем происхождении — естественно, никому не нравится, когда его ни с того ни с сего начинают поносить и шельмовать; но и само мировоззрение трещало. И люди наверх выходили слишком ясные в своей низости. Для них и антисемитизм был способом продвижения. И они захватывали командные высоты. Как это можно объяснить?

Впрочем, мне было легче — я освободился от Сталина. И, естественно, защищая свои взгляды, был убедителен. Даже в рамках мировоззрения. Со мной не соглашались, но возражали мне вяло. Кстати, напоминаю: критика в рамках мировоззрения была делом самым опасным. Ибо она ставила под вопрос легитимность сталинщины.

Времена были страшными. И отнюдь не только для евреев. Люди сокращали общение до минимума. И дело даже не в недоверии — просто из слишком тесно общающихся Лубянка в любой момент могла создать организацию, любого знакомого могли арестовать и тебя к нему пришить. Необщающийся или общающийся только организованным порядком народ — это, видимо, было мечтой Сталина, которую он стремился воплотить в жизнь. Впрочем, свое окружение он довел до такого состояния. Но мы, слава Богу, не были его окружением. Люди мало общались, но я, приезжая ненадолго, общался со всеми, с кем мог. Так что многие друг о друге узнавали от меня. Но такой способ жизни накладывал отпечаток — людьми овладевало и прямое недоверие к хорошим знакомым. И все боялись за меня. Выглядело это часто смешно. Икс, узнав, что я посетил Игрека, настораживался:

— И там ты говорил то же самое, что здесь?

И услышав утвердительный ответ, восклицал:

— Сумасшедший!

То же происходило на квартире Игрека. И все получали от меня информацию о надежности друг друга — таким образом, я становился связующим звеном в человеческих отношениях. Политических тогда просто не бывало — их выдумывало МГБ.

Особняком среди моих тогдашних встреч стоит моя встреча с Владимиром Солоухиным. Особняком не потому, что теперь о нем — после двух его последних книг «При свете дня» и «На последней черте» — многие и слышать не хотят.

Для этого есть основания. Хотя в обеих книгах есть хорошие страницы. В первой, «При свете дня», посвященной Ленину, хороши прежде всего страницы о Ленине. Не только они, но и о той российской действительности, которую он загубил, но речь сейчас не об этом — он вообще был подлинным писателем. Что же касается страниц о Ленине, то они печатались и раньше — это была одна из первых публикаций, десакрализирующих образ «самого человеческого человека». Но это заслуга, а не компромат. Беда в том, что эти страницы занимают мало места в этой книге. На большинстве остальных он занят тем, что стремится вывести преступления Ленина из его частичного (впрочем, он намекает на полное) еврейского происхождения.

Мысль простая и вредная: в российской беде виноваты инородцы, особенно евреи. Это неблагородно, неразумно и вредно — народам бесполезно думать, что в их исторических несчастьях виновны не они. Но, кроме того, это неправда — евреем из предков Ленина был только один из его дедов — доктор Бланк. А этого мало для таких грандиозных (и при всей опасности все равно несерьезных) выводов. Для производства впечатления необходимо, чтоб он был кругом евреем. И Солоухин «доказывает» это. Как? Довольно сложно — путем нагромождения неприкрытых и нескрываемых домыслов, которые он и не выдает за доказанные факты. Задача — не выяснить истину, а внушить ложь, которую он, по-видимому, считал полезной для возрождения страны. Это становится ясным после прочтения его следующей, последней, не побоюсь сказать, позорной книги «На последней черте».

Удручает вдруг посещающая его потеря исторического воображения. Она позволяет ему верить, что ЧК отравила Блока и Короленко. Словно ему невдомек, что отравлять дело суматошное, сложное и что никто не мешал бы ЧК расправиться с Блоком своим особым способом. Я вообще не знаю случаев, относящихся к началу двадцатых, когда бы ЧК прибегала к столь сложным способам избавления от тех, кто мешает. Да и кто такой был для них Блок? Малоизвестный в их кругах декадент — чего с ним церемониться? Если б это был Горький, или Кропоткин, или хотя бы широко известный поэт Надсон — тогда б еще можно было задуматься. Но их не отравляли. Могли б они поискать обходных путей, чтоб избавиться от Короленко, — но тоже

не искали. Революционная мысль еще до этого не дошла. Правда, Солоухин утверждает, что когда Короленко заболел, приехала из Харькова комиссия из двадцати видных врачей и... по приказу ЧК залечила его.

Но ведь это было невозможно. Я уж не говорю о том, что это было еще невообразимо для тех времен. Не было тогда той таинственной тотальности, как при Сталине. Чтоб целых двадцать видных врачей (а невидных близкие на порог не пустили — они ведь знали, кто есть кто) могли согласиться на такое — этого в тогдашней России произойти не могло. Я читал воспоминание одного врача-сиониста, арестованного после войны в Харбине. Где-то на пересылке он столкнулся с немецкими (!) генералами, справедливо или нет осужденными за военные преступления (надо полагать, не в последнюю очередь перед евреями). Один из них заболел и попросил автора воспоминаний (поскольку тот говорил по-немецки) сходить с ним в медпункт. Выяснилось, что ему нужна какая-то процедура или лекарство. И тут произошло нечто невообразимое. Охамевшая от тюремной безнаказанности медсестра наотрез отказалась помочь больному. Сказала что-то вроде того: «Буду я таким помогать!» (точно не помню, да и неважно). Харбинский доктор обомлел, но взял себя в руки и вместо перевода придал ее словам легальный оттенок. В том смысле, что, дескать, у них, к сожалению, то ли испорчено оборудование, то ли сейчас нет нужного лекарства. Но рассказываю я это для того, чтоб привести его заключающее рассказ об этом эпизоде предложение: «Я не мог перевести ее слова буквально, мне было стыдно обнаружить перед иностранцем, как низко пала русская медицина».

Конечно, судить об общем моральном уровне тогдашних российских врачей по этой медсестре несколько опрометчиво, но, с другой стороны, во времена, когда этот доктор жил в России, такая медсестра была невозможна... Однако привлечь сейчас ваше внимание я хочу не к этому. А к тому, что этот харбинский сионист, который уже по этой причине никак не выдавал себя за русского патриота, все равно с гордостью ощущал себя русским доктором, членом великой корпорации русских врачей и не мог уронить перед иностранцами представление о ее высоком моральном уровне, к которому он привык. А у Солоухина получается, что двадцать видных членов этой корпорации со-

гласились действовать во вред пациенту, да еще такому, которого сами чтили. И всю жизнь молчали об этом, хотя времена были смутные, и наверняка часть из них занесло в эмиграцию. Такие методы, свойственные временам Борджиа (только тогда они применялись тайно, через доверенных людей, а не с привлечением всей тогдашней «медицинской общественности»), по свойству своего характера смог применять только Сталин, и то когда стал всевластен. Чекисты начала двадцатых способны были на многое, не только на любую жестокость, но и на любой самый подлый обман (вспомните Агранова в «таганцевском» деле), но до такой изощренности в управлении людьми еще не доросли. Но для Солоухина все просто, поскольку среди чекистов много евреев. Да только ли чекисты! Даже Канегиссер, застреливший Урицкого, делал это, как придумывает Солоухин, «по заданию», дабы развязать «красный террор». Словно он, да и вообще кто-нибудь, мог заранее представить, что в ответ на выстрел эсера большевики могут начать расстреливать статских советников! Поскольку били по классу. Это продолжалось долго. В двадцатые годы в ответ на какую-нибудь «ноту Керзона» расстреливали профессоров (поскольку они того же буржуазного класса). Так было, но представить это заранее в 1918 году не мог бы никто, даже сами большевики.

Последняя книга Солоухина «На последней черте» куда страшней, чем эта. Это манифест нацистского антисемитизма. Справедливость требует сказать, что не только. Временами она переполнена острой болью за происшедшее с Россией, за оскудение русской жизни, особенно сельской. Она производит странное впечатление. Ведь Солоухин был не только талантливым, но и высокопрофессиональным писателем, а эта вещь названа романом, однако никакого не только романа, но и вообще никакой стройности и складности в ней нет. Такое впечатление, что издал ее не он сам: в здравом уме и твердой памяти книгу в таком виде он выпустить из рук не мог. Впечатление такое, что выпущена она не им и уже после его смерти. Или когда он был очень болен. Ибо она совсем не завершена — не только в смысле построения, но и внутренне.

Самое удивительное, что в этой книге с антисемитским заданием никакой ненависти к евреям или клеветы на них нет. В отличие от предыдущей книги, гораздо менее невин-

ной в этом отношении, но не доходящей до апологии гитлеризма, он вообще игнорирует категорию вины... Просто после революции, сильно ударившей по всем высшим классам России, в больших городах опустело много квартир, а евреи — ювелиры, зубные техники, ремесленники и т.п. — были больше готовы занять их, чем крестьяне. А дети этих евреев стали интеллигенцией — так образовалось «еврейское засилье». Не думаю, что это объяснение исчерпывающее, но, безусловно, оно имеет некоторое отношение к реальности. Об этом можно говорить. Конечно, противоестественная революция создавала противоестественные диспропорции. Но Солоухин ведь нигде не говорит, что эти «понаехавшие» евреи и, допустим, чекисты — одно и то же, что они действовали слаженно — одни террором освобождали места (в домах и в структуре жизни) специально для того, чтобы другие эти места занимали. Нигде не говорит и о том, что их дети плохо делали, что учились. Другими словами, он не разделяет здесь распространенного среди постсоветских антисемитов детективного представления о евреях как народе-заговорщике. Более того, многие евреи (из которых некоторые вовсе не евреи) ему нравятся больше, чем вроде бы близкие ему по духу «русачки-правачки» (по нынешней терминологии, «левачки» — все смешалось в доме Облонских).

И вот вывод, без ненависти, без клеветы, а только из соображений статистики — Гитлер был в чем-то прав. Евреи представляются ему такой бедой и силой. Хотя в основном он доказывает «оккупированность» на примере работников, да и посетителей ЦДЛ — Центрального Дома литераторов — писательского клуба с рестораном.

Опасность эта настолько значительна, что он даже чтит Сталина как избавителя. А саму коллективизацию и раскулачивание он прощает как инерцию революционного духа, которую «бедный» Сталин не мог преодолеть в один прием. При этом игнорируется все, что описывается и говорится и в этой, и в других книгах Солоухина — что коллективизация и раскулачивание как раз и были тем фактором, который разрушил все устои русской жизни. Внушать, что Сталин не был единственным, хитрым и изворотливым инициатором этого гибельного мероприятия, можно только тем, у кого руки не доходят до знакомства с материалом. И хотя я отнюдь не оправдываю «настоящих революционеров», но

они только («только» это огромно, но не по сравнению с коллективизацией, раскулачиванием и внеэкономической индустриализацией) создали условия, при которых Сталин смог осуществить (из сугубо тактических соображений) это супертотальное мероприятие.

Беда нынешнего русского национализма (а без подъема национального чувства Россия не возродится) в том, что он никак не может изрыгнуть из себя Сталина, хотя, естественно, всегда спотыкается на коллективизации... Обычно выходят из положения «по-нашему, по-простому» — объявляют, что это инициатива Кагановича, с которым Сталин тогда еще ничего поделаться не мог. Это и само по себе чушь (не такие у этих людей были отношения), но ведь потом он, по этой логике, мог с ним сделать все, что угодно — почему ж не отменил? Хотя бы после войны, когда все этого ждали. Да и свалил бы на Кагановича — тем более тогда он как раз сворачивал на антисемитские рельсы. Нет, не свалил и не отменил.

Солоухин по этому «кагановичскому» пути не пошел, а предпочел вопреки всему своему творчеству нивелировать это мероприятие: инерция, законы физики, ничего не поделаешь. Но инерция не может быть сильнее толчка, ее породившего. Чтоб Солоухин не понимал нелепости таких построений, я, неплохо его знавший, представить себе не могу. Неужели он под конец жизни решил заняться откровенной пропагандой?

Неужели впрямь было так велико влияние на него главного героя этой книги, знаменитого фотографа с аристократической фамилией (уверен, что речь не о фотографе, а о художнике Илье Глазунове), который раскрыл ему глаза на эту величайшую опасность, приобщил к этой истине и даже «позвал на борьбу»? Правда, в конце «романа» этот герой оказывается довольно близким к органам. Это (хотя это и сразу было видно — оппозиционер, получивший по ходатайству «друга из МИДа» роскошную квартиру, где регулярно принимает иностранных дипломатов и корреспондентов) приводит автора в смятение — тем более тот чуть не подвел его под монастырь, дав некую книгу для распространения. Господи, сколько таких книг прошло через мои руки и через руки моих друзей, в том числе и самого Солоухина — мы их читали и передавали друг другу без всяких

«заданий»! Дело это было не совсем безопасным, но обыденным. А тут такая драма.

Но «роман» кончается словами благодарности этому фотографу, который, несмотря ни на что (в данном случае, на прямую подлость), хоть таким путем, но все же открыл ему истину. Такова эта книга, хотя чувствуется, что автору душно, как в тенетах, находиться под влиянием своего аристократического друга, но почему-то других истин он не находит. Повторяю, в книге есть не только это, не говоря уже о вошедших в нее замечательных и горьких очерках, написанных ранее. Но это — доминанта. Неужели с тем и ушел из жизни? Мне очень больно, что он до этого опустился, унизил до этого свой талант и свою боль.

Мне очень больно, ибо этого человека я всегда считал своим другом и он меня как будто тоже. И теперь все равно вспоминаю о нем хоть и с болью, но как о друге. Мы встречались не очень часто, но всегда радовались друг другу. У нас был общий взгляд на происходящее, ибо и меня интересовала не только Москва. И я тоже ощущал «Великий Октябрь» историческим несчастьем России. Собственно, и Глазунов привлек его отрицанием большевизма. К сожалению, многих отрезвление от коммунизма привело к опьянению антисемитизмом. Но даже когда он подвергся этому влиянию (он датирует это довольно точно), в отношениях наших ничего не изменилось. Я встречался с ним и в эмиграции, когда он приезжал в Америку. Он пытался даже мне помочь, заступиться за меня. Короче, я все равно считаю Солоухина своим другом, молюсь за упокой его души. И буду это делать до конца жизни. Конечно, теперь уже не много осталось, но это уже от меня не зависит.

А тогда нам обоим до смерти (конечно, если МГБ не подсобит) было еще очень далеко. И мне еще только предстояла встреча, с которой, собственно, и начались наши отношения. Прощание в общежитии было только их предисторией, завязкой. А то, что было до него, не было еще личностными отношениями...

Но завязка была, и мне захотелось встретиться с Солоухиным. Я знал, что он уже окончил Литинститут (он был моложе меня курсом), знал, что он часто печатает очерки в «Огоньке» (как выяснилось, он там работал разъездным корреспондентом), но абсолютно не знал, где его искать. И вдруг где-то прочел, что он назначен ответственным секре-

тарем приемной комиссии в Литинституте. И я отправился в Литинститут. Способствовало моей решимости то, что тогда были зимние каникулы и я не очень рисковал встретить знакомых — мало ли на кого можно было напороться, да и вообще слухи пошли бы: в моем положении лучше всего было «не возникать» — выражение более позднее, но точное... Но мне повезло, знакомых я не встретил. Даже Василь Тарасьга не было на месте. Даже незнакомых было немного. Но достаточно, чтоб расспросить, где размещается теперь приемная комиссия. Это подозрений вызвать не могло, мало ли кому могло захотеться стать писателем. В помещении комиссии застал двух молодых женщин, тоже мне незнакомых. Была еще там обитая дерматином дверь, за которой, видимо, заседало начальство. Спросили, зачем пожаловал. Я сказал, что хотел бы видеть Солоухина.

Женщины снисходительно улыбнулись:

— Ну знаете... Многие бы хотели.

Меня явно принимали за абитуриента, желающего лично познакомиться с членом комиссии. От таких они и должны были охранять, а то бы работать было невозможно. Я это понимал, но что мне было делать? Не вступать же в спор и не называть же себя (могли знать мою фамилию) — запечатлеться в их сознании мне не хотелось.

— Ну что ж, — смирился я, — может, и многие... Можно, я оставлю ему записку?

— Пожалуйста, — сказали милые церберши.

И оставив короткую весточку: «Володя! Я в Москве. Позвони по телефону (следовал номер тети Розы). Эма» — я удалился.

К счастью (я слишком часто употребляю это слово, но ведь и впрямь везло), не доходя до «Шашлычной» (теперь вместо нее и всего квартала разбит скверик, отделяющий «Макдоналдс» от Тверского бульвара), я встретил группу знакомых студентов. Они были на первом курсе, когда меня забрали с третьего, и сейчас как раз кончали Литинститут. Но институт был крошечным, и полгода мы с ними все-таки проучились вместе, и поэтому знали друг друга хорошо. Завязался оживленный разговор: одно дело — понимать необходимость осторожности и совсем другое — встретить знакомых ребят... Я расспрашивал, что есть интересного в Литинституте — естественно, я имел в виду поэтов, поэзию. В ответ они назвали несколько имен тех, кто

выделялся своим талантом... Меня удивило, что среди них не было имени Евгения Винокурова. И спросил — вполне нейтрально:

— А Женя Винокуров как?

Ответ, который я получил, был странен, но, как мне кажется, характерен для литературной среды:

— Ну, Женя не в счет... Он вообще поэт.

Должен был возникнуть естественный вопрос: а чем тогда выделялись все другие, кого они называли? Но его я задать не успел.

Тут важен не этот невысказанный вопрос, а их удивившая меня констатация. Винокуров отличается от прочих тем, что он поэт, но остальные тоже делают что-то хорошее в поэзии, и будучи лишены этого качества. Что это за логика? Что сей сон значит? На этом я и хотел бы остановиться подробнее.

Прежде всего это не логика, а психология.

Эти ребята кончали Литинститут, жили в литературной атмосфере, были достаточно образованны и умны, и прекрасно знали, что существует «гамбургский счет». И когда доходило до дела, то они знали, что Винокуров отличается тем, что он поэт на самом деле. Это делает им честь, ибо все свои лучшие стихи Винокуров написал позже. Но кем были другие, которых они хвалили? Я вовсе не утверждаю, что эти другие зря учились в Литинституте, что их не надо было принимать. Люди развиваются по-разному. Иногда человек подает надежды, но их не оправдывает. Об одном молодом тогда поэте Николай Глазков говорил так: «Он — вундеркинд: в тринадцать он писал лучше всех, а теперь пишет как в тринадцать». Литинститут никому не гарантирует литературного успеха, его диплом никому не присваивал звание прозаика, поэта и вообще писателя — только неопределенное звание «литературный работник». Но он давал квалификацию, развивал вкус... Многие его выпускники, не став писателями, потом успешно работали в разных редакциях и издательствах. И если у них были ум, вкус и вообще навыки, были вполне полезны литературе. Кроме того, литературе бывают нужны и поделки. Тогда преимущественно, но и в нормальной жизни тоже. Важно, чтоб они не заслоняли литературы, но это уже другой вопрос. Должен сказать, что в мое время Литинститут закончило сравнительно много настоящих писателей, но я никогда не

имел ничего против остальных, они были и остались моими товарищами.

Но ведь сейчас шел разговор не о людях, а о поэзии. Назывались имена людей, которых хвалили, говоря о поэзии, но поэтами при этом не считали.

Только через много лет я понял, что явление это гораздо более широкое, чем литинститутский междусобойчик (который имел место, но именно для Литинститута был в общем не очень характерен), и связано оно не только и даже не столько с советским строем. Это болезнь современной культуры — я бы даже сказал: мысли. Ибо это подмена мысли, внутрипрофессиональная (и потому противоестественная) шкала ценностей. Сегодня этого в России гораздо больше, чем при большевиках. В западном литературоведении довольно долго господствовало парадоксальное представление, что «критика» (так они называли литературоведение) может существовать и без литературы. И что вообще во всех жанрах главное — «профессиональность», которая может существовать и без того, ради чего эта профессия появилась. Разумеется, всегда были люди, которые этому сопротивлялись. Но этот центр мысли оттеснен на периферию культурной жизни этих стран. И у нас, когда открылись границы, поначалу кивали не на эту «периферию», а на то, что в центре. Благо и удобно. Не нужно ни сути, ни откровения — только «профессиональная художественность»... К счастью, в России теперь началось и сопротивление этому хаосу, причем блистательное и очень квалифицированное (см. отделы критики «Нового мира» и «Континента»), но пока это тоже на периферии — в центре тусовка...

А начинается все иногда с некоторой почти невинной «профессиональной» ограниченности, точнее, «ограниченность» — почти на бытовом уровне... Один мой покойный друг, человек, никак не лишенный ума и вкуса, каждый раз, возвращаясь из Дома творчества, начинал убеждать меня, что такой-то и такой-то как поэт вовсе не так плох, как я считаю. Между тем этот «такой-то» (речь, конечно, шла не о подлецах) ничего отличного от того, в осуждении чего он со мной раньше запросто соглашался, не написал, просто сидели в столовой за одним столом, тот оказался приятным собеседником, да и просто живым человеком: верил, что делает то, что надо, и другу моему очень не

хотелось его огорчать — даже мысленно. Должен сказать, что такой добротой я, как и многие мои друзья по Литинституту и помимо него, не обладал. Конечно, часто это не от «круга», а от характера — другой мой покойный друг, замечательный поэт, человек высочайшего вкуса В.Д.Берестов, вообще не любил огорчать кого бы то ни было, всегда находил примирительные формулировки... Иногда я от этого свирепел и орал:

— Валька, ты же и мыслить стал вежливо! Перестань!

Он улыбался. Но иначе не умел. А в глубине души сохранял четкую строгость вкуса. Но таких, как он, — мало.

Далеко завела меня эта невинная в общем фраза. Она меня удивила, но мысли сейчас я излагаю иного времени. Тогда я и обдумать ее не успел. Ибо сзади, со стороны института, вдруг послышался чей-то крик:

— Эмка!

Я обернулся. К нам бежал Володя Солоухин в наброшенной наспех куртке и, по-моему, без шапки. Очень спешил. Бросились мне в глаза какие-то очень высокие сапоги (а может, и валенки), в которых он был... Видимо, в деревню собрался или в командировку — к декоративному «стилю а-ля русс» никакого пристрастия он никогда не имел. Он был очень рад, что меня не упустил... Я тоже был очень рад — и ему самому, и его радости. Обнялись.

— Эмка! Ты подожди... Я сейчас — только стол запру, и пойдем, — выдохнул он, от волнения окая больше обычного.

Видимо, когда я в Литинституте разговаривал с милыми «цербершами», он тоже был там — в кабинете за дерматиновой дверью. И когда они передали ему мою записку, он тут же бросился меня догонять. Дело было почти безнадежным. Он не мог знать, что я задержусь с ребятами, а прошло минут десять. За это время я должен был уйти довольно далеко в любом направлении, исчезнуть в Москве, как иголка в стоге сена. И все-таки он бросился меня искать. И русское «авось» иногда творит чудеса — все завершилось удачей, мы встретились...

Я распростился с ребятами, Володя сбегал запереть стол, минуты через три он вернулся. И мы пошли.

Куда пошли, я не помню, это как-то стерлось из моей памяти. Помню только, что в конце концов оказались в маленькой комнатушке у Трубной, которую он тогда сни-

мал. Смутно мне сейчас даже кажется, что он предложил мне ресторан, а я объяснил, что лучше не надо — разумнее купить вино и еду и укрыться в каком-нибудь укромном месте. Фиксация такой встречи грозила неприятностями и ему, а уж мне — и говорить нечего. Это вполне могло быть преподано как демонстрация. Впрочем, я не уверен, что мы тогда были столь благоразумны. Все-таки, может, побывали и в ресторане. Но это я бы, наверное, запомнил — ибо столичный ресторан был для меня тогда экзотикой. Не думаю, чтоб мы к ней стремились. Стремилась мы не пировать, а — поговорить. Вот когда обретает подлинную весомость утверждение Сент-Экзюпери, что общение — высшая роскошь. И мы роскошествовали.

За мной был опыт, который, с одной стороны, был ему нов, представлялся, как и всем несидевшим, абстрактно, а с другой — сближал меня с ним. Что ни говори, и я теперь знал деревенскую жизнь не понаслышке. Конечно, происхождение мое крестьянским от этого не стало, но взаимопонимание увеличилось.

В отличие от упомянутого выше мужа моей приятельницы, он жадно расспрашивал меня обо всем, что я видел, и его это живо интересовало. Ни я, думаю, и ни он еще не отказались тогда ни от советской власти, ни от коммунизма. Но мы говорили о жизни. Даже не о коллективизации вообще, а о том, что из нее получилось — о том, что мы сами видели и знали. И о поэзии. Я ему сказал, что любил Твардовского. Он тоже. Многие удивятся — дескать, что такому вообще любить. Но ведь в литинститутские годы он вовсе не был чужд изыска — его и в модерн затягивало. Кстати, и самого Твардовского тоже, над чем он сам потом открыто иронизировал в каком-то автобиографическом очерке. Все мы, и я тоже, отказывались от модерна, когда у нас появлялась потребность сказать и выразить то, что мы инстинктивно ощущали ценностью. Развиваясь, мы оба пришли к Твардовскому.

Я пожаловался на то, что почему-то не могу достать его книг. Тогда Володя снял с полки две его книги — «Поэмы» и «Книга лирики», в сущности вобравших все, что к тому времени было написано и издано поэтом, — и подарил их мне. Конечно, приобрести эти книги ему было проще, чем мне их достать, но все же эти книги он сам любил и сейчас отрывал от себя. И для меня это был воистину царский

подарок, ибо дорогá ложка к обеду. Это было то, что мне было тогда нужно. Твардовский мне нравился и до этого, но многого — особенно это касается стихов — я тогда еще вообще не знал, да и в то, что уже знал и любил, впервые смог теперь вникнуть по-настоящему. Приобщение к Твардовскому очень помогло мне в последующие годы продержаться на плаву в профессиональном смысле — не чувствовать себя отделенным и даже вырабатывать «свою эстетику», точнее, утверждаться в своем взгляде на поэзию.

Ушел я от Володи поздно, в сущности, мы провели с ним весь день. Этот день в январе или феврале 1951 года я никогда не забывал и не забуду. Хотя, казалось бы, о чем речь? Посидели, выпили, закусили и поговорили. Да и с самим Солоухиным у нас это потом бывало не раз. И еда бывала вкусней, и вино получше, и беседы не хуже. Даже серьезней — ведь тогда, в пятьдесят первом, Володя, хоть уже считался и был талантлив, — не написал еще ни одного из своих наиболее значительных произведений. Тогда мы оба только еще нащупывали то, что поймем только потом, и это накладывало отпечаток на нашу беседу и сегодня — на воспоминание о ней.

Но день на день не похож. Никогда больше не было пятьдесят первого года, моей неприкаянности, нависавшей опасности, и прозрения тоже нависали. Этот день был и навсегда остался в моей жизни и памяти. И всегда для меня он будет перевешивать все то отрицательное, что связано с его именем. Хотелось бы с ним поговорить, все выяснить, поругаться (и не разругаться все же), но это не в нашей власти. Остается только одно — молиться за упокой его души. Мир праху твоему, Володя.

Мой рассказ о своем первом после ссылки приезде в Москву подходит к концу... Мне хотелось бы рассказать о каждом, кто меня тогда принимал и привечал. Пропустить кого-либо — грех, ибо я в этом очень нуждался, а люди, что ни говори, рисковали. Но человеческая память — аппарат несовершенный... И если я о ком-нибудь забыл упомянуть, пусть они простят меня и все равно примут мою благодарность.

Активистов тусовки мой рассказ должен раздражить. Их слепое, корыстное и натужное презрение к людям предыдущих поколений должно быть оскорблено моим отношением к товарищам. Но, как любил говорить мой покойный

друг Михаил Дудин: «Пройдет и это». Ничего не подделаешь, мои друзья жили в страшное, невероятное время, но были хорошими и значительными людьми. Такими они и останутся в истории, если таковая не кончилась.

Но сколько веревочке ни виться, а надо было ехать в Киев — повидаться с родителями и друзьями... С этой целью я приезжал в Киев не раз и не два — и до, и после этой поездки. Но эта поездка отличалась от остальных. До и после нее я приезжал оттуда, где жил и куда потом должен был вернуться. Теперь я не жил нигде — приезжал туда практически ниоткуда, не имел права жить там и не знал, куда оттуда уеду. Впрочем, кажется, тетя Роза уже объяснила мне — пока в общих чертах, — что мне имеет смысл поселиться в Калуге, но это еще не было реальным планом и на моем настроении не сказывалось. И об этом вообще потом. Таким было мое положение, но это не значит, что я был расстроен или подавлен. Ничего подобного. Я уже привык к неопределенности своего положения — меня несло.

Снова в Киеве

Я отправился на Киевский вокзал. Билетов, как всегда, не было, но у одной из касс теснилась очередь. Выяснилось, что здесь компостируют билеты по справкам об освобождении. Я решил опять попытать счастья, и по этой справке, где значилось, что я «следую» из Чумакова в Тюмень, я закомпостировал приобретенный в Свердловске билет в Белую Церковь. Никто на это и внимания не обратил. Кстати, напоминаю: билет в Белую Церковь, где жить я имел право, но куда ехать не собирался, я купил для конспирации — чтоб замаскировать свое намерение оказаться в Киеве, где жить мне было запрещено, чтоб получилось, что я сошел как бы невзначай по дороге или того лучше — для пересадки. А Белую Церковь я выбрал именно потому, что прямых поездов из Москвы, проходящих через Белую Церковь, не было вообще. Но и здесь вышло затруднение (для меня — другие его и не заметили). Пассажирам, которым предстояло ехать дальше Киева, билеты на поезда Москва—Киев не компостировались, а мне согласно билету надо было ехать до Фастова — оттуда отходила ветка, на которую сворачивали поезда, проходящие через Белую Церковь, — в основном они выходили из Киева... Поэтому самым удоб-

ным для меня был бы поезд Москва—Киев. Тогда бы и вопросы не возникали. Но он отпадал. И опять возникала опасность привлечь к себе внимание, что меня никак не устраивало — тем более что Киев, по моим представлениям, всегда отличался особой склонностью к бдительности...

Но когда я робко сказал кассирше, что мне было бы удобнее сделать пересадку в Киеве, это ей не показалось подозрительным — ведь это и впрямь было удобнее — и против моих ожиданий, она без звука закомпостировала мне билет на поезд Москва—Одесса до Киева. Естественно, до Киева же я оплатил и доплату за «скорость» (может быть, и с плацкартой — теперь не помню). Вот такие были у меня переживания и опасения... Конечно, это была перестраховка. Сойти в Киеве я мог и закомпостировав билет до Фастова — зато без лишних объяснений, которых я тоже старался избегать. Да, это было бы проще — думал я, — но где? У кассы, при компостировании, где никто никого не видит... А в вагоне? — там ведь все друг у друга на виду. Там вполне может привлечь внимание такое несоответствие — зачем человек платил лишнее, если выходить ему раньше? То, что лишнее это были копейки, роли не играло — важно было не привлекать внимания.

Был ли я прав, так опасаясь всего? Трудно сказать. Мои опасения были нелогичны, но ведь и обстоятельства, которых я боялся, не подчинялись логике, и были вполне реальны. Конечно, у страха глаза велики — и тогда далеко не все были столь внимательны к чужим делам. Но ведь всех и не нужно было. Достаточно было бы одного бдительного, и я бы опять «загремел».

Однако успех моей «конспирации» превзошел все ожидания. В вагоне проводник был обеспокоен только тем, чтобы я не остался в вагоне после Киева. И несколько раз строго предупреждал меня, что компостер и «скорость» у меня только до Киева, и там я обязательно должен выйти. Я покорно соглашался. Он мне вроде верил. Но облегченно вздохнул только в Киеве, когда увидел, что я действительно выхожу и меня встречают — следовательно, выхожу всерьез. Он был нормальным человеком. Мелкое несоответствие между моим билетом и компостером беспокоило его только потому, что это могло соблазнить меня и не выйти в Киеве, а это могло затруднить его положение... Ведь в Киеве мог прийти с билетом на мое место другой пассажир, а

кому нужны лишние разборки и вообще упущения по службе? Ловить же непрописанных, если они не выглядели «мазуриками» (поездными ворами) и у них были на руках билеты, он своей обязанностью явно не считал... Бдительности «в наших массах» было явно недостаточно — как сетовали тогда «сознательные» гэбэшники. И вправду, сколько их ни натаскивали, большинство оставались людьми. Я это знал и чувствовал... Но правила безопасности я старался соблюдать — знал, что было с чего осторожничать и чего бояться... Мои товарищи — и в Москве, и особенно в Киеве — тоже.

Тем не менее в Киеве на перроне меня встретили Яша с Людой и Ритик. Конечно, ситуацию понимали мы все. Поспешно обнялись. Яша деловито схватил мои вещи, и мы двинулись. Доехали мы быстро на троллейбусе, который теперь останавливался возле Золотых Ворот, прямо напротив Людиного дома (теперь они с Яшей поженились и жили здесь вместе). В дом входили, соблюдая некоторую осторожность, но вряд ли она имела значение — посторонних мой приезд не заинтересовал... Отпраздновали мой приезд, вдоволь пообщались, а потом пошли к моим родителям. Тут уже осторожность соблюдалась тщательней и была не лишней... Кто-то побежал вперед и предупредил родителей, они заранее открыли дверь, и мне удалось прошмыгнуть в их комнатушку незамеченным. Опасались соседей, даже живших в нашей довоенной комнате, довольно милых людей, с которыми мать ухитрилась испортить отношения. Но были и совсем не милые — так что опасаться следовало в любом случае. Так было каждый раз, когда я к ним приходил. Или встречались мы не у них, а у двоюродной сестры Люси, у которой, помнится, я тоже тогда и в другие приезды иногда жил — так сказать, «скрывался». Ни дать ни взять — подпольщик, террорист, сбежавший с каторги! А не лопух, с разрешения начальства вернувшийся из краткосрочной ссылки, у которого всех тайн — «только» сам факт своего существования! Ибо если вспомнят — могут посадить.

Иногда я слышу (от желающих верить, что Россия всегда была «такая»): «Подумаешь! Если бы ты при «старом режиме» приехал в Киев без «права жительство», было бы то же самое». Нет, все-таки не то же самое! Да, я бы рисковал, но только штрафом и высылкой домой. Не такое уж это, конечно, «только» — узаконенная дискриминация. Она унижительна. Для всех. Но больше всего для тех, кого дис-

криминируют — хватают за шкуру и воюют в участок. Но никому это безобразия не грозило полным крушением жизни, тем более крушением повторным, крушением робкой попытки хоть за что-то уцепиться и жить.

Теперь она грозила — и никто в этом не сомневался, — хотя мне вроде и сталинский закон запрещал только постоянную прописку в таких городах, как Киев, посещать эти города он не запрещал. Но какое это имело значение? Посадили бы меня не за посещение Киева, а за то, что годился в «повторники» и попался на глаза. Видит Бог, моему отцу, не имевшему до революции «права жительство», но тем не менее неоднократно и тогда посещавшему Киев, ничего такого не грозило. Впрочем, вообще обходилось без неприятностей. Слава Богу, и со мной обошлось — не попался.

Но это не значит, что все мое пребывание в Киеве было наполнено только или преимущественно страхом. Страх был только фоном, на котором происходило все остальное, только присутствовал при всем, что происходило. Нет, я не собираюсь преуменьшать значение этого «фона». Но все-таки главным, что происходило, была радость встречи и общения. И она затмевала страх. И эта радость запомнилась больше всего.

Я не случайно упомянул об общении — были беседы, разговаривали много и почти все на запрещенные темы. Как и в Москве, обмен пережитым в отрыве друг от друга... Нет, мы не «точили мечи», не «собирали силы», не «готовились к будущей схватке» — вообще вели себя не так, как нас учили революционно-романтические книги и учебники нашего детства. Какой-нибудь «герой-победитель шестидесятников» (их теперь тьма) обрадуется: «Ну да, я так и думал — болтали! только на это и были способны»... Что ж, он прав — только на это. И очень жаль, на это были тогда способны отнюдь не все. Болтали — потому что старались что-то уяснить для себя — преодолеть давление сверхтотальной лжи и сверхтотального террора (тотальными они были у Ленина — Троцкого и Гитлера). Расплата за эту «болтовню» предусматривалась статьей 58/10, иногда с добавлением статьи 58/11 (организация — это если беседы происходили в более-менее постоянном дружеском кругу). Вся мощь государства была направлена против того, чтоб люди могли осознать себя и почувствовать друг друга, против общения, против дружбы... Не терпел великий вождь дружбы — ни вообще, ни особен-

но рядом с собой. Все ему казалось, что там, где собираются двое, там его и поносят — переоценивал он нас, но отчасти был и прав. Так что это было тогда очень важно и совсем непросто — «болтать» о том, что волнует... Это сохраняло очень многое и защищало разум от облучения прострацией, защищало мысль... Даже если мысли наши были еще в плену идеологии. Не должно было быть никакой.

Итак, и в Киеве я в основном разговаривал. А о чем? Естественно, о том же, что и в Москве, — всех волновало одно и то же. Но проблема антисемитизма занимала здесь больше места. И не только потому, что здесь я почти не выходил за пределы еврейской среды. Просто здешний антисемитизм был душнее и спонтаннее московского. Сказывалось и наследие нацистской оккупации, и многое, чего я касался уже в третьей части этой книги... Так что легализация антисемитизма антикосмополитской кампанией нашла здесь горячий отклик. Это отнюдь не значит, что он был тотален. Лучшие украинские писатели — например, поэты Павло Тычина, Микола Бажан и Максим Рыльский — не принимали в этом шабаше никакого участия, старались сгладить его последствия. Но справиться с обстановкой они не могли. Казалось, что на них прервалась «связь времен», остановилось движение украинской культуры. Разряжаться эта обстановка стала только к концу пятидесятых, когда в культурной жизни появились «украинские националисты» — Лина Костенко, Юрий Петренко, Владимир Пидпалый, Виталий Коротич, Иван Дзюба, Иван Драч, Дмытро Павлычко и другие — целая плеяда талантливых поэтов и интеллектуалов, восстановивших эту почти утерянную связь... Но тогда, в 1951-м, о них еще и слышно не было. Свирипствовал Андрий Малышко, человек способный, но не просветленный по сравнению с другими «хуторянами», как их потом называли «националисты». Виктор Некрасов (с которым, правда, я познакомился несколько позже, и не в Киеве, а в Москве) называл их «малышкеюгенд» — дело не в названии. Важно, что это давило и занимало.

А что еще я могу вспомнить о Киеве 1951-го? Если говорить о событиях — ничего. А что было? Были старые друзья, верные и в опасности. Все, кого я назвал, и школьные: Тамара Стояновская, Женя с семьей, Люсик Мамут, Белла Черняховская и другие. Все они тепло встречались со мной, вели откровенные разговоры. Представление, что в

те времена все боялись друг другу слово сказать, сильно преувеличено (в то же время, как в моем случае, могли настучать и те, с кем ты вообще не разговаривал). Познакомился я и с новыми для меня, то есть приобретенными за время моего отсутствия друзьями и подругами моих друзей, в одну из которых я даже влюбился.

Все это было. И еще был зимний, но какой-то уже предвесенний Киев с тем густым, мохнатым и влажным снегом, какой, как мне кажется и теперь, бывает только в Киеве и только в эту пору... Таким город моего детства я последний раз мог видеть только в отрочестве, в начале 1941-го, десять лет назад (в студенческие годы я часто бывал в Киеве, но не в эту пору). Десять лет составляли тогда две пятых всей прожитой мной жизни, а сознательной — не меньше, чем три пятых, — срок изрядный. Да и как много вместилось в эти десять лет! Все это создавало особое настроение, крайним выражением которого и была эта влюбленность. Потом, уже в Калуге, я написал несколько стихотворений, объединенных в цикл «Влажный снег», которые я и теперь печатаю. Правда, когда я их недавно перечел, я немного пожалел об этом — мне показалось, что кое-что в них надо было бы доделать, а кое-что из них просто выбросить. Строки, вызванные чувством, не всегда несут в себе это чувство. Но я пишу не об этих стихах и даже не об этой влюбленности, а о своем тогдашнем состоянии. Наиболее сжато, по-моему, его передает начало последнего стихотворения этого цикла:

А это было в настоящем,
Хоть начиналось все в конце.
Был снег, затмивший вас.

Кружащий.

Снег на ресницах. На лице.
Он нас скрывал от всех прохожих,
И нам уютно было в нем...
Но все равно — еще дороже
Нам даль была в уюте том.
Сам снег был далью... Плотью чувства,
Что нас несло с тобой тогда.
И было ясно, было грустно,
Что так не может быть всегда.
Что жизнь не даст, чтоб так надолго,
Что ждут за далью снеговой
Твои привычки, чувство долга,
Мой быт меж небом и землей...

Цитирую я здесь только первую половину этого стихотворения не потому, что считаю его плохим (от него при всей его наивности я, в отличие от некоторых других стихотворений этого цикла, вовсе не думаю отречься), а лишь потому, что вторая его половина не имеет прямого отношения к моей нынешней теме. Но должен оговориться. В последнем (из цитируемых) четверостишии первая и четвертая строки даны здесь в первоначальном варианте. До этого я публиковал их в варианте «улучшенном». Теперь мне это «улучшение» очень не понравилось — приходится восстанавливать. Что ж, и на старуху бывает проруха.

Этот влажный снег может быть эмблемой моего пребывания в Киеве — нечто прекрасное, но непрочное, даже эфемерное такое, в самой радости своей содержащее намек на свою временность, на то, что все это вот-вот кончится, испарится... И в самом деле — нельзя же было бесконечно продолжать свой «быт меж небом и землей» — существовать без прописки, работы и какого-либо намека на устройство. Да и не планировалось это. Так что неудивительно, что в один прекрасный день друзья проводили меня назад, в Москву.

Это «возвращение» само по себе ничего не меняло в моей судьбе, висеть между небом и землей я вполне продолжал, но в Москве и тогда все-таки было больше возможностей. Одна из них — тоже потом оказавшаяся эфемерной — мне уже как будто светила. Называлась она — Калуга. Чуть выше оно уже мелькнуло в этом повествовании — в связи с тем, что именно там я написал несколько стихотворений, составляющих цикл «Влажный снег». И, по-моему, уезжая в Киев, я уже знал, что, вернувшись в Москву, потом поеду на жительство в Калугу.

Предложение это исходило от тети Розы. У нее там были знакомые. Его поддержала Ляля. У нее там в пединституте работал товарищ, кажется, даже родственник, которого я тоже знал. Родственники, к тому же колоритные (дядя с женой-француженкой), были там и у Рудака, Евгения Александровича Рудакова, полагаю, уже знакомого читателю. Сам Евгений Александрович, правда, как я уже отмечал, официально обосновался не в Калуге, но тоже в Калужской области, в Боровске. Все это в смысле перспектив было довольно неопределенно, но ничего более определенного я тогда и представить себе не мог. Так что поневоле верилось в это, и Калуга манила меня всеми своими неведомыми мне огнями.

Калужская попытка

Тогда электрички по Киевской дороге вроде уже ходили, но недалеко — только до Апрелевки. Железнодорожное сообщение между Москвой и Калугой ограничивалось одним традиционным «паровозным» поездом в сутки. Отходил этот поезд очень поздно — не то в час десять, не то даже в два десять ночи — с тем чтоб добраться до места не среди ночи, а в более приемлемое время — к утру. На нем я и отбыл строить оседлую жизнь. Вооружен я был для этого теплыми напутствиями, добрыми пожеланиями, одним адресом, одним телефоном, а реально — только письмом тети Розы своему знакомому с просьбой помочь. Причем тетя Роза была твердо уверена, что этот человек поможет. И скажу наперед: она не ошиблась — помог. Конечно, тем малым, что было в его возможностях, но помог. Добавлю только, что это малое имело для меня тогда колоссальное значение — в Тюмени оно бы избавило меня от «белого безмолвия».

Кстати, это знакомство само по себе представляет некоторый интерес. И было оно вполне в духе этой замечательной женщины. Ибо завязалось оно тогда, когда ее нынешний адресат увертывался от последствий раскулачивания, а может быть, и от депортации — то есть когда его существование на земле было вне закона. Насколько я помню, связана она с ним была только тем, что он приходился близким родственником, кажется, даже дядей ее тогдашней домработнице. И, конечно, причиной ее участия в нем были не эти «родственные связи», а то, что она увидела рядом достойного, порядочного человека, которого преследуют. То, что преследовала его та правящая партия, в которой она состояла, не имело для нее значения: хотя при случае могло ей сослужить дурную службу. Тогда в СССР оказаться «защитницей кулака» было таким же ритуальным преступлением, как вскоре в гитлеровской Германии «защитницей евреев» — и те и другие не имели права на существование и сочувствие.

Справедливость требует напомнить, что «старая гвардия» в целом — разумеется, в частном порядке, в своем кругу — относилась к раскулачиванию, а тем более к депортациям, отрицательно. Ни на политическом поведении, ни на ис-

полнении функций это, конечно, не отражалось, но даже мне известно много случаев, когда ее представители (в частном опять-таки порядке) кого-нибудь выручали, усыновляли детей и т.п. Это «природные» большевики, а тетя Роза все же в прошлом была эсеркой. Впрочем, сказывалась не партийность, а натура, чувство справедливости и сострадания, не увядшие от диалектики чувства долга и достоинства. К ней никак нельзя было отнести горькие (хотя, может быть, и не совсем справедливые по отношению к себе) слова Пастернака: «Но я испортился с тех пор, /Как времени коснулась порча». Ее эта порча не коснулась.

В чем именно она помогла человеку, к которому теперь направила меня, она мне не говорила, но, наверное, в чем-то существенном. Впрочем, для человека в его тогдашнем положении всякая помощь существенна — даже просто ночлег в Москве. Но, видимо, сделала она для него нечто более важное, ибо, отдавая мне письмо, она сказала:

— Обращайся к нему спокойно. Это хороший и надежный человек. Ничего, поможет — в свое время я ему тоже достаточно помогла.

Насколько я помню, она не знала его адреса, знала только место его работы и как звать-величать. Может, точно знала, что баня называлась, допустим, «Центральная» или «№1» (она и впрямь была расположена на одной из центральных улиц, которая вела к ней прямо с вокзала), но нашел я его легко и быстро. Конечно, прибыл я для таких поисков слишком рано, и мне пришлось некоторое время, оставив вещи в камере хранения, побродить по городу. Но в нормальное время явился в баню. Там спросил, как найти заведующего (я назвал его по имени-отчеству, к сожалению, теперь, как и фамилия, начисто забытых мной), и мне показали дверь в его кабинет. Чувствовалось, что его здесь уважали. Я постучался и вошел. За столом сидел худощавый собранный человек с лицом одновременно и добрым, и строгим. Он вопросительно поднял глаза.

— У меня к вам письмо от Розалии Ефимовны, — ответил я на его невысказанный вопрос и подал конверт. При звуках этого имени лицо его осветилось улыбкой, и он внимательно прочел ее короткую записку. Потом осведомился о ее здоровье и житье-бытье и сказал:

— Вы пока погуляйте немного, а потом в обед зайдите снова, и пойдем ко мне. У меня и останетесь пока.

Пусть читателю эти его слова, сказанные свалившемуся ему неожиданно, как снег на голову, абсолютно постороннему человеку, не покажутся слишком сухими. Говорили между собой два человека, прекрасно понимавшие, что их встреча не должна привлекать внимание. Но этим человеком были сказаны именно те слова, которые и должны были быть сказаны и в которых я сейчас больше всего нуждался. И которых я так ни от кого и не услышал в Тюмени.

Естественно, в назначенное время я явился снова, и мы пошли. Тихий наш разговор по дороге я теперь восстановить не берусь. Новый мой знакомый выслушал мой краткий отчет о моей истории и настоящем положении более чем сочувственно и, особенно не высказываясь (многолетняя привычка!), дал понять, что хорошо понимает мое положение и состояние, что и сам испытал нечто подобное. Идти было недалеко. По этой улице, которая шла от вокзала к бане, мы дошли до другой, еще более центральной — тогда не то Ленина, не то Сталина, — которая спускалась к Оке. Немного побродив, я уже это знал. Как и то, что за Окой городских построек не было — был виден только заснеженный лес. Такой тогда была Калуга. Но повернули мы не направо, к нарядным зданиям и Оке, а налево, на продолжение этой «губернской» улицы, где стояли одноэтажные домики и все сразу приобретало почти деревенский вид. Не очень долго шли и по ней. Жил мой новый знакомый в одном из этих домиков по правой стороне этой улицы, аккуратном и прочном, под стать ему самому, явно собственной постройки. Но при этом очень недалеко от пересечения центральных улиц.

Встретила нас его жена, женщина, несмотря на долгую жизнь в городе, вида почти деревенского, строгая и радушная. Хозяин представил меня ей, сказал, что от Розалии Ефимовны. За обедом обсуждали мои невеселые дела. Конечно, в целом понять, что мне делать, они, как и я сам, не могли — слишком фантастическим был мой случай. Единственное, на что я мог претендовать, это на место уличного книгопродавца — благо такие, согласно прочитанному мной объявлению, требовались. Но и для этого надо было сперва где-то прописаться. Сошлись на том, что прежде всего я буду искать квартиру, а пока буду ночевать у них. После обеда я быстро съездил на вокзал за вещами, а потом пошел бродить по городу. Не помню, сколько дней я пользо-

вался их гостеприимством, но очень скоро я нашел себе жилье. Тем же способом, что и в Тюмени — по объявлению. Но с той серьезной разницей, что благодаря этим хорошим людям надо мной при его поисках не висела перспектива в случае отказа от самого неприемлемого предложения опять ночевать на вокзале. А это очень даже немало.

Говорили мы не так чтобы много. Дело было не в осторожности или несловоохотливости моего хозяина, а просто он предпочитал иные виды общения: быстрым взглядом, короткой репликой. Как ни странно, таким способом мы успели «поговорить» обо всем, и между нами установилось взаимопонимание по всем вопросам. В том числе и о коллективизации.

Поразительная вещь! Ведь к тому времени я отказался не вообще от коммунизма, а только от Сталина. И, скорее всего, только от «перегибов и искривлений» в коллективизации, связанных с личностью Сталина, а не с самой «линией». Но поскольку я уже кое-что повидал, и все, что я видел и слышал, относилось исключительно к этим «перегибам и искривлениям» или к их следствиям, то я сочувствовал всем, кто оказался жертвой этого «прогрессивного мероприятия», причем не просто как людям, попавшим в беду, а как жертвам несправедливой и нелепой жестокости.

И как было относиться иначе, если сам этот человек был наглядным доказательством этой нелепости? Я уж не говорю о правовой стороне дела, о том, что нельзя преследовать человека за деятельность, которая имела место, когда была разрешена и даже поощрялась*. Ибо власть эта устами своего основоположника сама объявила себя «не ограниченной законом». Я говорю о простой жизненной целесообразности (которую, собственно, и должен охранять закон, но не будем спорить с ленинской «философией права») — ведь этот человек, который меня приютил, был человеком, полезным любому обществу. Как сельский хозяин или городской предприниматель он бы наверняка достиг больших успехов, обогащал бы себя, страну и давал бы заработать на жизнь (полезным трудом) всем, с кем имел бы дело. Он явно обладал хозяйственной жилкой, здра-

* Первым (во всяком случае, в наше время) эту простую мысль высказал в одной из повестей Юрий Нагибин. Такую очевидность вроде и высказывать не стоит, но нашему сознанию все очевидности приходится восстанавливать. Они были отменены.

вым смыслом, органической порядочностью, вызывающей доверие и уважение окружающих, и вообще умением работать с людьми — умением их использовать на пользу дела и их самих. Такой тип человека, безусловно, представляет общественно-историческую ценность, он выращивался веками и является существенной частью потенциала любого общества, любой страны. Стремление его выкорчевать противостоит естественному. Оно самоубийственно для общества.

Многие такие люди потом вполне пристроились и выжили. Как мой знакомец в заведующих баней. Что ж, деятельность тоже осмысленная и полезная. Но все они не делали того, для чего были рождены, не говоря уже о том, что для того чтобы пристроиться, надо было уцелеть, а это удалось далеко не всем. Да и пристроившимся (если не в бане) надо было приобщиться к люмпенской психологии власти, к ее тотальному пренебрежению здравым хозяйственным и иным смыслом. Так что мой знакомый выбрал благую участь: баня, она при всех соцсоревнованиях — баня, там всегда должно быть вдоволь шаек, тепла и горячей воды. Разумеется, и это в советских условиях обеспечить было трудно, требовало некоторой разворотливости и даже дипломатичности. Но этими качествами мой хозяин вполне обладал, а дело было реальным и нужным. Показателями тут ничего заменить было невозможно. Так вот и жил этот человек — «в стороне от главной магистрали нашей жизни», как сказали бы тогда многие, да и я сам несколько лет назад. В стороне от зла и лжи нашего времени — как было на самом деле. И как я теперь отчетливо чувствовал. И пусть не до конца отчетливо, но сознавал. На этом и зиждилось наше мимолетное взаимопонимание.

С их квартиры я съехал очень быстро, дня через два или три. Поблагодарил за гостеприимство, ушел и больше не встречал (я ведь пробыл в Калуге очень недолго), но благодарность моя и какое-то щемящее уважение остались во мне на всю жизнь. Каких людей мы выталкивали на периферию жизни! А сами где оказались теперь?

Я жил у этих добрых людей, но старался несильно досаждать им своим присутствием — как мне теперь кажется, домик их состоял из одной комнаты. И, как в Тюмени, я большую часть времени ходил по городу. В сущности, это был первый среднерусский губернский город в моей жизни. Город мне нравился, «желтизна правительственных (си-

речь губернских) зданий» отдавала теплотой, хотелось войти в эту жизнь. Я ходил и читал объявления с предложением жилья и работы, и настроение у меня было мрачное. Объявлений о жилье почти не было, а работа предлагалась не та, с которой я мог бы справиться. А какая была бы *та*? Только вот разве устроиться книжным торговцем. Я боялся, что мне и там откажут (так потом и случилось), но для того чтобы хоть попытаться, опять-таки нужна была прописка, а для нее — надо было как минимум снять жилье. А оно не попадалось. Я писал, что нашел жилье быстро. Но это по нормальному ощущению времени...

Позвонил я, конечно, Лялиному родственнику, и он предложил мне встретиться на улице, у пединститута. Мы встретились. Он, естественно, ничем мне помочь не мог (что было чистой правдой), и я не был в претензии. Не припомню, пригласил ли он меня заходить — у Ляли он разговаривать со мной любил. Я нисколько его за это не сужу. Калуга — город небольшой, а факультет языка и литературы в единственном пединституте — место заметное. Впрочем, он, кажется, просто был занят — не то экзамены начинались, не то защита была на носу — ведь встретиться со мной у дверей своего института он не побоялся. Это был вполне порядочный человек, и пишу я не о нем — просто рассказываю о своем тогдашнем состоянии.

Посетил я и дядю Рудака и его жену-француженку, порядочных пожилых людей. Приняли они меня очень приветливо, но реально помочь мне ничем не могли, будучи весьма далеки от моей «области»... Впрочем, жена-француженка напоследок сказала мне, что в отношении поисков жилья и вопроса о прописке мне может дать добрый совет их знакомый Kolá Smirnoff, тоже бывший зэк, как-то осевший в Калуге. Люди они были милые, по-старомодному порядочные, и можно только представить, что они должны были пережить в связи с его дворянским и ее французским происхождением. Думаю, что спасла их некоторая старосветскость и некоторая провинциальность Калуги. Они вежливо предложили мне заходить, но уж слишком мало связывало меня тогдашнего с ними. Тем более я закурился, завертелся, все время курсировал между Калугой и Москвой, а потом и вообще уехал. Так что к ним я больше не заходил. А воспользоваться советами их приятеля Kolá Smirnoffa мне тоже не пришлось — с жильем и пропиской

дело у меня решилось само собой. И это ничего не решило, иначе бы я не уехал. Так что этого «Колю» Смирнова, к сожалению, я так-таки и не увидел. А жаль, наверное, хороший был человек — о нем я слышал много хорошего еще в Москве от Рудака. Короче, и этот визит ничего не прояснил в моей ситуации, не двинул сюжета. Но все-таки остался в памяти и душе еще одной деталью нашей общей трагедии.

Впрочем, тогда — и до того, как я снял квартиру, и отчасти после этого — мне было не до таких соображений... Я продолжал бродить по улицам, читать объявления, строить планы, и мои неприкаянность и одиночество не покидали меня ни на минуту — знакомые и приятели у меня появились, но много позже, незадолго до отъезда. Обедал я в чайной. И, безусловно, печать моей угнетенности, выражаясь по-старинному, «лежала на моем челе» и там. По ней и угадали во мне «своего» два урки, случайно оказавшиеся за одним столиком со мной.

— А у тебя какая статья в паспорте? Тридцать девятая? — почти сразу, после двух-трех общих фраз, спросил меня один из них.

— Нет, тридцать восьмая, — ответил я.

— А ну покажи!

Я показал. Он взглянул и стал меня пугать, что все равно мое дело труба — не пропишут. Урки вообще любили пугать «фраеров». Но потом урка смилостивился и в заключение сказал, чтоб я не «трухал»: может, и пропишут. Впрочем, все эти слова не имели для меня значения. Я и без урока знал, что все возможно — с тридцать девятой в Калуге почти совсем не прописывали, а с тридцать восьмой — «по усмотрению». Так что урка не мог меня ни напугать, ни утешить — моя судьба в Калуге зависела не от благоволения урока. В каком настроении я тогда пришел в эту чайную, в таком и ушел.

Вторая запомнившаяся встреча в чайной была более забавной. Однажды я зашел в эту чайную в обеденное время. Народу было много, все столики были заняты, но обеденное время кончалось, и места освобождались. В конце концов я оказался за своим столиком один. И вдруг среди столиков с причитанием: «Дай, родной, рубль, я тебе погадаю!» стала порхать пожилая цыганка. Кое-кто соглашался, и она ему гадала, но в целом улов ее был небогат. Народ

был в основном рабочий, проводил здесь обеденный перерыв и предпочитал истратить свой лишний рубль, если он завелся, на пиво, а не на посторонние цели. Неподалеку от меня сидел в компании высокий пожилой рабочий, по виду слесарь или крановщик. Она и к нему подкатилась:

— Дай, дорогой, рубль, я тебе погадаю.

Реакция его была мгновенной:

— Что?! Ты лучше дай мне рубль, я тебе погадаю!.

Все вокруг, кто слышал эти слова — а сказано было громко, и слышали многие, — захохотали.

Но цыганка отнюдь не была обескуражена — умение терпеть такие обиды входило в ее, как говорят в Штатах, *job description* — перечень необходимых для данной должности качеств и умений. И ее невозмутимость была вознаграждена — быстрым профессиональным взглядом окинув зал, она обнаружила... меня! Хотя и улыбающегося, но явно чем-то удрученного. Для того чтоб это понять, не требовалось ее профессиональной изощренности и психологизма. Это и урки углядели. Да и любой, кто обращал на меня внимание, это видел. А тут — профессионалка! И она тут же подлетела ко мне:

— Ах, милый мой, хороший! Плохо тебе, да? Дай рубль, я расскажу, какая печаль тебе сердце гложет. Не печалься, дай рубль — помогу!

«Помогу!» — это против тех сил, с которыми я должен был иметь дело! Только ее ворожбы тут не хватало. Впрочем, я уже и без того был готов к сопротивлению, ответил жестко:

— Я сам знаю, какая у меня печаль.

Но цыганку это не отпугнуло.

— Дай рубль, расскажу, что с тобой было, — зашла она с другой стороны. Но это уже была тавтология. И ответ мой был соответственным:

— Я сам знаю, что со мной было.

Далее она за рубль предлагала мне сказать, как меня зовут. Эта уловка в контексте этого диалога была уже совсем беспомощной. Она явно проигрывала, и мой ответ:

— Я и так знаю, как меня зовут, — мог быть вычислен заранее, дискредитировал прием. Но цыганка не сдавалась:

— Дай рубль, я расскажу, что с тобой будет.

Это, конечно, могло бы меня заинтересовать — будущее мое было более чем туманно. Но слишком от многих факто-

ров оно зависело, чтобы ассоциироваться с возможностями цыганки. И я ответил в том же духе:

— Доживу — сам узнаю.

Короче, мною были отбиты все ее заходы. Но поторопится тот, кто решит, что я выиграл это состязание. Ибо цыганка круто изменила тактику:

— Ну, вот ты какой! Ладно. Дай мне рубль, у меня дети голодные.

Это был другой разговор. Предположить, что ее дети не слишком сыты, было нетрудно. И я дал ей рубль, отдать рубль голодным детям совсем не то, что истратить его на идиотское гадание. И не это я считаю своим проигрышем.

— Вот ты какой хороший! — умилилась цыганка. — А раз ты такой, я тебе тоже бесплатно погадаю.

Гадание меня не интересовало, но я согласился. Решил, что она в благодарность хочет на прощание продемонстрировать мне свое мастерство — чтобы я на собственном опыте убедился в ее силе; каждому хочется убедить других в силе своего искусства. Мое благодушное любопытство было тут же наказано.

— Сожми правую руку в кулаке и положи ее на стол, — велела она.

И я подчинился — почему не положить кулак на стол?

— А теперь положи на этот кулак рубль и плюнь!

Начав починяться, я подчинился и этому. И тут произошло самое главное. Прежде чем я смог что-либо сообразить, она сгребла эту мою рублевку и запричитала:

— Правильно, молодец! И сейчас все выйдет... Только положи еще на кулак пятерку

Я уж было собрался класть и пятерку, но тут до меня дошло, что происходит. И я взревел:

— Пошла вон, старая карга!

Но она отступила не сразу (жалко было расставаться с уже почти побывавшей в руках добычей) и еще некоторое время пыталась меня успокаивать-уговаривать, но я посылая ее подальше в не менее энергичных выражениях. Это ее ничуть не расстраивало, но послужило для нее индикатором — она поняла, что добыча все-таки из рук ушла, больше с меня ничего не получишь, и придется довольствоваться двумя рублями. Тоже неплохо. Она спокойно убрала уже приготовленные карты в сумку и удалилась. Я был взбешен — так опростоволоситься! И все-таки мне было смеш-

но. И отчасти меня восхищала профессиональность обмана. Хотя использовать для обмана хорошие движения человеческой души, по-моему, все-таки перебор. Даже в этой странной цыганской профессии.

Но возмутился, посмеялся и забыл — мне тогда было не до того, чтоб разрабатывать кодекс цыганской чести. Тяжесть моя оставалась при мне, я продолжал висеть в воздухе. Как я уже говорил, до и после моего устройства на квартире. Впрочем, об этом устройстве и об этой квартире стоит рассказать отдельно.

Хотя устроился я просто — увидел объявление, отыскал по указанному в нем адресу дом (он помещался отнюдь не в «губернской», а в глубоко одноэтажной части города), договорился и переехал. Как раньше в Тюмени. И дом этот тоже был недавней постройкой. Но, к счастью, были и отличия, и весьма существенные. Начиная с того, что, переезжая, я тепло простился с приютившими меня на первых порах людьми и выслушал их сердечные пожелания. Ничего похожего, как, надеюсь, помнит читатель, в Тюмени не было. Но и сама квартира, и ее хозяева были другими. Они гораздо больше соответствовали типу тогдашнего застройщика. Были людьми вполне положительными, и комната, которую они мне сдали, была не пустая, а хоть и скромно, но вполне нормально обставлена. Какая была в ней мебель, не помню, но она была — как минимум кровать, стол и стул. В ней можно было спать, есть и работать. Большого мне, особенно после Тюмени, не требовалось.

Не помню ни названия улицы, ни номера дома, где я жил. Помню только, что где-то по дороге или рядом была улица Циолковского и его дом, превращенный в музей. Побывать в этом музее мне не привелось — мне тогда было не до музеев, — но мимо этого тоже одноэтажного коричневого дома с вывеской проходить мне случалось не раз.

Когда через десять лет, уже в другую эпоху, мне опять пришлось побывать в Калуге, все для меня там стало неузнаваемо. Я просто не мог в ней ориентироваться, и если бы даже у меня было время (а его не было — я приехал туда в большой компании литераторов по делам, связанным с выходом «Тарусских страниц»), я бы все равно не смог отыскать этот дом, я даже не знал, в каком направлении его искать — так все переменялось. Может, его к тому времени уже и не было — снесли, а хозяевам предоставили другую

жилплощадь в новостройке — «хрущобе». Все может быть. Я не сужу. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, что снесли. Я только говорю, что в городе не осталось никаких следов нескольких нелегких, но памятных месяцев моей жизни.

Жизнь моя в Калуге, как я уже здесь предупреждал, не задалась — вскоре я вынужден был оттуда уехать. Но произошло это отнюдь из-за квартирных условий или квартирных хозяев. Если бы не экстренные обстоятельства, о которых речь впереди и к которым хозяева мои не имели никакого отношения, я мог бы там прожить и дольше. Правда, без всякого смысла — устроиться мне бы не удалось. Так что в каком-то смысле эти «обстоятельства» были даже к лучшему — раньше уехал. Но и к моему неустройству мои хозяева не имели отношения.

С ними, скажу наперед, у меня сразу установились и все время сохранялись, может быть, не слишком близкие, но вполне нормальные и ровные отношения. Были и две мелкие шероховатости (о них чуть ниже), но обе быстро уладились и не имели последствий.

Между тем людьми они были порядочными и — по крайней мере для меня — занятыми. Особенно хозяин. Его жена (назовем ее Лидой, ибо настоящее ее имя я забыл) была женщиной молчаливой и не очень доверчивой. Обе шероховатости произошли исключительно в связи с ней.

Первая была смешная. Время от времени они уезжали дня на два — на три погостить к ее родным (кажется, и к собственному ребенку, который у них воспитывался) — куда-то, кажется, под Сухиничи. И вот, впервые при мне уезжая, они — явно по ее инициативе — захотели «для верности» увезти с собой и мой паспорт. Чтобы я — мало ли что бывает? — ненароком не удрал, предварительно «очистив все в доме». Вряд ли я лично внушал ей такие подозрения — для этого требовалась не только безнравственность, но еще и некоторая лихость, с которой я вряд ли ассоциировался даже в ее сознании — душой не была. К тому же те, кто «очищает» квартиры, паспортами и пропиской не дорожат: могут оставить паспорт и обобрать квартиру. Наверное, это было понятно и ей, но мрачное недоверие, которое в ней жило, было сильнее ее разума. Впрочем, сама она мне этого требования никогда не предъявляла, а подсылала своего мужа Лешу (его имя я запомнил), который в этом отношении был у нее «под каблуком». В первый раз это меня

рассмешило, и я эту его просьбу легко удовлетворил. Но во второй — это, кажется, было на Первое мая — отказался. У меня появились приятели, которые объяснили мне, что это совсем не смешно, что паспорт надо всегда иметь при себе и что отдавать его в чужие руки не только нелепо, но и запрещено. Конечно, все это повлияло на мое решение. Но еще больше просто то, что за это время мы с ними достаточно узнали друг друга, чтобы такие подозрения не возникали. Они уехали без моего паспорта. И вот что произошло. Собственно, для меня тогда, да и вообще ничего особенного. Ибо смысл происшедшего дошел до меня только сейчас, когда я стал писать об этом эпизоде. А тогда это выглядело так.

Появившиеся приятели по случаю праздника все куда-то исчезали, а я сидел дома и выполнял «негритянскую» работу, которую достали для себя и друзей Ляля с Борисом: переводил (точнее, перерабатывал подстрочник, но это у нас и называлось переводом) выделенную мне часть румынского социалистического романа «Митря Кокорь». Автор, фамилию которого я забыл, считался, как мне сказали, румынским учеником Горького, но от Горького, как к нему ни относиться, в романе не было ничего. Это был скучный, схематический (при любом идеологическом настрое) рассказ о том, как румынскому солдату-крестьянину подфартило попасть в советский плен, там просветиться и вернуться домой строителем новой жизни.

Увлечь эта работа не могла, а весной, да еще в праздники, одиночество особенно тягостно. И вдруг (было это, видимо, второго мая) появился Леша. Причину своего преждевременного появления он не объяснил, да она меня и не интересовала. Я искренне обрадовался ему как живой душе. Он тоже — вероятно, тому, что вырвался из-под опеки жены. Сгоряча он даже предложил «пойти по бабам». Я в этом деле был не мастак, но согласился. Пошли мы в какую-то парикмахерскую, где у него были знакомые женщины. Встретили они его хорошо, но на закидоны не отозвались. Может, он не был достаточно настойчив — что касается меня, то я «молчал как рыба». Потом мы с ним купили водки и какие-то консервы, пошли домой и там и выпили. Немного. Никто из нас не был пьян. Но это был первый и единственный раз в моей жизни, когда мне от выливки стало легче на душе — пивал я для общей атмосферы веселья и

дружества, для общения и разговора, но не для облегчения. А если и пивал с этой целью — не получалось. А тут — получилось. На следующий день приехала Лида, и все пошло, как шло. И только сейчас я догадался, что приехал Леша раньше на день только потому, что Лида выслала его вперед, что все было беспокойно — ей мнилось, что вот она здесь прохлаждается, а в это время я выношу из дома последние пожитки. Еще бы! — чужой человек, да еще и «тюремщик» (так часто в народе ругали людей, побывавших в тюрьме), один в доме!

Вторая «шероховатость» была, к сожалению, менее невинной. Когда я у них поселялся, мы договорились, что платить я им буду весной и летом двести рублей, а пока зима — двести пятьдесят: пятьдесят за отопление. За точность этих цифр не ручаюсь, но разница была именно в пятьдесят рублей. Это было их условие, и я его принял не торгуясь. Наступила весна, топить перестали, но они про эти пятьдесят ничего не говорили, и я безропотно платил по-прежнему. Заговорил о них Леша — в тот день, когда мы с ним выпили. Он сказал, что теперь весна и поэтому платить мне теперь надо на пятьдесят рублей меньше. Видимо, и раньше испытывал некоторый дискомфорт по этому поводу, а теперь расчувствовался. Повторяю: пьяным он как и не был. Я отнесся к этим словам как к естественным — ведь они соответствовали уговору. И через несколько дней, отдавая Лиде очередную месячную квартплату, я, сославшись на эти слова, отдал ей на пятьдесят рублей меньше. Об уговоре она тоже знала.

Вечером ко мне вошел Леша и довольно скандальным тоном стал выговаривать, чтоб я бросил свои еврейские штучки — выдумывать, что мне выгодно, что он ничего такого не говорил, и далее в том же духе. Я ему ответил, что ничего не выдумал, но что если они считают, что я должен круглый год платить «зимнюю» плату, то так и будет. Поскольку ничто другое ни Лиду, ни тем более Лешу в данном случае не интересовало, скандал не разгорелся, и все вошло в свою колею. Случай этот неприятный, осадок от него у меня остался, но я и теперь считаю своих тогдашних хозяев хорошими и честными людьми. Кстати, и передумать они имели право — объявить мне о том, что летнее снижение отменяется, что оно не соответствует местным

ценам. Я бы не спорил. Но надо было сказать, а не контра-таковать, не дожидаясь атаки.

Не скрою, мне было тяжело и неприятно. Но пришлось проглотить обиду — деваться-то ведь все равно было некуда. Впрочем, отношения почти сразу выровнялись, больше ничего подобного не повторялось. Никакого нахрапистого стяжательства они не проявляли — в них его не было. Ведь они и вправду были честными людьми, никого обманывать не собирались. А тут — просто бес попутал бабу — видимо, одно дело абстрактный уговор, а другое — вдруг получить в руки на полсотни меньше, чем уже привыкла. Не выдержала. Конечно, и порча сказалась — когда Леша (пусть только «волею пославшей его жены») попер на меня с антисемитской демагогией. Порча было не в антисемитизме (антисемитом Леша не был — его это просто не занимало), а именно в демагогии, в стихийной прирученности для подкрепления позиции использовать что угодно в качестве подручного средства. Я всегда говорил, что в области демагогии любая советская бабка, пишущая заявление в собес, заткнет за пояс многих членов палаты общин.

Осадок, который остался от этого разговора, вскоре растворился. Никаких дурных чувств я к ним не питал и не питаю. И меньше всего хотел бы их здесь «заклеймить». Они этого не заслуживают. Да и пишу я не о них, а о вздыбленном времени, бессмысленно отрывавшем людей от природных корней, и его гримасах — о том, что пришлось пережить и передумать мне.

А о самих Леше и Лиде я сохраняю добрую память: и о нем, и даже о ней: для нее, кстати, существовало смягчающее вину, хоть и смешное обстоятельство, о котором я знал, но расскажу чуть ниже. Причем не простую память, а и благодарную. За что? Да просто за то, что они меня выручили в трудный момент — не просто пустили меня, «тюремщика», на квартиру и держали, несмотря на фантастические опасения, не просто относились хорошо и нормально (описанная «шероховатость» — исключение), но и приняли участие в моей прописке, в легализации моего существования. Но это уже отдельная история.

Как, надеюсь, помнит читатель, прописка в Калуге мне вовсе не была гарантирована — она зависела от «усмотрения». «Усматривать», как выяснилось, должен был начальник отделения милиции. Выяснилось просто: когда нако-

нец я пришел с домовою книгой в милицию, паспортистка взглянула на мой паспорт и, не входя ни в какие рассуждения, сказала:

— Вам надо зайти к начальнику. Второй этаж.

Я поднялся на второй этаж, постучался в нужную дверь и вошел. За столом сидел офицер милиции с лицом, излучавшим одновременно и доброту, и свирепость. Причем свирепость была одновременно и напускной, и доминирующей. По-видимому, он считал ее соответствующей должности. Он выжидательно взглянул на меня, но только я успел протянуть ему свое заявление и паспорт, зазвонил телефон, и я стал свидетелем отнюдь не секретного, вообще не служебного, но очень примечательного разговора.

Разговор шел о марксистской философии. По-видимому, звонил кто-то, кто так же, как этот его собеседник, посещал в том же «добровольно-принудительном порядке» занятия в вечернем университете марксизма-ленинизма. Не уверен, так ли это тогда называлось — в разные годы это именовалось по-разному, — но сути это не меняет и заботы это порождало те же. Я не помню ни одной реплики из этого разговора, но дело и было не в репликах, не в отдельных высказываниях, а в самом тоне. Говорили эти собеседники о том, как им трудно справляться с этой премудростью. При этом называли споры на съездах, где, с одной стороны, все было понятно: враги, проникшие в партию, подло выступали против Ленина и Сталина и получали достойный отпор по всем вопросам. Это было понятно. Непонятно было только, в чем состояли эти вопросы и в чем заключался отпор. А если вдруг становилось понятным, то почему-то не удерживалось в памяти.

Нельзя сказать, что оба собеседника не чувствовали юмора этой ситуации (судя по ответным репликам, тот, который был на другом конце провода, — тоже), но ирония их относилась, конечно, не к тем, кто принудительно потчевал этой схоластикой, а к себе самим, неспособным по темноте справиться с такой высокой премудростью. Наоборот, они чувствовали некоторую польщенность от соприкосновения со столь высокими и недоступными для них материями. Особенно когда разговор коснулся камня преткновения многих — знаменитого второго параграфа четвертой главы не менее знаменитого «Краткого курса истории ВКП(б)» — «О диалектическом и историческом мате-

риализме». По преданию (в которое, несмотря на все фальсификации и огрубления этой главы, все же верится с трудом), этот параграф написал собственноручно Сталин. Тут верноподданное восхищение своей непонятливостью и ирония по отношению к себе достигали наибольших высот: ну конечно, где нам возвыситься до мудрости Сталина — он философ, ученый, мудрец!. Где уж нам...

Приятно быть под началом человека, мудрость которого непостижима — таков был подтекст всего этого разговора. Странного? Нет, обычного для многих в то время — потому я и говорю о нем здесь.

Но делаю я это не для того, чтоб посмеяться над его «серостью». Конечно, его рассуждения о трудностях философии и истории вызывают улыбку. Но ведь не сам же он влез в эту чуждую ему премудрость. Самому бы ему и в голову не пришло ни думать, ни говорить об этом. А если бы интересовался, знал бы, что это такое, и говорил бы несколько иначе. Но люди, которых он уважал, регулярно всовывали ему в руки камень и авторитетно уверяли, что только это и есть хлеб (философия, история, культура и мысль вообще) и что он к этому приобщен. Другими словами, развращали, соблазняли его. На его работе в милиции это сказывалось мало — ловить уголовников и противодействовать хулиганам он мог и без грамотного представления о философии. Но его могли бы на примере той же подготовки послать и культурой руководить — дескать, ты, дорогой товарищ, человек преданный, мы тебе доверяем. И культуры все же кое-какой поднабрался, а остальное на практике доберешь — не бойся, не боги горшки обжигают. Так превращали живых, по природе совсем неплохих людей в бессмысленных гомункулусов. Это многих торный путь. Некоторые до сих пор воюют за утраченные позиции, за золотое время, когда на основании «верности» (неизвестно кому и чему) можно было руководить чем угодно. Теперь у них есть даже доказательство своей правоты: «вот видите, без нас все развалилось». И никогда им не понять, что они (точнее, ими) все и развалили — теперь только обрушилось. Обрушился сук, на котором все сидели, а они из некомпетентной преданности подпиливали. Надеюсь, что с этим начальником ничего такого не произошло, что он так и остался в пределах своей компетентности...

Между тем долгий его телефонный разговор наконец кончился, и он просмотрел мои документы: паспорт и «справку об освобождении». Домовая книга его интереса не вызвала.

— А хозяин твой где? — поднял он на меня глаза.

— Дома, — ответил я удивленно. Был уже вечер, и Леша действительно был дома.

— Пусть придет с тобой — я хочу с ним поговорить. Тогда и решу...

Я не убежден, что он обращался ко мне именно на «ты», но если и обращался, то не от хамства — это просто была манера обращения с более молодыми, а я был существенно моложе его.

Леша быстро собрался и пошел со мной. Принял нас начальник сразу и сразу же стал брать быка за рога.

— Так, значит, пускаешь его к себе квартирантом? — строго спросил он.

— Да, — ответил Леша. — Поиздержались на строительстве.

— Знаешь, кого пускаешь? — еще строже спросил начальник. Словно можно было, нуждаясь в деньгах, пускать на квартиры только близких или хорошо знакомых людей. Тут чаще всего приходилось доверять личному впечатлению. Но начальник игнорировал это, вероятно, и ему понятное обстоятельство.

— Так, человек вроде ничего, — отвечал Леша, взглянув на меня. — А что?

И тут началось самое главное. Предостережение, но отнюдь не политическое.

— А что? — свирепо переспросил начальник. — А то, что если он тебе весь дом очистит, ко мне за помощью не приходи!

Я опешил и стал протестовать, но начальник от моих протестов отмахнулся. Но Леша незаметно дал понять, чтоб я, как теперь говорят, «не возникал». Судя по всему, сообщенная начальником информация не произвела никакого впечатления — слишком много он перевидал людей и знал им цену.

Но эта «информация» произвела, видимо, очень большое впечатление на Лиду, когда Леша, скорее всего, для смеха рассказал ей об этом предупреждении начальника. Видимо, сработал авторитет начальника милиции — дес-

кать, такой человек зря болтать не будет. Наверное, лучше нас, серых, понимает, с кем имеет дело. Вроде непохоже, но чужая душа потемки. Нет дыма без огня — так или почти так ей, наверное, временами мыслилось. Как понял читатель, эта «информация» и есть то смягчающее Лидину вину обстоятельство, о котором я упомянул чуть выше. «Тюремщик», который мог квартиру обчистить, мог и с квартплатой смухлевать.

Но на самого Лешу, как я уже говорил, эта «информация» никакого впечатления не произвела. Он просто понял, что вдруг возникло препятствие, которое надо преодолеть (видимо, я его как жилец вполне устраивал), и почувствовал, как это надо сделать. Поэтому, дав мне знак помалкивать, он изобразил непритворное удивление, близкое к ужасу.

— Да что вы говорите! — вскричал он. — Неужто так? А я не знал! Вроде непохоже.

— То-то, непохоже! — продолжал поучать довольный произведенным эффектом начальник. — Я вот партизанил в войну — иногда смотришь и глазам не веришь. Такой человек — никогда б не подумал... А вот глядишь, и все правда.

Какая была связь между тем, как менялось поведение многих людей в оккупации и моей предполагаемой склонностью очищать квартиры (не вытекавшей не из чего, даже из документов), о коей многоопытный отец-командир предупреждал неразумного Лешу, понять трудно. Просто в его сознании все, о ком ему твердили: кадеты, монархисты, либералы, экономисты, бундовцы, социал-демократы, отзовисты, ликвидаторы, эмпириокритики, белогвардейцы, оппозиционеры правые и левые и все, с кем он имел дело: полицаи и уголовники, смешались в одну — не разбери-поймешь — враждебную кучу. К сожалению, не только в его голове — так и учили, чтоб оставалось такое впечатление. Учили от имени Сталина. И как он мог не верить Сталину? Ведь ему самому пришлось партизанить в калужских лесах, когда здесь хозяйничали немцы, а потом мы со Сталиным взяли Берлин. Что со Сталиным и из-за Сталина мы оставили Калугу, было выше его разумения. Только ли его? И с него ли спрос?

Но это опять более поздние размышления, хотя основаны они на тогдашних ощущениях. Леша, естественно, был занят не этим, а поисками верного тона разговора с этим

человеком. Вернее, тем, чтобы с этого тона не сбиться — ибо верный тон он взял сразу, инстинктивно. Это был тон бравого сержанта, почтительно выслушивающего поучения командира... Он почтительно внимал, ужасался и время от времени восклицал:

— Да что вы! Спасибо, что предупредили! Конечно! Буду знать! Буду теперь смотреть в оба!

Это за тем, чтобы я не обчистил его дом. А я, оглушенный всем этим, стоял рядом и не знал, куда деваться. Под это ручательство «усмотрение» начальника решилось в мою пользу — начальник подписал разрешение на пропуску. Леша был очень доволен собой.

— Видал, как я с ним! — удовлетворенно сказал он мне, когда мы возвращались из милиции. И потом добавил: — Мужик он неплохой — к нему только подход надо иметь.

Леша этот «подход» нащупал и был собой доволен. Что делать, был этим доволен и я — перестал хотя бы в этом отношении висеть в воздухе. Все мы были жертвами этого извращенного и извращающего времени — и Леша, и я, и сам «неплохой мужик». Ведь он и вправду был неплохой, но сколько зла натворили и творят такие «неплохие мужики»! Такая была жизнь.

Кстати, о «неплохих мужиках». Как раз сейчас я читаю очень ценную книгу бывшего начальника архивной службы при президенте РФ Р.Г.Пихоя «СССР. История власти (1945—1991)». И как раз вчера (3 ноября 1999 г.) наткнулся на цитаты из выступлений работников МВД (фактически МГБ — в тот короткий период их ведомство было слито с МВД) на партийном собрании, посвященном решению ЦК КПСС по разоблачению Л.П.Берии. В архивах сохранился многостраничный отчет об этом собрании, сделанный специально для Н.С.Хрущева, из него и взяты цитаты.

Такие собрания шли по всей стране, и чем бы ни было на самом деле это «разоблачение», воспринималось оно повсюду как шаг к «дальнейшему искоренению беззаконий недавнего прошлого» — для простоты можно обозначить это и так. Повсюду, но не в центральном аппарате ведомства, руками которого эти беззакония творились. Тут снятие Берии было воспринято однозначно — как возвращение к счастливым временам, когда их ведомство, давно уже превращенное Сталиным в свои личные когти, было неприкасаемо. Неприкасаемо, конечно, только снизу — сверху

Сталин имел обыкновенное время от времени свои когти подстригать, но с этим воспитанные им «неплохие мужики» (во всяком случае, пока их самих не касалось) мирились как с чем-то непостижимо нормальным. Непостижимо было ведь все, к чему они привыкли — все, что они говорили и что делали, что обусловило их взлет на «зияющие высоты» (выражение А.Зиновьева). И на этом собрании они возвращали эти «высоты» себе и жизни. Скажем прямо, обстановку они оценили неверно, положение не стало нормальным, но к «ихнему» заплечных дел раю жизнь не вернулась. На радостях они в своем кругу попытались реабилитировать «процесс врачей». Не умели понять, что поворачивать к нему обратно никто не собирается — просто у Берии по сталинскому обычаю отберут заслугу в его разоблачении и припишут ее себе. Но, проводя это собрание, они этого еще не знали и пировали духом (нечистый дух — тоже дух). Длился этот «пир» больше недели — с 11 по 18 июля 1953 года, и выступило на нем более чем 1600 человек.

Интересна их аргументация. Они теперь не утверждали, что врачи отравляли, но, оказывается, как они утверждали, профессора Вовси и Коган допускали антисоветские высказывания. Допустим, такие высказывания имели место, примем на минуту совковую логику и согласимся, что это плохо и требует возмездия... Допустим. Но ведь их обвиняли не в этом, а в том, что они сознательно отравляли людей, и выбивали признания, подтверждающие это бессмысленное обвинение. Однако они говорили о незаконности реабилитации этих врачей с неподдельным пафосом. И даже всерьез предлагали обратиться в ЦК с просьбой отменить это «злодеяние Берии». Эта искренность трогает меня больше всего.

Да, я утверждаю, что почти все эти люди в прошлом такие же «неплохие мужики», как и этот калужский милиционер. Так же приученные к почтению к тому, что им внушают, к усвоению без понимания, и руководствоваться этим, выполняя и освящая в своем сознании любую, даже самую дикую волю начальства. Ибо во главе этого начальства стоит гений и корифей наук (к концу жизни и языкознания), легко постигший все трудные для них премудрости, к которым, как и к управлению государством, он общается и их. Правда, все эти отзовизмы-эмпириокритицизмы так и остаются им непонятны, но тем ярче сияет в их

глазах его гениальность. И надо быть преданным, и тогда все эти не совсем понятные слова: «троцкизм», «сионизм», «вейсманизм-морганизм» и прочие «наплевизмы» станут понятны. Ибо на практике они означают собачью команду «Фас!». Что ж, они люди дела, а не слов. Они были не только блюстителями, они были носителями и воплощением культа и «культового» сознания. Они нуждались в Сталине не меньше, чем он в них, — только он понимал смысл того, что они творили. Казалось, что и соратники, а они вон что сотворили. Но с исчезновением Берии появилась надежда, что они опомнились.

И они взбодрились: на этом собрании кто-то даже пытался представить компромат на одного из начальников, представителей «нового веяния». Он — подумать только — посмел сказать о Троцком, что тот был «великим оратором» и «организатором»! Представление, что «иудушка Троцкий», общепризнанный (в СССР) изначальный шпион и предатель (о котором они знали еще меньшее, чем об «эмпириокритицизме»), мог при этом быть оратором и организатором, было для этого сталинского гэбиста по определению преступным. Нормальному мышлению этого не понять. Я, например, отношусь к Троцкому резко отрицательно, очень его не люблю, не уважаю и считаю преступником (только не шпионом: это нелепость; и не предателем — своему страшному делу он был предан до конца), но вот оратором и организатором я его при этом спокойно признаю. Но для мира ритуальных табу, в котором эти люди воспитались и действовали, на страже которого поручены были стоять, такое отношение разрушительно — не менее, чем сам он разрушителен для жизни. Но поскольку они полагали, что восстанавливается «их время» (по их представлениям, сама нормальная жизнь, с которой ничего произойти не может — покачнулось и встало на место), эти слова их начальника опять стали выглядеть убийственным компроматом, ритуальным преступлением. Но они ошиблись во всем — жизнь не была нормальной при них, не стала потом, до сих пор качается, но в то положение, которое они считали исходным, она возвращается и не думала. Троцкий оставался партийным бякой, но шпионом быть перестал и теперь вполне мог быть признан организатором и оратором. Их мир рушился. Хотя по-настоящему он не разрушился еще до сих пор.

Но здесь я рассматриваю вопрос не так широко. Просто я увидел вдруг, что проблема «неплохих мужиков» — тоже часть общей трагедии, и поделился этим с читателем.

А тот калужский начальник, надеюсь, не дорос до таких вершин, откуда неприятно падать, так вот и занимался своим реальным и полезным делом — ловил воров и грабителей, следил за порядком на улицах...

Правда, ни с того ни с сего авторитетно объявил человека домушником — так ведь как-то должны были сказать на нем «эмпириокритицизм», диалектика и поклонение товарищу Сталину. Но все-таки не так страшно, как на его «товарищах по классу» с Лубянки.

Я вовсе не думаю, что он был глуп. Не был, как не был зол. Конечно, встречал я людей и поумнее, и не только среди интеллектуалов (кстати, интеллектуальность не гарантия ума), но и среди самых простых. Думаю, что гораздо более умным человеком — отчасти потому, что жил вне «эмпириокритицизма» — был Леша. Как-никак он его сразу определил, понял и нашел «подход».

Вообще он знал и понимал людей (в случае со мной он уступал жене, а не действительно боялся, что их «обчищу»), этому способствовал его род занятий. Он знал и понимал жизнь хорошо, хотя, конечно, понимал «снизу» — ту, в которой вращался. А профессия у него была странная, почти анахроничная. Если бы я его не встретил, я бы до сих пор не знал о ее существовании в наше время. Но она была как раз по нему — видимо, он ее выбрал по тому же инстинкту, как и верный тон разговора в милиции — дано было такое чутье человеку. Он был — не знаю, как это называлось официально — перегонщиком скота.

Оказывается, существовала государственная организация, которая этим занималась — в ее штате Леша и числился. При мне (это значит зимой и в начале весны) он наведывался в свою контору только изредка — по-видимому, настоящая работа была у него только в летние и осенние месяцы. За это время он должен был заработать на весь остальной год. И, судя по всему, зарабатывал. Думаю, что все начальства, занятые высокими планами и подготовкой к завоеванию мира, не очень замечали эту богоспасаемую контору. Ведь она помещалась между двумя горящими планами — планом мясозаготовок и планом производительности труда на мясокомбинате. Не думаю, что и сама контора

очень стремилась попадаться на глаза — перегоняла, что поручали, и скрывалась из виду. Вряд ли в ней часто случались орденосцы или герои труда, но неплохо зарабатывали по договорам. А может быть (но это только мое предположение), и еще чем-то по дороге прирабатывали. Ведь люди там, судя по Леше, работали разворотистые, ухватистые — да другие бы и не справились с такой морокой. А такие не очень склонны себя забывать, да и с какой стати? Если даже начальство об этом знало (и это имело место), то закрывало на это глаза — кто-то ведь должен был выполнять эту невидную, необходимую, но невероятно трудную работу (но это только мое предположение), она незаметна, но ее невыполнение почувствуешь!

А уж с этой работой, прогоняя скотину, в сущности, по всей стране и везде вступая в отношения с людьми, узнаешь жизнь. «Снизу», но вполне достаточно. К тому, что сверху, Леша особого интереса и не испытывал: опасно и черт ногу сломит.

Хотя именно от него я впервые услышал о знаменитом теперь «деле» Еврейского антифашистского комитета. Я, конечно, знал об аресте видных деятелей еврейской культуры, но не знал, какую липу им шьют. Не узнал и от Лешы. Ибо до Лешы дошли слухи только о том, о чем я вообще не слышал — о дочернем ответвлении этого «дела». Я имею в виду арест группы евреев, занимавших разные ответственные посты на Автозаводе имени Сталина. Леше рассказал об этом встреченный им где-то (кажется, в Бенине) инженер с автозавода. Что этот арест связан с делом ЕАК, как и самим этим «делом», я узнал много позже. Но интересно, что рассказал этот инженер Леше, а Леша мне. Оказывается, эти автозаводцы — участники грандиозного заговора с опорой, конечно, на Америку, с целью то ли еврейской власти, то ли эксплуатации евреями всех русских.

Но я сейчас рассказываю не об истории антисемитских процессов, а о Леше. Интересно не само «дело», а его восприятие Лешей. На детективную сторону этого злодейства он почти не обратил внимания. Заинтересовали его только своекорыстные мотивы их деятельности — обратить все в свою пользу. Это вызывало его любопытство и, если можно так выразиться, понимание. Ему эти мотивы казались разумными, нормальными. То есть он отнюдь не собирался уступать этим мифическим евреям. Мы тоже не дураки, нас

это не устраивает, и правильно, что их похватали. В общем, направленность была не «Какие гады!», а «нас не проведешь». Конечно, мне могут сказать, что какой же он умный, раз верит такой чуши? Но многие ли могли противостоять лжи, исходящей из уст самого государства — особенно если она их непосредственно не касалась?

Нет, я не расположен осуждать Лешу — ни за это, ни вообще. И да не уловит читатель в моих суждениях о делах материальных и тени осуждения — ее не было даже тогда. Я рад за всех, кому удавалось урвать свое у власти, отбিরавшей все. Да и что он урвал? В крайнем случае домик, в котором жил с женой. Конечно, постройка домика требовала средств, практически непосильных для нормального человека. Но не факт, что он их «урвал» — ему их, возможно, могла дать его богоспасаемая «внеплановая», тяжелая, но денежная работа, да и родители — его или жены — могли помочь. А если не могли, что тогда ему было делать? Работать? А он ведь работал. И тяжело, и если на это нельзя было обеспечить себя жильем — что было ему делать, если не урывать? — где-то ему с Лидой жить надо было. И не у людей же он урывал (если урывал). В этом, как я уже отмечал по другим поводам, и была суть естественного и стихийного, справедливого и... разрушительного для общественной морали народного сопротивления. И если Леша действительно участвовал в таком «сопротивлении» (а я все-таки думаю, что маленько и поучаствовал), то я его несколько не осуждаю, а с горечью ему сочувствую.

Кстати, никакого другого богатства я у Лешы с Лидой не видел — достаток был самый средний для того времени. А по сравнению с нынешними урывателями... Короче, я рад, что встретил их на своем пути. Ну и хватит об этом, тем более что жилье должно и могло быть условием моей жизни в Калуге, а не всем в жизни. Для жизни — да просто для выживания — нужно было еще многое.

А что было? Ничего более серьезного, чем упоминавшийся случайный перевод с румынского. Да и он был связан не с Калугой, а с моими поездками в Москву. Весьма частыми, так что опытная конспираторша тетя Роза даже тревожилась:

— Ты пойми, это ведь Москва. Тут люди месяцами не встречаются друг друга. И если тебя встречают раз в две-три

недели, то у них создается впечатление, что ты никуда не уезжаешь, а просто живешь в Москве.

Если бы у кого-то создалось такое впечатление и оно бы дошло до Лубянки, то мне бы по тем временам несдобровать — это я и сам знал. Но долго высидеть в Калуге все равно не мог — мне там просто нечего было делать. Мои надежды на книготорг лопнули довольно быстро — как только я попытался их реализовать и официально заявил о своем желании сотрудничать с этой «секретной» организацией. Мне там сказали, что подумают день-два, а потом отказали — работа считалась идеологической и требовала политического доверия, которого мне, естественно, не могло быть оказано. Театр абсурда, ставший законом жизни.

Но тогда мне было не до таких обобщений. После этого отказа я должен был бы сразу уехать из Калуги — дальнейшее мое пребывание в ней становилось бессмысленным и бесперспективным, — но ехать мне тоже было некуда. Оставалось только одно — предаться легкомыслию, жить и действовать в расчете на то, что авось что-нибудь случится. А нелегко предаваться легкомыслию, пребывая в состоянии тяжелого одиночества. И я стал налаживать литературные связи. Не для дела — для души. И наладил. Вопреки конспиративному опыту моей тети именно эти местные связи, а не мои поездки в Москву кончились для меня плохо. Впрочем, как я теперь понимаю, не очень плохо. Да, они вынудили меня спешно покинуть Калугу, но это мне все равно рано или поздно пришлось бы сделать. Даже вырвавшись из одиночества, нельзя было так болтаться слишком долго. А раз так, то — чем раньше, тем лучше. Я об этом потом никогда не жалел. Тем не менее благодарности к тем, из-за кого я вынужден был это сделать, не испытываю.

Но об отъезде и его причинах — чуть позже. А пока — о самих этих связях. Прежде всего как их завязал? А очень просто — однажды решил и зашел в редакцию областной газеты. Не помню только, партийная она была или комсомольская*. И была ли вообще в Калуге комсомольская газета? Но я пришел в редакцию. Там я спросил, куда обращаться со стихами, и мне показали кабинет, куда мне надо

* Тогда каждому областному городу обязательно была положена одна газета — партийная, орган обкома партии. Но часто бывала и вторая — комсомольская, орган обкома комсомола. И это все. Как было в Калуге, не помню.

зайти. В кабинете за столом сидел худошавый молодой человек примерно моего возраста, но с усами — Николай Панченко (кажется, эта фамилия значилась и на дверях кабинета), в будущем известный поэт. Тогда же это имя я встречал только под стихами в его газете. Конечно, стихи были «газетными», но все же за ними чувствовался литературный опыт и грамотность. И намекали они на возможность у этого автора других стихов — так и оказалось.

Не помню, как у нас начался разговор, но помню, что очень быстро. По-видимому, я представился, немного рассказал о себе, а дальше пошло. В молодости, да еще при общих интересах, это естественно. Ни о чем особенном в этот первый раз мы не говорили — просто обменивались представлениями о поэзии: Пастернак, Твардовский, Межиров, Гудзенко, Наровчатов и другие. Его интриговало то, что со всеми, кого мы называли (кроме Пастернака и Твардовского), меня связывали те или иные личные отношения (через несколько лет чаша сия не минует и его) — молодые мы еще были.

Я стал заходить к нему. Кажется, даже стал посещать занятия литобъединения. Там или просто через него я познакомился со многими другими пишущими людьми. Собирались и на частных квартирах, толковали, спорили... Там у кого-то в гостях я познакомился с начинающим прозаиком Петром Проскуриным. Потом он стал известен. О нем и его творчестве среди тех, с кем я обычно общаюсь, сложилось устойчиво отрицательное мнение. Я не могу его ни поддержать, ни опровергнуть, ибо, к сожалению, никогда не читал его произведений или выступлений. Его относят к крайне националистическому лагерю, к шовинистам и антисемитам. Если так, значит он сильно изменился. Такое бывает, когда человек замахивается на то, что ему не по плечу, он ощущает себя обойденным и часто (но тоже не всегда) приходит к такому объяснению своих неудач и к такой активности. Какой сук Проскурина по плечу, на что он замахивался и что из этого получилось — не знаю. Так же как ничего не знаю ни о его поведении, ни о каких-то совершенных им лично конкретных низостях. Это не значит, что таких не было, но значит, что я о них не знаю. Мне известна только его репутация. А на одной репутации я основывать свое отношение боюсь. Ибо репутация — вещь нена-

дежная. Часто она зависит от случайных безответственных «веяний» и аналогий.

Я никогда не забуду, что на вечере в ЦДРИ, посвященном памяти Федора Абрамова, из всей российской либеральной интеллигенции присутствовали только три человека: ее организатор и ведущий Борис Можаяев (теперь уже тоже покойный), вдова Абрамова Люся и аз многогрешный. Еще можно причесть моего друга, профессора-геофизика Марка Бердичевского, который меня по моей слепоте сопровождал. Но Люся приехала из Питера, а я и вовсе из Бостона — так что, выходит, всю московскую либеральную элиту представлял один Можаяев! Может, был там еще кто-то, кого я не знал, но таких явно было немного. Какие же веяния и аналогии запудрили мозги всех остальных, на каком основании сочли они возможным презреть память большого русского писателя и гражданина? С тех пор никаким репутациям я не доверяю. Это относится и к репутации Проскурина. Кстати, Булат Окуджава, знавший Проскурина по Калуге, счел возможным посвятить ему одно из своих стихотворений. Разумеется, и это ничего не доказывает. Но я ведь ничего и не утверждаю. Я только рассказываю о том, как в 1951 году жил в Калуге, где и когда мы с ним только и встречались, точнее, встретились — раз или два. Тогда он произвел на меня хорошее впечатление: умный, серьезный, вдумчивый, доброжелательный. Общаться с ним было приятно. Не так у меня там много было таких встреч, чтобы эту забыть.

Помню еще одного молодого парня, поэта из глубинки и литсотрудника районной газеты. Помню, как в духе времени (точнее, в духе, навязанном времени) искренне верил в свой местный «приоритет» — доказывал, что какое-то изобретение или открытие прошлого века, имевшее мировое значение, было впервые сделано в их районе. Правда, мои возражения он выслушивал спокойно, не подозревая меня по этому поводу ни в сионизме, ни в общей враждебности к русскому народу.

Говорили мы в основном о литературе. Но, говоря о литературе, трудно игнорировать жизнь — ее историю и настоящее. А и то и другое было делом засекреченным, точнее сказать, табуированным, а рассекречивание его, касание этого табу — криминалом. Но интерес к этому — сознательный и подсознательный — был жгучим. Человеческое

сознание не может мириться с перманентной прострацией и стихийно стремится вырваться из-под ее власти. Поэтому так или иначе разговор соскальзывал на это. В истории последних десятилетий я был осведомлен больше других и иногда это проявлял. Для некоторых то, что я говорил, было непривычно. Ничего, слушали. Иногда с недоверием, но всегда с интересом — страшно было взвалить на себя тяжесть такого знания. Даже (а может, особенно) внутри ленинизма. Кстати, именно на это было прежде всего нацелено МГБ. Это было тогда опасней всего. Но поначалу все мне сходило.

Я отнюдь не был в этом одинок — не только в Калуге, но и в Калуге. Некоторые это (не все, а, как и я, только «это» — в советских рамках) и сами понимали: и тяжесть лжи, и общее неблагополучие. В Калуге, в том кругу, где я оказался, такими людьми были молодые инженеры Павел (Паша) Опилев и его прелестная жена Катя. С ними я и подружился ближе, чем со всеми. Оба они светились какой-то чисто русской, неотъемлемой, почти совсем не сознающей себя чистотой и благородством. Надеюсь, что они еще живы (если они и были старше меня, то ненамного), но по суматошности своей жизни я потерял их из виду. Однако никогда их не забывал, всегда хранил теплую и благодарную память о них. Их дом был для меня родным, я приходил к ним часто, чтоб отдохнуть среди своих.

Я не передаю наших бесед, ибо для современного читателя они сводились бы к констатации очевидностей. Но самое трудное тогда, как и во всю советскую эпоху, было признать очевидное очевидным. И, кстати, среди этого каскада очевидностей утверждение, что водительство Сталина не соответствует коммунистической идеологии — идеям равенства, романтической верности мировой революции и т.п., — было одним из самых страшных и трудных. Мнимость этих «ценностей», которую большинство из нас осознали не в «перестройку» даже, а еще во второй половине пятидесятых, не отменяет этого несоответствия и трудности его осознания. Конечно, несоответствие уровня жизни и социалистического порядка тому, за что это выдавалось, тоже отмечалось нами, но это было вещью наглядной и всем ясной. Правда, она все-таки позволяла принимать себя за локальные «отдельные недостатки», к чему многие прибегали. Идеологическая критика строя сразу обнажала его

тотальную лживость и таких лазеек не оставляла. Мы говорили и о том, и о другом. Разговоры эти не имели практического значения, они были для отвода души. А так ли уж это мало? Да, мы вели их не для выдвижения программы сопротивления — какое могло быть сопротивление в раздавленной стране? — а «только» для того, чтоб ощутить самих себя, сохранить доверие к собственному разуму и восприятию. И это доставляло нам наслаждение, укрепляло нас. Если не ты один помнишь, что дважды два четыре, то это действительно все еще так. Это было именно то, что подсознательно (может, и сознательно) стремился, но не смог убить в людях Сталин (удалось ему это только в своем ближайшем окружении). И чувствовал он верно — сама потребность в таком самоощущении, практически в духовном и интеллектуальном самосохранении — свидетельство независимости и некоторого подспудного оптимизма, который в нас не умирал и который по природе был противопоставлен насаждаемой им фантазмагории и протрации.

Был у Паши с Катей еще приятель — Леша. Фамилию его я не помню, хотя и в Москве потом его встречал. Помню только, что она была еврейская, типа Штейнберг. Парень он был хороший и надежный, но биография его была экстравагантной. Происходил он из вполне благонаправленной еврейской семьи, но отсидел срок по уголовной статье. Причем по обвинению, отнюдь не сфабрикованному. Был он высок, строен, крепок и в отрочестве из лихости пристал к шпане. Ну и загремел вместе с ней. Опомнился он уже перед концом срока и тогда, выражаясь по-лагерному, «завязал», то есть отстал от «хевры». Кстати, это не так просто — надо, чтобы «хевра» в лице совета паханов («толковища») тебя отпустила. И решается вопрос без полутонов: отпустить или убить. Но все же Леша объявил «хевре», что хочет «завязать», то есть отойти от воровской общности и не жить больше по ее «законам». Правда, при этом отметил, что не собирается и «ссучиваться», то есть продавать своих нынешних товарищей и известные ему их секреты. Но он не хочет, чтоб его посвящали в новые.

По-видимому, это была ритуальная форма отхода — Михаил Демин «завязывал» так же. Формула почти рыцарская. Как ни смешно, она напоминает обязательства, которые — правда, не по формуле, а по своей инициативе — брал на себя, переходя на сторону правительства, народо-

волец Лев Тихомиров. Представляете, что бы было, подай кто-нибудь такое заявление в сталинскую КПСС — не подпольную, а правящую? А вот народовольцы — уж на что люди строгие — поверили Тихомирову и отпустили его с миром. Не на волю, а в стан врагов. И не обманулись — он, как и обещал, стал их идейным врагом, но не выдал ни одного их секрета своим новым единомышленникам. Я не сравниваю народовольцев ни с «хеврой», ни с КПСС, хоть при этом отнюдь не их поклонник. Однако это факт — поверили и отпустили. И уж никак я не поклонник «хевры». Но и она в качестве мафии оказалась менее ревнива и жестока, чем сталинская ВКП(б) — КПСС. Паханы собрались, «потолковали», и Лешу отпустили на все четыре стороны. Дескать, молодой, пусть живет.

И Леша жил, женился, был, повторяю, хорошим и надежным человеком. Что-то и писал. Паша тоже. На том мы и познакомились, но что и как они писали — не помню. Наверное, не очень, иначе бы запомнил. Но они были людьми, что в тот период удавалось далеко не всем.

Я помню их очень хорошо, но рассказывать мне о них почти нечего. Сюжета в наших отношениях не было — сюжетом, и довольно драматическим, был сам факт наших отношений, нашей близости, когда все подобное было запрещено и опасно, когда мне некуда было деваться, а деваться куда-то надо было.

Но, как знает читатель, я в Калуге встречался не только с Пашей, Лешей и Катей, ставшими моими друзьями, а и со всеми другими пишущими молодыми людьми, кого я запомнил и не запомнил. И продолжал воскрешать нашу запретную историю, в основном тогда историю партии. Хотя и понимал, что кончиться это хорошо не может. И не кончилось. Нет, в МГБ никто не стукнул — чего не было, того не было. А то бы меня, наверное, не было. Абсолютное большинство слышавших меня вообще не имеют никакого отношения к тому, что произошло. Чтоб избежать кривотолков, отмечаю особо, что к этому большинству относится и Петр Проскурин. Имеет к этому отношение только один человек, работник редакции, которого и я немного знал, поскольку он интересовался литературой и посещал те «посиделки», на которых я себе иногда кое-что «позволял». Слушать он слушал, но потом опасно струхнул. А что он сделал? Почти ничего. Судите сами.

В один прекрасный вечер ко мне неожиданно появились встревоженные Паша с Лешей и сказали, что есть разговор. И я пошел с ними — не то в пивную, не то к Паше. Ясно было, что произошло что-то нехорошее. И вот что они с возмущением мне рассказали.

Этот сотрудник редакции собрал нескольких человек, общавшихся со мной на «посиделках» (или они сами по какому-то поводу собрались, а он этим воспользовался как один из работников редакции) и повел обо мне такие речи:

— К нему надо присмотреться внимательней — вы ведь слышали, *что* он говорит. Он явно агент — весь вопрос: агент наших органов или их. Конечно, если наших — нам неопасно, мы люди верные. А вот если их? Так или иначе, к нему надо внимательней присмотреться...

Вникать в смысл этих слов не стоит. Ни о каких агентах данный товарищ не думал. Он просто испугался и фиксировал «проявление бдительности» — создавал себе алиби, выступал не любопытствующим собеседником, каким был в действительности, а «идеологически правильным» наблюдателем, теперь предупреждавшим товарищей. Квалифицированно отмежевывался от меня и призывал к тому же других.

Я не сужу этого человека. Я вообще никого не сужу за страх, руководивший ими в те годы — было чего бояться. Потому и не называю здесь его имени. Потом, в другую эпоху, я не раз встречал этого представителя либеральной интеллигенции в Москве, и он вел себя как ни в чем не бывало, дружески-приветливо и ни словом не обмолвился об этом своем «подвиге». Это, на мой вкус, уже слишком — так вели себя не все. Но это опять-таки его дело.

Товарищи мои были возмущены, но я меньше всего тогда думал о нем. Я был благодарен друзьям за то, что они мне это рассказали и тем спасли меня. Ибо я уже был достаточно опытным эком, чтобы не понимать, что раз возникли такие разговоры, надо немедленно «рвать когти». Чтоб «кто-то» и впрямь не стал ко мне «присматриваться». Думаю, что и не названного мною работника редакции вполне устраивало мое решение (собственно, не решение — реакция — чего тут было решать?), может быть, даже он его сознательно спровоцировал через Пашу и Лешу. Но так или иначе уезжать было надо, и как можно быстрее.

Зла я ни на кого не держал. Конечно, спешно спасая жизнь, уезжать неприятно. Но для многих это сопряжено с материальными заботами, с возможностью или невозможностью ликвидации приобретенного имущества — у меня таких забот не было: собрался и уехал.

На следующее утро (поезд из Калуги уходил поздно ночью) я сказал о своем решении хозяевам, без всяких приключений и разговоров выписался. Быстро собрал свое «имущество» в корзину, позвонил тете, намекнув, что мне срочно надо уехать. Она не очень удивилась, вздохнула и сказала: «Ну что ж... приезжай!» Остальную часть дня я провел с Пашей и Лешей. Вечером Катя устроила прощальный обед, было грустно расставаться с друзьями, но радостно, что они есть. Потом, провожаемый Пашей и Лешей, я заехал к себе за вещами и простился со своими хозяевами. Они уже легли, но мы пожелали друг другу добра и попросили не поминать лихом. Опасений, что я выведу полквартыры, они на этот раз не проявили.

Ребята проводили меня до поезда, и, обняв этих хороших людей, я уехал из Калуги, где все-таки что-то оставлял. И поезд опять повез меня в Москву, где я хотел, но имел права жить... А по существу, я опять отправлялся неизвестно куда. Куда-то, где, может быть, можно будет прийтнуться.

Глава вторая. Караганда

Еду в Караганду

— Так что ты там наделал? — спросила тетя Роза, когда я с вещами на следующее утро — поезд из Калуги пришел утром — явился пред ее светлые очи.

— Понимаете, тетя Роза, — начал я смущенно, — я там сошелся с молодыми писателями...

— Ну и что?

— Ну так... Сходились, разговаривали... И постепенно я стал читать им лекции по истории партии...

— Как? Настоящей? — удивилась тетя и, поскольку я подтвердил это, добавила: — Ты с ума сошел!

Потом я ей рассказал подробно то, что уже известно читателю. Про неназванного работника редакции и его пред-

ложение присмотреться ко мне внимательней — тоже. Рассказ мой ее нисколько не удивил.

— Я сразу поняла, что ты что-то такое натворил, а то чего бы ты стал так срочно уезжать. Все тебе мало!.. Ну ладно, раздевайся... Чего еще от тебя можно было ожидать!.

Смушение мое должно быть понятно. Результаты моего «просветительства», мое хождение по острию ножа затрудняли и ее положение.

А зачем я это делал? Если бы кто-то донес, гэбисты стали бы мне шить «антисоветскую агитацию» с чистой совестью: «Подлинный состав преступления — никакой липы!» — такое в их практике бывало нечасто. И однако они бы ошиблись — агитацией и вообще политикой я не занимался. Просто они не знали, что такое агитация, хотя очень усердно за нее сажали. Они искренне верили, что любое, даже не высказанное (и тем более высказанное) несогласие с тем, что насаждается, и есть агитация. Но я никого ни за что не агитировал, только делился тем, что я знал и что меня переполняло — хотел, чтобы они тоже не были слепыми кутятами. Ведь хорошие ребята! (И на самом деле были хорошие — ведь никто, и тот «работник редакции», даже с перепугу не донес.) Это была импульсивная потребность, которой я не мог противостоять, а не агитация. Правда, знание, которым я делился (при том, что тогда оно было относительным), отягощало не только жизнь, но и душу узнавшего. Что делать? — это мне было тогда недоступно. Ведь истина для того и дается, чтобы ею делиться — это естественно. Я тогда об этом не думал и так не формулировал. Но насчет тети Розы я все-таки понимал, что это мое «следование естественности» ложится дополнительным бременем на нее, и без того взявшую на себя существенную часть лежащей на мне тяжести. И то, что сейчас я эту ношу утяжелял, меня смущало. Тут и ангела досада возьмет, думал я. Но тетя Роза раздосадованной не была, только озабоченной.

— Вот что я подумала, — продолжала она начатый разговор. — Нечего тебе делать в Москве и вокруг Москвы. Никуда ты здесь не устроишься, а в конце концов доиграешься. Надо тебе ехать подальше — в Караганду, например...

Помолчала и добавила:

— Моего брата туда сослали. Ты тоже туда поезжай. Я ему письмо с тобой передам — он поможет.

Я поинтересовался, когда и почему «загремел» ее брат. Оказалось, что брат тети Розы, Соломон Ефимович Малкин (Яхниной тетя Роза стала в замужестве), видный московский адвокат, однажды был приглашен на Лубянку, где его стали форсированно вербовать в стукачи. Дело в том, что в его биографии был некоторый, с точки зрения тогдашних мистических жупелов, изъян, который всегда можно было использовать как средство давления — когда-то в юности, в начале двадцатых, он примыкал к молодежной эсеровской группе, был вместе с нею арестован и провел несколько месяцев в Бутырках. После тюрьмы он политикой больше не занимался и как будто политика не занималась им. В двадцатые годы власти, если дело касалось социалистов, вполне довольствовались отходом от «борьбы» и уж тем более переходом на их сторону, то есть признанием их правоты — по видимому, зыбкой уже в глубине души и для них самих.

У Сталина таких сантиментов не было. Но поскольку Соломон Ефимович «на их сторону» не перешел, в коммунисты не подался, а тихо занимался своей адвокатской практикой, он уцелел и в тридцать седьмом. Тогда шла стрельба более чем по площадям, но имелись в виду другие цели. Могли, конечно, прихватить и его, но не попался на глаза. Обошлось. Он имел все основания считать, что о нем забыли. И вот вспомнили. Почему? Вероятно, какой-то гэбистский грамотей просматривал старые дела. Дела тех времен, когда, по его разумению, их благородной организацией руководили враги и их пособники и вырубали своих. Вот и набрел на «неохваченного» Соломона Ефимовича. Решили использовать — вызвали, предложили, уговаривали, запугивали, угрожали, но не помогло. То есть ему, конечно, было страшно, но взять на себя такие обязательства еще страшней. Ему сказали: «Пеняйте на себя!», но к ночи отпустили. На следующее утро он пришел к сестре и сказал:

— Знаешь, Роза, никогда не думал, что могу быть героем.

И это было прощанием — чуть ли не на следующую ночь его арестовали. Тогда ведь очищали Москву от «повторников» и «неохваченных». Как и бывшему анархисту Уралову (книга третья)*, ему дали «мою» статью — 7/35. Теперь он

* Точно насчет Уралова я это знать не могу. Меня увели из камеры №60 раньше, чем его, но после того, как его перестали мучить ночными допросами, которыми его не удалось сломить. Но я помню, что однажды, вернувшись с дневного допроса, он сказал, что ему теперь дают ту же статью, что и у меня.

жил в Караганде. И как ни странно было мне это слышать, работал по специальности. Нет, не адвокатом — это и там считалось недопустимым (не знаю, из каких соображений: может быть, из-за публичности этой профессии), но тоже по юридической части — юрисконсультom в нескольких учреждениях и организациях. Это давало ему возможность содержать не только себя в Караганде, но и семью — жену и двух дочерей-школьниц — в Москве.

Все это поразило меня своей фантастичностью. Тем, что в СССР есть город, где ссыльный может получить работу, которая, не будучи подземной или крайне оборонной, все же позволяет ему кормить семью в Москве! Надо туда ехать. У меня, правда, нет такой профессии. Но ведь и семьи, которую надо кормить, тоже нет. А главное, нет выбора — ехать-то куда-то мне все равно придется, так лучше туда. Там больше шансов — пусть не состояться, а только прижиться — но все-таки шансов. Конечно, не густо с точки зрения нормального восприятия, но тогда мне и этим пренебрегать было бы глупо. Да ведь и не верит молодость в невозможность состояться. В глубине души я надеялся перетерпеть это время, делая при этом то, что и надо было бы делать, если бы это разрешалось. Это была вера в непрерывность истории. Есть ли у меня эта вера сегодня? Но тогда она была и не вызывала сомнений. С этой верой я и отбыл в Караганду.

Почему-то все, связанное с отъездом, стерлось из моей памяти. Завязывался у меня именно в это время роман, из которого очередной раз из-за стойкой моей наивности ничего не вышло, кроме стихов, в которых речь идет скорее не о любви, а о ситуации и состоянии, от которых она меня избавить не могла, даже если б хотела:

Прощай, родная недотрога!
Недолго я пробуду тут.
И снова дальняя дорога,
Уют вагона, мой уют.
Единственный и краткосрочный...
Он вне судьбы, вне мест, вне дня.
И буду верить я, что точно
Там где-то что-то ждет меня.

Уезжал я из Москвы в необыкновенно жаркий летний день (значит, я прожил в Калуге до начала лета). В Москве

уже давно из-за ляпов реконструкции была грубо нарушена пропорция между камнем и зеленью, и Каланчевская улица, по которой я спускался к Казанскому вокзалу, была как раскаленная сковорода. Как я оказался на этой улице, почему не доехал на метро прямо до вокзалов, не помню. Вероятно, зашел проститься к кому-то, кто там рядом жил, а спускаться в метро или добираться до остановки троллейбуса не имело смысла. Но я хорошо помню, что хотя расстояние, которое мне надо было преодолеть, было ничтожным, я преодолел его с невероятным трудом. Не из-за вещей — я не был настолько слаб, да и не помню, не сдали ли я их предварительно в камеру хранения — а просто дышать нечем было. Кое-как добрался до поезда, но и там было не легче. Легче стало, когда поезд втянулся в дачные пригороды. Я никогда не любил уезжать из Москвы (командировки и отпускные отъезды не в счет), но на этот раз испытывал даже некоторое облегчение — чисто физиологическое, конечно. И это как-то скрадывало горечь расставания с Москвой. Но впереди была не зелень, а Караганда, расположенная — я помнил это по школьным урокам географии — в зоне сухих степей. Если в Москве так душно, что же будет там, в городе, окруженном такими степями?

Забегая вперед, скажу, что в Караганде, как я обнаружил по прибытии, в те дни дышалось гораздо легче, чем в Москве. В ней, во всяком случае в ее Новом городе, строившемся по плану, пропорция между камнем и зеленью как-то соблюдалась. В Москве бюрократическая планировка была разрушительна — вторгалась в архитектуру исторически сложившегося города. К тому же существовали особые требования. Например, не создавать удобства для строительства баррикад, если до них дойдет дело — Садовое кольцо было вырублено с этой целью. Здесь же строили на пустом месте, и разрушать было нечего. А официально бюрократические нормы строительства везде требовали соблюдения нормальной пропорции между камнем и зеленью — она и соблюдалась.

Дорогу до Караганды я почти не помню. Ехал я в том же тридцать втором скором Москва—Караганда, в котором потом ездил не раз в обоих направлениях. В поезде под этим номером ко мне в ссылку ездила моя мать и не могла нахвалиться новшеству — цельнометаллическим вагонам, из

которых он был составлен. Поезд № 32 выходил из Москвы ежедневно, но совпадал каждый день его маршрут только до Петропавловска-Казахстанского. Там два раза в неделю он круто сворачивал с магистрали на юг — на Кокчетав, Акмолинск и в Караганду (дорога шла и дальше — на Балхаш и Джезказган, но прямых поездов из Москвы туда не было). В остальные же дни недели тридцать второй после Петропавловска шел дальше по магистрали на восток — на Омск и Новосибирск (на нем до Кожурлы и ехала ко мне моя мать) и только потом сворачивал на Кузбасс — к Новокузнецку.

Заезд в Сим (Ностальгическая элегия)

Несмотря на отдаленность описываемого, я ясно помню, с каким именно периодом моей жизни связано то или иное событие, переживание и даже мысль. Но с более точной привязкой всего этого к дате и другим реалиям у меня хуже. Так, я не точно помню, в этот или в другой раз я сделал остановку в Симе. Наверное, все-таки в этот раз, ибо во время этого путешествия я в смысле времени чувствовал себя вполне вольготно, а во время остальных всегда торопился — или в Москву к друзьям, или в Караганду — к началу занятий в техникуме. Да и ездил я потом не всегда тридцать вторым — через Уфу и Челябинск, а следовательно, и через Сим. Иногда, если не было билетов, приходилось и «на перекладных» добираться. И часто совсем другой дорогой.

Так что, похоже, в Сим я заехал все-таки именно в 1951 году, во время этой первой своей поездки в Караганду. Впрочем, это неважно.

Решение это было принято мной заранее. Поэтому, как только поезд стал подходить к станции «Симская», я уже стоял с вещами в тамбуре, и когда он остановился, выскочил на перрон и побежал к кассе отмечать остановку. Прodelать это надо было быстро, потому что, как я знал, касса закрывается почти сразу после отхода поезда, а поезда на таких станциях стоят минуты две. Это сказано не в хулу и не в порядке критики «наших порядков», просто не так уж много людей отмечают на этих станциях остановки, и кассирше торчать в своем окошке абсолютно незачем. Я успел,

остановка в моем билете была отмечена. Поезд за это время ушел, станция опустела, и я опять, как в давние времена, перешел через ее пути к заводскому складу, на выходе из которого надо было сесть в тот же вагончик той же узкоколейки — в этом смысле ничего не изменилось. Знающие люди объяснили, что «кукушка» по расписанию должна отправиться через два часа. Тем не менее они чего-то ждали, хотя были местными. И я приготовился ждать. Да и что я мог сделать еще? Но к расписанию здесь относились по-домашнему, и минут через десять ворота склада открылись и из него выехал знакомый состав — паровозик, груженная платформа и пассажирский вагончик.

Все как осенью 1941-го, когда я впервые ступил на эту землю. А на дворе было уже лето 1951-го. Прошло целых девять лет. А с весны 1944-го, когда я с этого же склада в теплушке отбыл в Москву, и всего лет семь. В масштабах моих сегодняшних семидесяти четырех совсем немного. Но тогда это была почти половина моей сознательной жизни. Да и без масштабов — сколько вместилось в эти семь лет! И сам симский опыт, и Москва, и Литинститут, и Лубянка, и этапы, и пересылки, и ссылка, и — как бы помимо ссылки — Чумаково. И еще «белое безмолвие» Тюмени, и встречи — в Москве и в Киеве. И Калуга с бегством из нее в придачу.

И вот я опять ехал с вещами на «кукушке». Тогда растерянный, отчасти подавленный бездомьем и эвакуацией — с робким ожиданием, что удастся приткнуться, теперь тоже растерянный (сделав остановку по дороге в неизвестность), но без всякого расчета и даже желания приткнуться именно здесь. Ну как тут приткнешься — оборонный завод и поселок при нем! А если и приткнешься, не ровен час, в шпионы угодишь! Владело мною иное желание — встретиться с прошлым, оставившим значительный след в моей жизни.

Обычно, посещая старое пепелище, подсознательно демонстрируют достигнутое. Поразительно, но меня совсем не волновало, что продемонстрировать мне в этом смысле нечего. Почти с любой точки зрения, я к тому времени потерпел полное жизненное поражение. Ни кола ни двора, ни, по сути, права на легальное существование. Но потерпевшим поражение я себя не ощущал. Ни тогда, ни вообще когда-либо. Даже в первые годы эмиграции, где меня сти-

рала в порошок эмигрировавшая часть тусовки (или, точнее, того слоя, который потом развился в тусовку) совместно с американскими русистами, то есть тоже тусовкой, только академической.

В сущности, тусовка бывала всегда, везде и во всем, но не всегда она овладевает столь тотально «командными высотами». Это всегда попытка абсолютизировать какие-то внешние атрибуты какого-либо дела и абстрагироваться от его сути. И в идеале — пока еще, к счастью, не достигнутом, стремящаяся к полному подавлению, компрометации и изгнанию всего, что может оказаться самопроявлением этой сути. Кстати, проблема эта не только локально-советская или российская, но и мировая. Но это проблемы нынешнего времени. А тогда меня вообще не мучили такие проблемы. Я просто отметил, что, несмотря на все, что со мной произошло, у меня тогда не было ощущения поражения.

Теперь — есть. Теперь, на старости лет, мне приходится бороться с этим чувством. Конечно, дело не в старости: старость — это естественный конец, а не поражение. И нет у меня ощущения, что мне его может нанести тусовка — она может многое парализовать, но победить никого и ничего не может. Ибо в моей жизни она — просто еще одно неприятное обстоятельство, а не явление. Ей нечем и некем побеждать.

Поражение мне может быть нанесено самим, как говорили в старину, «ходом истории». Тем, что реальным результатом освобождения России от тоталитаризма стала власть беспредела и той же тусовки как его эстетического выражения. И тем, что после натовских бомбежек Югославии обнажился тот простой факт, что на свете больше нет Запада как некоей сущности и морального фактора*. Нет и вообще, и для России. И временами кажется, что все ценности, которые лежали в основе моей жизни и творчества, связаны не вообще с историей человечества, а с историей

* Вмешательство НАТО в югославские дела — только обнажение этого факта. Конечно, все еще на месте, но такое ощущение, что по инерции. Неспособность Запада, особенно Соединенных Штатов, защитить от имеющей право голоса охлократии свое образование и элементарные ценности (такие как женственность, иерархия биологических отношений, правосудие, превратившееся в собственность адвокатов) не может не сказаться на устойчивости западной цивилизации. Будем надеяться, что эта преходящая болезнь. Только перенимать ее не надо — у нас своих болезней хватает.

просто одного из ее периодов, пусть громадного, несколькотысячелетнего, но теперь, в начале третьего тысячелетия от Р.Х., сводятся к нулю, с которого должна начаться какая-то принципиально новая и безусловно страшная эпоха. Душа отказывается это принимать, надеется на ошибку разума (моего). Но если это не ошибка, то я действительно потерпел поражение. Поражение это я потерпел как будто не в плане личной судьбы, а в составе всего человечества. Но и в плане личной судьбы тоже. Ибо все, чем я жил, что защищал, за что переживал, что для себя открывал и считал важным, за что себя уважал, наконец — все это оказалось пшиком, детскими игрушками: чем бы дитя ни тешилось... Временами мне бывает очень страшно.

Но это теперь. Тогда же ничего подобного не было. Я, конечно, ощущал всю подвешенность и неприкаянность своего положения, это меня тяготило. Понимал я и то, что все мои мысли и чувства сейчас уголовно наказуемы, значит, в любой момент я могу оказаться за решеткой и там погибнуть. И в Караганду я ехал не в надежде там состояться, а в надежде как-то прижиться. Так что мое состояние было весьма далеко от бравадности. Но у всего этого были конкретные причины, это были конкретные обстоятельства, которые надо преодолеть, обойти, переждать. Мой мир продолжал существовать. При жизни или после нее я все равно могу взять свое. И никакого ощущения поражения, которого можно стесняться, никакого комплекса неудачника у меня не было. А было ощущение пройденного пути.

Оно было со мной всегда и, конечно, не исчезло в вагончике узкоколейки, который вез меня со станции в Сим. Но думал я о другом. Конечно, и о предстоящих встречах. Что при этом подразумевалось, я бы и сам не мог сказать. Почти все, с кем я был связан и кого помнил по заводу, уже давно возвратились в Москву. Так и оказалось — остались только женившиеся на местных девушках начальник одного из цехов, как это ни экзотично для здешних мест, еврей по национальности, и, кажется, лекальщик Боря Кузнецов. Но я об этом не знал. А если б и знал? С начальником этим я практически не был знаком, знаком был только с его женой, красавицей Полиной, которая была медсестрой и одно время работала с моей матерью — знакомство более чем поверхностное. Да и с Борей Кузнецовым у меня не было никаких отношений, хоть он мне и

нравился. Так что предупреждать кого-либо из них о своем приезде мне было бы странно. Мы и не увиделись даже. Не из принципа, а как-то и вопрос об этом не встал. Конечно, почти наверняка в Симе оставались Хайдуковы, но я не знал их адреса, да и вообще не знал, что с ними, живы ли, вернулся ли их сын Саша с войны. Что же меня влекло сюда (и даже сейчас влечет)? Место? Кстати, насчет «места». Оно раскрывалось по ходу «кукушки». Сначала шли луга, зеленые горы на дальнем плане. Но потом, при приближении к Симу, мне стало чего-то не хватать. И я не сразу понял, чего именно. Но потом я понял — не хватало зелени. Окружавшие Сим «шишки» (Уральские горы) оказались совершенно безлесые, по буквальному ощущению лысыми, точнее облысевшими. Как у человека, чья голова в момент расставания была в густой шевелюре, а при встрече через несколько лет оказалась гладким шаром. Но у человека это произошло естественным порядком, во всяком случае, без прямого постороннего вмешательства, а здесь это было результатом именно такого вмешательства — это сделали люди, когда в очередной раз решали очередную задачу «любой ценой». Мне потом рассказали, как это произошло. В какой-то момент на завод не завезли топлива и, дабы не допустить остановки завода, использовали «местные ресурсы». Указание-разрешение такое, наверно, пришло быстро. Небось и награду получили за местную инициативу от тех, кому уж точно было не жить в обезображенном ландшафте. И с чего вдруг? Даже в самые тяжелые месяцы войны, в 1942-м и 1943-м, когда случались перебои с топливом (а они, как может помнить читатель, случались), такое никому в голову не приходило. Останавливали на несколько дней завод, но этого не делали, не разрушали землю, за которую люди в это время отдавали свои жизни. А в конце войны это вдруг стало необходимым.

Да, именно в конце. Когда я уезжал из Сима — а это было весной 1944 года, то есть достаточно близко к концу войны, — «шишки» вокруг были одеты в леса, и это казалось нерушимым и вечным. Как небо над головой. Следовательно, порушено это было в сроки, еще более близкие к концу войны — перед самой Победой. Не исключено, что и после нее — когда уже вообще в этом не было никакой необходимости. Кроме, конечно, отчетно-бюрократической, освободившейся с концом войны от всякого гнета реаль-

ности. Она сама стала реальностью. И тот, кто, ни о чем другом не думая и не заботясь, таким способом продемонстрировал свою инициативность, знал, что делал. И хотя формулу — «извели страну на показатели» — я придумал много позже, на основании более широкого опыта, но помнится, подсознательно эти облысевшие «шишки» стояли перед моими глазами. И думаю, что память меня не обманывает.

Между тем паровозик подвез свой небольшой состав к Симу и остановился перед заводскими воротами. Правда, перед этим была у него еще одна остановка — при въезде в Сим. И, как я помнил, от нее к Хайдуковым (а мысленно ехал я все-таки к ним) было чуть ближе, чем от завода. Но я не рискнул — не был уверен, что найду их дом. Тем более что по дороге выяснил, что Саша Хайдуков (его уже именовали почтительно «Александр Александрович») вернулся с войны и работает на заводе диспетчером. Решил начать с него.

Найти его действительно оказалось просто. Как именно, не помню — то ли позвонил, то ли кто-то по моей просьбе передал ему, что я его жду, — но помню, что через несколько минут я уже ждал у клуба условленной встречи — примерно на том месте, где десять лет назад мы с отцом ждали мать, пошедшую выяснять, можем ли мы здесь осесть.

И мимо опять проходили незнакомые люди. Хотя тогда это было естественно, а теперь не очень. Не видел я не только московских лиц, но и симских тоже. И речь вокруг была не симская. Может, потому, что на этом «пяточке» в это время можно было встретить только служащих заводоуправления, попавших сюда по распределению после институтов или техникумов. А может быть, просто все симское разводилось в общероссийском — не знаю. Но для меня это был «глагол времен, металла звон», воплощение бега времени. Нельзя дважды ступить в один и тот же поток — поток был явно другой... Но вот появился запыхавшийся Саша. Мы обнялись. Пошли к нему. Родители его были живы, но, естественно, постарели. С трудом меня разглядели, но узнали. Встретили тепло, расспросили про моих родителей, накормили. Объяснять им, что со мной за это время произошло, я пытался, но не уверен, что они уяснили, они плохо слышали, и слишком далеко это было от их жизни. Поняли только, что со мной случилась беда, какая-

то несправедливость, и сочувствовали мне. Да если бы я оказался настоящим «тюремщиком» (уголовником), они приняли бы меня столь же радушно: «бес, поди, попутал, со всяким может случиться». Но их самих «бес» никогда бы не попутал. Да и про меня они не думали такого, даже в голову не приходило. Саша, конечно, понял меня вполне, но никакого опасения в его отношении ко мне я не заметил. А ведь занимал видную должность на оборонном заводе — единственном серьезном предприятии в Симе.

Но самым сильным впечатлением в этот мой приезд в Сим было посещение школы — той школы, которую я когда-то окончил. Впечатление это было и приятным, и грустным. Учительницы... При воспоминании о них душа моя наполняется теплотой и... испытываю я некоторую неловкость. Неловкость объясняется тем, что я не помню ни их имени-отчества, и фамилий не помню. Не помнил, когда рассказывал, как учился в этой школе (ч. 2-я), и теперь не помню. Они этого никак не заслужили — тем более передо мной, в ком они приняли живое участие. Но что сделаешь с памятью? А в 1951 году нельзя даже сказать, что не помнил, не представлял, что может быть иначе. Они, те, кто меня знал, — время и здесь не стояло на месте — встретили меня тепло, даже радостно. Приятно, когда бывшие ученики взрослыми людьми навещают свою школу. А поскольку во мне они когда-то приняли особое участие, им было вдобавок приятно, что я об этом помнил. И мне это было приятно.

Начались, как водится, вопросы-расспросы. Мой рассказ о моей тогдашней судьбе не поколебал их радости. Все-таки их выпускник достиг некоторой высоты, пусть его даже и сбили, но все равно это произошло в недостигаемо высоких сферах. И кто его знает — вот жив, заехал, — может, опять взлетит. Мне, конечно, сочувствовали, но и сочувствие было каким-то радостным. Но висела над нашей встречей черная туча, не имеющая никакого отношения к тому, что между нами происходило.

У учительницы географии — теперь то ли директора, то ли завуча — я спросил о ее муже, кстати, единственном из учителей, чье имя, отчество и фамилию я помню и теперь — об Иване Никаноровиче Кузнецове. В мое время он был завучем и преподавал у нас историю. Об этом ярком и умном, незаурядном человеке и роли, сыгранной им в моем

становлении, я уже рассказал во второй части этих мемуаров. Я не хочу повторяться, но об одной фразе, которая и вошла, так сказать, в состав моей личности, все-таки напомним. Фраза была сказана походя, в ответ на уверения учительницы немецкого языка, что беда моя в том, что у меня часто мысли впереди слов. И прозвучала она так:

— Да? А мне казалось, что наоборот — слова впереди мыслей.

Фразу эту можно было счесть и обидной, и я до сих пор горжусь тем, что тогда не обиделся, а удивился и задумался. И почувствовал, что он прав. Это одна из тех фраз, которые сделали меня самим собой. И мне теперь хотелось рассказать ему о том, какое большое значение она для меня имела — хотелось поблагодарить его за это. Но оказалось, что поздно.

— Нет Ивана Никаноровича... Не вернулся... Погиб на войне, — сказала его вдова, учительница географии, с застарелой горечью.

А мне так хотелось с ним поговорить, особенно теперь.

Иван Никанорович был для меня личной потерей. А мобилизовали его «в общем порядке» — вместе со всем десятым классом (в который я поступил, когда он был еще девятым — я, если помнит читатель, за один год окончил два класса). И из ушедших с ним не вернулся почти никто. Как почти никто из тех, кто окончил школу вместе со мной, то есть на год раньше. Например, Сережа Напалков, с которым я дружил. Не вернулся и сын учительницы географии, пасынок Ивана Никаноровича, Володя Новиков, ушедший на войну вместе с отчимом.

Вот она — цена войны и сталинской гениальности! Огромность наших потерь была ощутима везде. И везде, где я бывал. Особенно в деревнях, например в Чумакове. Она там зияла кровавыми пустотами, сказывалась на самом укладе жизни, на ее психологии. Но Чумакова до этих потерь я все-таки не видел и не знал — видел тех, кто вернулся, но не знал тех, кто не вернулся. В больших городах они были не так наглядны. И даже в таких городках при оборонных заводах, как в целом Симе, — они тоже скрадывались. Многие в них были на броне, много присылали и новых мужчин-специалистов. Школьники и учителя брони не имели, и, кроме того, я сам учился с ними рядом. Поэтому огромность этих потерь на судьбе симской школы для меня на-

глядней и ощутимей, чем все остальное, с чем я сталкивался. Ушли почти все — и учителя и ученики, — и всех я знал. Не вернулся почти никто, только Саша Хайдуков — он был из следующего набора.

Ни с кем из своих соучеников, кроме как с Сережей Напалковым, я не успел подружиться или сблизиться. Слишком мал был срок общения — в каждом из этих двух классов я пробыл только по одному семестру. Это вообще срок небольшой. А если учесть столь разительное несходство жизненного опыта и интересов и «ментальность» тогдашних симачей, вообще тяжелых на подъем, не привыкших так запросто раскрываться перед посторонними... Но все-таки отношения у меня с ними были. Хоть и не близкие, но вполне хорошие, доброжелательные. Они были моими товарищами. Я их помнил. А теперь их не было — как корова языком слизала.

Мне тогда было очень приятно с этими учительницами (да и сейчас еще). И все-таки немного не по себе. Грызла мысль (да и до сих пор иногда грызет), что и с Сережей Напалковым, и с Володей Новиковым мы мечтали пойти в армию, но они пошли и не вернулись, а мои хвори и слабости помогли мне избежать их участи. Жизнь моя была (особенно тогда) тяжелой и опасной, но все-таки она была жизнью. Все-таки я был жив, мог уворачиваться и надеяться, мог разговаривать и печалиться о них.

Но, несмотря на эту тучу, на то, что мужей этих учительниц, реальных и возможных (а иногда детей, как у учительницы географии), забрала война, тональность нашей встречи была радостной. Никто даже в глубине души не подозревал меня в какой-либо хитрости и ловкости, благодаря которой я избежал общей участи. Но они ведь меня знали, да и все происходило почти на их глазах. Они просто были рады меня видеть. И я их.

Когда я уходил, меня догнала молодая (даже по тогдашнему моему восприятию) учительница.

— Вы, наверно, меня не помните, — сказала она, — а я вас помню. Вы были в десятом классе, когда я была в пятом.

И я впервые подумал, что, наверно, маленьким я тогда казался легендарной личностью — пишет стихи, за один год сдал экзамены за два класса. Сам я этого не замечал, да и вообще мне было не до маленьких. И вот теперь в словах молодой цветущей женщины это воскресло и прояснилось.

Но чувствовалось, что это не все, что она мне хотела сказать, а что-то еще лежало у нее на душе, переполняло ее душу — другими словами, ей хотелось выговориться. А если сказать проще — рассказать историю своего неудачного замужества. Муж ее был, кажется, тоже симский, стал офицером, какое-то время она жила с ним в части, у них родился ребенок, и когда она с ребенком поехала к родным, он завел другую. Впрочем, кажется, они и до этого плохо жили — точно не помню. Впрочем, история, к сожалению, вполне банальная для нашего времени.

Почему ей захотелось рассказать ее именно мне? Вероятно, тут было все: и детская память о моей «необыкновенности», и моя прикосновенность к неким духовным сферам, к литературе, к чему она, видимо, вообще была расположена (потому это и заинтриговало ее в детстве), и даже тяжесть моей судьбы. И наконец, просто то, что при всем этом я еще был человеком сторонним — как приехал, так и уеду. Встает вопрос: а здесь, в Симе, неужели ей не перед кем было выговориться, излить душу? Она считала, что не перед кем, и теперь я думаю, что, наверное, она была права. И не потому, что тут не было умных, чутких и хорошо относившихся к ней людей, которые ее бы и выслушали, и посочувствовали. Такие люди были. Но все они знали эту историю и вообще все о ней знали. И рассказывать ей им о себе было нечего. Сочувствовали они ей по-доброму, жалели, что и с ней случилось то, что тогда — особенно в послевоенные годы — случалась со многими, что не убереглась от этой общей нивелирующей беды, естественно, и мужа ее поносили за то, что козел. Все это было правдой, но от меня она ждала другого — чего? А чтобы я ее увидел, разглядел, какая она, несмотря ни на что, чтобы самой увидеть моими глазами, как она прекрасна — внешне и вообще, чтобы я рассеял злые чары ее унижения. А оно было. Ибо это была не любовная трагедия, а неудавшийся мезальянс. В чем мезальянс? Ведь она была простой симской девочкой. Простой, да не очень. На Урале в маленьких поселках приютились, притаились разные семьи «из бывших» — купцов, приказчиков, интеллигенции. Может, и она каким-то концом происходила из такой семьи. А может, Господь и без этого заронил в нее такой огонек, тягу к чему-то высокому, не очень даже понятному, смутно ощущаемому. В любви, в браке она этого не нашла, а потом еще и муж от

нее отказался. И что-то в себе, в своей женственности она ощущала, и ей очень хотелось, чтобы я это увидел. И я увидел.

Нет, у нас не было никакого романа. Она не кокетничала, и ей это вроде и не было свойственно. В ней была некоторая уральская тяжесть, как-то органически вплетавшаяся в состав ее женственности, и кокетства это не требовало. Короче, она мне очень понравилась. И я совсем был не прочь тогда завести с ней — нет, не роман, — а нечто более существенное. Но ведь мне тут же, на другой день после знакомства, надо было уезжать, и ехать в никуда, где со мной неизвестно что произойдет — плохая диспозиция для завлечения женщины. Хотела ли этого она, я никогда не узнаю. Так что походили мы по Симу часа два и расстались. Расстались так, словно еще увидимся. Но не увиделись. Не получилось. Было ли это для нее хоть каким-то огорчением, хотела ли она от меня чего-нибудь большего, я никогда не узнаю. Впрочем, то, что ей нужно было от меня получить, она получила. Со временем из этого могло что-то развиться или не развиться, но времени-то как раз и не было. Мне надо было уезжать. Не знаю, как сложилась потом ее жизнь. Хотелось бы, чтобы благополучно и радостно. Но слишком неуютно складывалась жизнь у женщин ее поколения, особенно у таких, с неопределенными ожиданиями смысла и красоты, — чтобы быть в этом уверенным. Не знаю, была ли адекватно реализована ее обаятельная женственность, но хочу надеяться. А знать мне это неоткуда — больше я никогда не заезжал в Сим. А общения у нас с ней было — всего только два часа прогулки по симским улицам. Я даже имя ее забыл. А ее самое помню хорошо — прямо-таки вижу перед собой. Плодородной страной еще была тогда Россия.

Уехал я без приключений, дня через два — на следующем карагандинском тридцать втором. Закомпостировал билет просто — видимо, время было еще до поры летних отпусков. Дорожных впечатлений не помню. Только одного добродушного офицера — белоруса, начальника КВ (культурно-воспитательной части) одного из лагерей Карагандинской области (Карлага). Он вез с собой сына — чтоб приспособить того к делу в лагерных мастерских:

— Там у нас знаешь какие мастера! Ого! Научится у них — человеком станет.

Он был, как я сказал, добродушен, зла никому не желал и даже — я почти уверен — сам от себя не делал. Думаю, что, если бы я при нем что-нибудь не то брякнул, он, несмотря на синюю фуражку, не донес бы. Впрочем, он и без того узнал во мне «своего» — добродушно подмигнул мне и выразился в том смысле, что «смотри, в конверт попадешь!» Это его предупреждение ничем не было спровоцировано, и он вовсе мне этого не желал, но просто демонстрировал узнавание — таких и запечатывают в «конверты». Он знал, что это так, но не испытывал потребности решать, хорошо это или плохо. Как ему в голову не приходила в голову мысль, что держать таких достойных и трудовых людей, как мастера, на выгучку к которым он теперь вез сына, в исправительно-трудовых лагерях — не совсем естественно. Это было так, они сидели и были хорошими мастерами. Да и достойными людьми. Привезти к ним на выгучку сына вполне стоит, дурному не научат. А почему это так, не его ума дело.

Эмигрантский социолог Р.Н.Редлих назвал это качество «фактопоклонством русского народа». Но на моей памяти я встречал это «фактопоклонство» — отношение к навязанным условиям бытия, как к естественным, — отнюдь не только у русских, оно прочно вошло в психологию всех граждан СССР. Это и есть та «совковость», в которой так часто теперь обвиняют друг друга бывшие советские граждане.

Ссылно-поселенческий рай

«Город промышленного бума» — так назвал Караганду Аверелл Гарриман, когда посетил этот город. Не знаю, понял ли он значение многочисленных вышек и проволочных ограждений вокруг многих обычных стройплощадок. Но Караганда действительно тогда была расцветающим городом. Только приезжму это раскрывалось не сразу.

Московский поезд приходил в Караганду утром. Собственно, не в Караганду, а на вполне соответствующую своему названию станцию «Караганда-угольная» — карагандинского вокзала тогда (как и вообще при мне) еще не было. «Караганда-угольная» была не временкой на месте будущего вокзала (он строился совсем в другом месте — у Нового города), а одной из нескольких подсобных станций, где сходились подъездные пути окрестных шахт и

формировались угольные составы дальнего следования. Она и не на магистрали располагалась (магистраль, напоминая, шла дальше на юг, на Балхаш и Джезказган), а на ответвлении, в месте, наиболее удобном для формирования угольных составов. К приему пассажиров она не была приспособлена совсем.

Ничего этого я, конечно, не знал и, глядя в окно, с нетерпением ждал вокзала. Поезд медленно полз среди шахтных зданий, терриконов и прочих ненарядных промышленных строений и вдруг остановился. Я считал, что перед очередным семафором, оказалось — приехали.

Я сошел вместе со всеми на земляную со щебнем платформу, которую не сразу заметил. И пошел вслед за всеми, сначала по платформе, а потом за ворота. За которыми тоже никакой вокзальной площади не было. Я знал, что мне надо сесть в трамвай, но на маленькой пристанционной площадке не было ни столбов, ни рельсов, и места для них не было. Пристанционную площадку полукругом обступали хибарки. Народ устремился в проем между ними, оказавшийся улицей. Я пошел вслед за всеми по хибарочной улице и, пройдя примерно километр, оказался на не очень благоустроенной площади с трамвайным кругом. Это был центр Старого города. Мне же надо было в Новый и даже за него — на мелькомбинат. В районе мелькомбината и жил мой двоюродный дядя Соломон Ефимович, к которому я ехал.

Трамвай тоже шел среди хибарок и пустырей.

Слово «хибарки» никого не должно обманывать. Полуземлянки, которые я так называю, выглядели неказисто, но отнюдь не всегда означали бедность. Внутри они часто были обставлены вовсе не бедно — по тогдашним, конечно, меркам. Люди, которые в них жили, работали на шахтах, часто хорошо зарабатывали (шахтерам тогда платили много) и могли себе это позволить. Я этого не знал, да и не думал — думал о том, приживусь ли. Я уже знал, что живые души можно встретить везде, где живут люди, и хибарки меня не пугали. А тут вообще завиднелись современные строения Нового города и его зелень. Так что к самому месту претензий быть не могло. Город мне в общем понравился.захотелось в нем прижиться и жить... Но как это было сделать, с чего начать? Оказалось, что «поселок ГШО» (завода горно-шахтного оборудования), где жил Соломон Ефимович, расположен по другую сторону Нового города, от

которого его отделял пустырь, все время застраивавшийся. Для того чтобы туда добраться, надо было пересечь весь город вширь, что было не очень трудно, ибо вширь он был еще невелик. Мне все тут нравилось: светлые дома, бульвар, по которому я шел.

Как мне кажется, к Соломону Ефимовичу я добрался тем же утром. Новый город целиком пересекала красивая тенистая улица — бульвар Мира, как я потом узнал. По этой улице я шел. Мне очень нравилось по ней идти. Проходил мимо разных зданий и учреждений, мимо Горного техникума — вовсе не предполагая, что с ним может быть связана моя судьба, — и вышел к универмагу. Против которого располагалась святая святых — Центральная площадь (кажется, Ленина) и обком КПСС. Эта площадь была началом второй центральной улицы — перпендикулярного бульвару Мира проспекта Ленина. В ларьке у универмага я выпил кружку кваса, очень хорошего, что тоже меня приободрило. Люди вокруг мне тоже нравились. Я почувствовал, что Караганда — рабочий город, а это для меня, еще не избавившегося от большевистской мифологии, имело особый привкус. Впрочем, мне и теперь — без всякой мифологии — это тоже приятно. Правда, карагандинские трудовые люди отличались от многих других трудовых людей тем, что им хорошо платили — это прибавляло достоинства. Я помню разговор, услышанный мной через несколько дней после приезда на автобусной обстановке. Какая-то баба ругалась: «Что ж это творится! Скоро год как живем — до сих пор квартиры не дали!» В каком городе еще можно было тогда услышать такой разговор? Это все равно, что воскликнуть в Бостоне: «Год живу — до сих пор не миллионер!» Но баба считала это безобразием — такое здесь случилось не всегда.

Но пока я только пил квас и смотрел на людей. Правда, я не помню, были ли со мной в это время вещи или я оставил их в камере хранения (полагаю, такая там была). Наверное, все-таки они были при мне. Смутно помнится, что я их тащил, уставал и опять тащил. А когда пил квас, следил, чтоб не сперли. Несчастливым от этого себя не чувствовал. Я уже привык не воспринимать такие ситуации как безвыходные. Тащил. Конечно, в моей памяти действительное в связи с таким маловажным обстоятельством могло спутаться с воображаемым. Но вряд ли совсем. Даже если я

оставил свои вещи в камере хранения, то мне потом пришлось таким же образом проделать этот путь. Но помнится все же, что, перейдя через пустырь и отыскав по адресу дом, я и явился пред светлые очи Соломона Ефимыча с вещами. Он был дома. Помню, что меня это не удивило и что я не боялся его не застать. То ли было воскресенье, то ли дата моего приезда была обусловлена заранее, то ли у него был телефон (чего я в связи с ним не помню), и мы с ним созвонились, то ли просто так сошлось, но мне было куда себя деть в первый момент.

Принял он меня хорошо. Вряд ли как родственника (родственниками мы с ним были десятая вода на киселе), скорее по рекомендации сестры и как «подельника», человека, находящегося в таком же положении, как он сам.

За завтраком он мне рассказал о том, в каких условиях здесь живут ссыльные — и у меня глаза на лоб полезли. В сущности, они здесь жили, учились и работали везде, иногда на довольно ответственных работах. Разумеется, не в «идеологической области». Впрочем, преподавать литературу в школе они вполне могли. Оказалось, что молодые приятели Соломона Ефимовича Юра и Вава, будучи ссыльными, учатся: Юра в Горном техникуме, а Вава даже на факультете языка и литературы учительского института. Конечно, только учительского, но ведь литературы! Ведь он готовил, как тогда по ритуалу считалось, «идеологических работников»!

— Так ведь здесь Эльдorado! — вскричал я, услышав об этом. — Ведь такое нигде невозможно!

— А здесь так, — сказал Соломон Ефимович. Я был вне себя от восторга.

Почему «здесь» было «так», почему Караганда (подобно, кажется, Магадану, Норильску и Воркуте) оказалась своеобразной столицей ссыльных, можно только догадываться. В сущности, прямого запрета на занятие высоких должностей в промышленности не было. На чумаковском небосклоне должность главного инженера райпромхоза, которую, если помнит читатель, занимал ссыльный, Григорий Григорьевич Головин, тоже была высокой. Просто здесь нужда в таких кадрах была больше, да и их было больше. К тому же и в лагерях вокруг таких хватало — не дискриминировать же их по сравнению с лагерниками. И мас-сой брали, население ведь состояло из уцелевших раскула-

ченных (теперь им были возвращены права — якобы за то, что во время войны они доказали свою верность), а также из сосланных немцев и просто ссыльных — бывших лагерников и таких, как мы с Соломоном Ефимовичем. Потом у меня иногда появлялось ощущение, что и МГБ, и МВД на фоне остального населения смотрятся здесь как представители оккупационной армии. Сходство, конечно, чисто внешнее, ибо и те и другие были пришлыми. И следовательно, такого простого способа освободиться, как прогнать «оккупантов», у них не было — такая идея в их головах даже и возникнуть не могла.

Но это мысли более позднего времени и даже основанные на более поздних впечатлениях. А пока мы сидели с Соломоном Ефимовичем и рассказывали друг другу о том, что каждый из нас видел и пережил. Мы ведь были до этого незнакомы. Воспроизвести весь этот разговор я сейчас не в состоянии, да и не имеет смысла. Рассказу обо мне посвящена вся эта книга, а о Соломоне Ефимовиче все главное я уже здесь рассказал. Но рассказать об одной его встрече в Бутырках, относящейся к 1922-му или к 1923 году (точной датировкой его нахождения там я не располагаю) я чувствую себя обязанным, хотя прямого отношения к моему повествованию эта встреча не имеет. Просто Соломон Ефимович, по-видимому, никаких мемуаров после себя не оставил, а он был почти единственным, кто это помнил, рассказанное им может вообще пропасть. А факт этот проливает некоторый дополнительный свет на психологическую историю большевистской диктатуры.

Хотя мне и рассказывать почти нечего. В бутырской камере Соломон Ефимович познакомился и подружился с человеком по имени Эрландо. Человек этот был финским коммунистом, идеалистом. Коммунистические идеалисты в советских тюрьмах тогда еще не сидели — сидели только такие коммунисты, кто был по совместительству уголовником или растратчиком, таких идеалистами не назовешь. А этот был идеалистом, но — угодил.

Они много разговаривали, Эрландо был проникнут величайшей любовью к Ленину, к революции, к русскому опыту. Он был очень удивлен, что «республика» посадила его в тюрьму, был уверен, что все разъяснится (опередил комплекс «жертв тридцать седьмого»), на этой ноте они и простились с моим двоюродным дядей, когда того выпус-

тили. И все действительно «разъяснилось» через несколько месяцев. Дядя открыл газету и с удивлением и ужасом прочел постановление какого-то высокого трибунала о том, что такие-то и такие-то, в том числе и Эрландо, за свою контрреволюционную деятельность и пособничество мировой буржуазии присуждаются к расстрелу и приговор приведен в исполнение. Вот и все, что я знаю об этом. Знаю только, что он не занимался контрреволюцией, возможно, почтительно возражал, говоря о некоторых частных, как ему казалось, вопросах, а те, кому он возражал, сочли их несчастными. Почему же им понравилось его расстреливать?

Меня удивляет не жестокость и не подлость. Преступления «чистого большевизма» мне хорошо известны. Что сравнится по подлости с расстрелом капитана (или адмирала) Щастного? Или с расстрелом офицеров в Крыму? Или вообще с «красным террором»? Да мало ли что еще? Но эти все для них были не своими, как все несоциалисты. К социалистам они вроде относились мягче. Соломона Ефимовича, молодого эсера, выпустили. Поскольку отказался от политической деятельности. Но его товарищей, которые не отошли от эсерства, сослали на поселение или в Соловки и все же не расстреляли. Относились как к заблудшим, но своим — социалистам. Этот же был коммунист, а они его — «в штаб Духонина». Не возражай — не ломай ряды! А может, он знал что-нибудь, кому-то неприятное — допустим, о немецких деньгах? Принимал, оправдывал, но — знал, и они его — того. Непохоже — такая психология больше свойственна Сталину. Который тогда уже втихаря разворачивался, но на что ему был Эрландо? Ничего не знаю. Кроме того, что рассказал — может, кто-нибудь захочет разобраться. Знаю я только, что грязна вся история большевизма, даже в самый «чистый» ее период. И грязен он был всегда не по отношению к «чужим» (к каковым относились не только гамузом — по социальному положению — «классовые враги», но вся несознательная часть человечества), но по отношению и к своим, к самому себе.

Однако хватит об этом. Тем более что о большевизме я и в этой книге, и вообще потом написал достаточно, а тогда ничего из того, что написал потом, я еще не понимал. Эпизод с Эрландо меня, конечно, удивил (тем, что коллизии «тридцать седьмого» существовали уже тогда), но не более того. Вероятно, я его себе объяснил происками Сталина,

тогда уже выходящего на авансцену, и успокоился. Я еще незрел до того, чтобы вглядываться в этот эпизод при-стальной, до более широкого взгляда на революцию. А кроме того, мне просто надо было вжиться и выжить, и что-то мне в этом смысле здесь вроде бы засветило, и я рвался навстречу этому.

Да ведь и разговаривали мы с Соломоном Ефимовичем не до бесконечности. Посидев какое-то время дома, позавтракав и почаяевичав, мы вышли погулять по городу, центральные кварталы которого начинались сразу же за пустырем, отделявшим его от поселка ГШО. Оказалось, что у Соломона Ефимовича здесь уже появилось много знакомых, со всеми он раскланивался, но проходил мимо. Пока мы не встретили молодую пару.

— Вот они! — воскликнул радостно Соломон Ефимович, словно встреча эта была договорена заранее и, наконец, он их нашел. — Знакомьтесь. Это Юра и Валерия — я вам о них говорил. А это...

— А этого я и так знаю. По «Молодой гвардии» — я там тоже бывал, — сказал Юра. И знакомство состоялось. «Молодая гвардия» (так в просторечии, как, надеюсь, помнит читатель, называлось литобъединение при издательстве с этим названием) была в каком-то смысле опознавательным знаком для тогдашней московской молодежи, неким оазисом как бы свободного общения. Там создавалась и своя «карманная» (а может, не такая уж и «карманная») известность. На пересылках меня раза два опознавали по этой же «Молодой гвардии». Вот и теперь опознали.

Этих моих новых знакомых особо представлять не надо. Ими были Юрий Айхенвальд, ставший потом известным и как литератор (поэт, эссеист и переводчик), и как человек, близкий к диссидентскому движению, и его жена Вава Герлин.

Так отпечталось наше знакомство в моей памяти. У Вавы оно отпечталось иначе. Оказывается, я сидел в библиотеке (возможно, меня там оставил отлучившийся Соломон Ефимович), а она, проходя мимо, углядела меня сквозь ее «витринные» окна, подошла ко мне и спросила:

— Вы Эмка Мандель?

Я сознался. Мы разговорились, а потом она отвела меня к ним. Разумеется, после того как появился Соломон Ефимович — не мог же я озадачить его внезапным исчезнове-

нием. Но это разночтение несущественно — остальное, в том числе и роль «Молодой гвардии», сходится.

О том, как попала в ссылку Вава, я уже рассказывал — она была арестована и «полностью изобличена в том, что является дочерью Горба Михаила Семеновича» (видного чекиста-«международника», расстрелянного Сталиным) — просто и мило. Юра попал сюда сходным образом. Его отец, согласно сталинскому «Краткому курсу истории ВКП (б)», входил (был даже назван по имени) в ту группу «буржуазной молодежи», которую собрал вокруг себя Бухарин. Почему «буржуазной», понять трудно, — дед Юры был вовсе не «буржуй», а известный критик Юлий Исаевич Айхенвальд, но кого это интересовало? Да и сакраментальна сейчас была не «буржуазность» Юриного деда, а близость его отца к Бухарину. Ведь слово «Бухарин» воспринималось тогда как одно из имен дьявола — согласитесь, сына человека, который общался с дьяволом, оставлять на свободе было бы как-то даже нехорошо. Вот и посадили. Как Ваву. Как прочих «детей врагов народа». Наряду с недосажеными и «повторниками». Такое было мероприятие.

Но раз на раз не приходится — Юре, в отличие от Вавы, сначала старались пришить что-то более крупное, но потом смилостивились и ограничились изобличением в родстве. И он попал не в лагерь, а в ссылку. Правда, к сожалению, в деле оставались не опровергнутые формально рудименты первоначального обвинения, и они потом сработали. Но в момент нашей первой встречи об этом никто не знал. Мы просто были счастливы, что нашли друг друга. Как тут же выяснилось, в Караганде, только в Старом городе, живет на таком же положении и преподает математику в вечерней школе мой старый приятель (через Николая Глазкова) Алик Вольпин — в будущем известный правозащитник, даже идеолог правозащитного движения Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Впрочем, это только одно из направлений его деятельности — круг его интересов и занятий всегда был намного шире. Таким образом здесь, в Караганде, сам собой создавался уголок Москвы. Так что я пришелся сразу ко двору.

Отношения у нас завязались сразу — в тот же день я оказался у них в гостях, может быть, даже пришел с ними вместе. В первый же день я у них познакомился с их близкой приятельницей, тоже москвичкой и тоже ссыльной, Оль-

гой Львовной Адамовой-Слиозберг, которая вскоре после моего прихода зашла к ним по дороге «на огонек», возвращаясь с работы (работала она здесь плановиком-экономистом в пошивочном комбинате) — чувствовалось, что эти ее заходы на огонек уже вошли в обычай — отношения были самые тесные.

Но пора дать хоть какое-то представление о месте, где жили мои новые друзья и где предстояло жить мне. Хотя из моего рассказа все как будто должно быть ясно — жили они в Караганде, в Новом городе, где я их встретил и откуда мы с ними без труда добрались пешком до места их жительства... Все так. Но все-таки место, где они жили и начал жить я, не было Новым городом. Оно и называлось иначе — Большая Михайловка. Статус этого поселения определить трудно. Административно оно относилось к Новому городу, но все-таки оно было чем-то отличным — Большой Михайловкой. Судя по названию, это была деревня. Где-то на другом, очень далеком ее конце была даже железнодорожная станция с таким названием — видно, раньше она и была отдельной деревней и только потом дотянулась до города. Но начиналась эта «деревня» почти сразу за центральным проспектом Мира, в тылах его домов, за небольшим пустырем. Городской базар размещался тоже в Михайловке, и тоже рядом с городом. Улицы в этой деревне были широкими, дома одноэтажными, но тоже большими. Может, на том конце, где станция, Большая Михайловка и была деревней, но это было далеко, я там никогда не был, а здесь это не чувствовалось.

«Коренным» ее населением, теперь постепенно разводящимся, были раскулаченные. Но здесь они сливались с остальным населением, бывшими зэками, просто ссыльными, высланными немцами и прочими ущемленными гражданами. И это сказывалось на атмосфере. Не то чтобы кто-нибудь рвался в «рыцари сопротивления», но все все понимали и склонности помогать начальству доносами не имели. Наоборот. Вспоминается в связи с этим, как зять хозяев дома, где квартировали и Юра с Вавой, фронтовик, вовлеченный на фронте в партию, придя с дежурства (теперь он работал горноспасателем — не скажешь, что «блатная», «партийная» должность) и немного выпив, заходил в их комнату и, словно убеждая кого-то, твердил:

— Юра!.. Ты меня не бойся... Я хоть член партии, но человек хороший...

Ни в какое доверие он не втирался, никакого интереса к нашим разговорам и спорам не проявлял, а просто не хотел, чтоб о нем плохо думали. «Партийность» эта явно его очень тяготила.

Люди, у которых снимала квартиру Ольга, очень хорошие, добрые, порядочные люди, тоже были из раскулаченных. Многого рассказать не могу, но в доме можно было говорить что угодно, не боясь доносов. Помню только, что хозяйку звали Верой, что была она небольшого роста, но очень энергичная, полная какой-то мягкой, ненавязчивой энергии. И вообще была милой, доброй, совестливой женщиной, всегда готовой помочь. И помогала мне даже потом, если случалась нужда — допустим, общежитие в зимние каникулы закрывалось на ремонт. Причем помогала всегда сердечно и бескорыстно. Чуткая была советская власть: лучших людей находила и слизывала, как сливки, избавляла от них окружающую здоровую среду.

Такие люди жили у нас в Михайловке. Но компактно раскулаченные жили не здесь, а в Тихоновке. Поселение это располагалось за Старым городом у дороги на Темиртау. Жителей его так и называли: «тихоновские куркули». Народ это был в основном трудовой, честный, но, по слухам, и вправду прижимистый. Официально теперь они были уже не «куркули», а «знатные шахтеры», но называли их именно так. Претерпели все они, надо думать, достаточно, но теперь были восстановлены в правах и зарабатывали не то что немало, а даже много — шахтерам Сталин тогда платил щедро. Но при этом они — вспоминая слова своего покойного бостонского друга, «кулацкого сына» Федора Самоделова, после того, как я выразил беспокойство по поводу его ухода на пенсию (мол, что будешь делать? Захиреешь!): «Не беспокойся, Наум, кулак себе работу всегда найдет», — и приусадебным участком не брезговали. Да еще как не брезговали! — такие слезницы в газету писали друг против друга по поводу переставленного соседом на 15 см в «мою» сторону плетня (то есть оттяпанного клочка земли) — закачаешься! Смешно? А ведь о чем хлопотали? О расширении фронта работ — о чем же еще? — часто ли теперь можно встретить такую страсть к «лишней» работе?

Но сейчас речь не о Тихоновке, а о Большой Михайловке, куда мне предстояло «переезжать». Переезд этот мне хорошо запомнился. Не помню, где я ночевал в эту первую свою карагандинскую ночь — у Айхенвальдов, Ольги или Соломона Ефимовича, — но хорошо помню, что, унося вещи от Соломона Ефимовича, вышел из его дома вместе с ним. И мудрено было бы это забыть. Но расскажу по порядку. Пока мы шли через пустырь, а потом по короткой тогда улице Костенко (на которой, кстати, помещалось общежитие техникума, где я потом жил) дошли до проспекта Ленина, все было в порядке. Но черт нас дернул завернуть в угловой гастроном — мне надо было что-то там купить. Соломон Ефимович, как человек более опытный и зрелый, вызвался сторожить вещи — пока я буду занят своими покупками. Я согласился. И зря. Конечно, двигаться по магазину с вещами было бы неудобно, но я в своих многочисленных поездках и пересадках к этому привык и привык не выпускать свои вещи из виду, даже расплачиваясь в кассе и получая товар. Соломон Ефимович такой выучки не имел. И когда я вернулся к нему с покупками и стал укладывать их в одну из своих сумок, ему показалось, что надо это делать не так, и он тут же, повернувшись спиной к охраняемому объекту, стал показывать, как это надо делать по-настоящему. Я, с которого была как бы снята ответственность, к этому времени полностью расслабился и потерял бдительность. Очнулся я только, когда не обнаружил за его спиной чемодана. Но Соломон Ефимович не мог поверить в реальность происшедшего.

— Да вы что? — кричал он мне. — Сейчас они (вещи) найдутся. Подождите, они (на этот раз воры) сейчас вернутся!..

Это была очевидная нелепость. Соломон Ефимович был умным человеком и опытным юристом. Предположение, что вор, унесший чемодан, тут же явится с ним обратно туда, откуда его унес, показалось бы ему в любое другое время неудачной остротой. Но потрясение от внезапного исчезновения чемодана — да еще в результате его отеческого присмотра — было столь велико, что он потерял на время чувство реальности... И долго не мог успокоиться. Я тоже огорчился. Не помню, что в этом чемодане было, но явно вещи нужные и по тем временам трудновозместимые. И все же я примирился с потерей гораздо легче, чем он. И отправился

в Большую Михайловку, к месту нового жительства не только налегке, но и с легкой душой.

Началась моя карагандинская жизнь. Впрочем, это слишком громко сказано. Я довольно долго не мог понять, в чем эта жизнь должна состоять, что мне делать и к чему пристроиться. Писал, читал книги и общался с людьми. Прежде всего с теми же Ольгой и Айхенвальдами. Я бывал у них каждый день. Болтали, делились впечатлениями. Но больше спорили. С Юрой, конечно. Уже потом, в другие времена, полемизируя со мной по другому вопросу, он вспоминал, как в Караганде открывал мне глаза на советскую действительность. Это некоторый перебор. Но правда и то, что он тогда действительно уже замахивался на Ленина, а для меня Ленин еще долго был иконой и «табу». Так или иначе, эти Юрины наскоки меня не убеждали, они казались мне слишком рационалистичными, и я им внутренне сопротивлялся. Были ли они и впрямь слишком рационалистичными или мне так по косности казалось, теперь сказать трудно. К некоторому резонерству, чрезмерному логизированию — особенно в спорах — Юра склонность имел всегда. Но ведь он был прав. И все же... Однажды я застал его за чтением ленинского «гениального» (как и я тогда полагал, не читая) труда «Материализм и эмпириокритицизм».

— Послушай, — обратился он ко мне, — что он пишет.

Я насторожился. И он прочел мне маленький отрывок...

— Ну, как ты это понимаешь?

Я насторожился еще больше. Труд, по общему представлению, был философский, а философию я и теперь знаю только через друзей (как Белинский Гегеля). Насколько я понимал, Юра в этом отношении немного меня обогнал, но только немного. Так какого же черта нам лезть со свиным рылом в калашный ряд? Но то, что он мне прочел, меня неприятно поразило. Не своим философским содержанием — ленинское утверждение, что в философии есть основной вопрос (пресловутое: «что первично, дух или материя?»), не могло бы меня ужаснуть своей неграмотностью — я был еще неграмотней. Марксистская эстетика Лифшица—Лукача, в которой я поднаторел, приобщала к культуре мысли, но в строгом смысле слова не была философией. Поразил меня прочитанный Юрой отрывок не смыслом, а тем, что содержал грубую передержку, которая ста-

новилась отправным пунктом для целого каскада других передержек и издевательств над оппонентами. И чтоб понять это, не надо было знать философию. Достаточно было понимать смысл употребляемых автором слов. Потом Юра мне прочел еще несколько таких мест, из них состояла вся книга. Ленин в философском труде выступал как недобросовестный оратор на политическом митинге. Но у такого оратора всегда есть конкретная цель — ему надо на короткое время заглушить оппонентов и «повести за собой массы». А Ленину что в данном случае надо было?

На мой сегодняшний взгляд, причины, побудившие Ленина предпринять эту «езду в незнаемое», были чисто личные — в трудный для революционера момент захотел утвердиться как философ. Он ждал бури, возражений на эту книгу (тогда бы он им показал!), но не дождался. Он сам, а вслед за ним советская пропаганда, воспринимал их как политические. Но это нелепо — большинству революционеров философские проблемы было неинтересны и непонятны, а те, кого такие материи интересовали, пожимали плечами и проходили мимо — какая уж тут политика!

Это уже при Сталине всех студентов принудительно кормили этим сочинением (как и знаменитым «философским» параграфом «Краткого курса»), чтоб люди, ничего не понимая, чувствовали высокоумность их вождей. Пугачев с этой целью выводил на бумаге бессмысленные закорючки — якобы писал грамоты иноземным государям на их языках... Уверен, что сам Ленин такого эффекта не предвидел и не хотел. Но в этом насаждении невежества все равно виноват. Хотя бы в том, что, придя к власти, позволил себе взять «революционный» реванш за философский провал — согласился опубликовать эту работу. А ведь к этому времени у него уже было некоторое представление о философии — прочел и законспектировал Гегеля (конспект этот остался и потом был издан под названием «Философские тетради»). Присущие этому человеку комплексы и жажда личного самоутверждения, во многом определившие его поведение при решении более важных для страны и мира вопросов, здесь проступают наиболее четко. За грандиозностью проведенных им «мероприятий» разглядеть личные мотивы гораздо трудней. Не только посторонним, но и самим деятелям*.

* Подробнее об этом в моей статье «Власть заговора» в сборнике «Падающий Зиккурат», составленном О.Чухонцевым.

Но тогда я об этом не думал, а просто продолжал считать Ленина воплощением ума и благородства. И именно поэтому такие нелогичности в интеллектуальном наследии своего кумира были мне особенно неприятны. Согласиться с тем, что мой кумир уверенно и высокомерно судил о том, о чем и представления не имел, или, того хуже, просто шулерски передергивал, я просто был не в состоянии. Сегодня я думаю, что имело место и то и другое — что, безусловно, на стиле этой работы сказалось его абсолютное философское невежество, которого он в себе даже не подозревал, но что так же безусловно сказались на нем и его привычки пропагандиста и интригана, способного для защиты своих «философских» положений применять те же методы, что и для защиты «угнетенного класса» и его «авангарда». Поскольку во главе одного он мыслил исключительно самого себя, опять-таки воображал только самого себя.

Передержки били наповал. Даже тогда. Но все же я пытался как-то защитить свое видение мира и как-то возразить Юре. В основном упирая (как все, кто может доводами подкрепить то, в чем они аргюги убеждены), что все тут не так просто, что, вероятно, это оправдывалось обстановкой. Но больше удивленно и подавленно молчал — чувствовал свою беспомощность, но не сдавался.

Не сдавался, естественно, и Юра — жал на мое ленинопоклонство. Однажды, помню, он показал мне полемическую статью Плеханова против Ленина, где Плеханов убедительно и точно доказывал, что выдаваемое Лениным за идеал «сознательного пролетария», на самом деле есть идеал персидского шаха*. Душа всех этих откровений не принимала, но возразить мне на них было нечего, и память поневоле их впитывала.

Об этих спорах вроде и думать нечего: все ясно. Безусловно, я в своих рассуждениях был абсолютно неправ, а на стороне Юры была абсолютная правда. Но все же и в этих воспоминаниях мне чего-то в этой правоте не хватает. Она была слишком ригористичной, слишком, я бы сказал, рассудительной, абстрактной. Как-то не сообщалась для меня с окружающей жизнью, да и с нашей собственной...

* Персидский шах будто бы сказал, отвечая жене французского маршала Мак-Магона, что его идеалом является Россия. Потому что там «Janats — politique, toujours — «Oura!» et puis — fuyitj!» («Никогда — политика, всегда — «Ура!» А потом — фьюить!»).

Попробую объяснить, что я имею в виду. В предыдущей части этой книги я рассказывал, как отказался от Сталина. И обратил внимание на то, что ощутил в связи с этим душевную освобожденность, более близкую связь с другими людьми. Причем произошло это, несмотря на то что это мое «освобождение» не коснулось моей веры в Ленина и в «чистый большевизм». Объяснялось это просто — ни Ленина, ни «подлинного большевизма», ни их идеологии в окружающей жизни не было, от них для меня оставалась только легенда — ложная, но непосредственно на жизнь теперь не влияющая. А Сталина вокруг было более чем много, он заслонял горизонт и в качестве токсической примеси нагнетался в атмосферу, входил в ее состав. И это было то, чему нам приходилось внутренне противостоять. Опираясь на Ленина. Ничего удивительного — почти все пострадавшие, кого мы видели — от просто интеллигентов, кулаков и солдат, сидевших «за плен», до бывших коммунистов, — прямо пострадали именно из-за Сталина (из-за Ленина только опосредованно). Я отнюдь не помягчел к коммунистам. Но надо учесть, что мы имели дело только с ошметками «ленинской гвардии», что все наиболее виноватые, наиболее видные ее представители были расстреляны даже не в тридцать седьмом, а еще в тридцать шестом. А «ошметки» эти часто были люди лично совсем неплохие, только «заталмуженные». Но я ведь и сам был «заталмуженным», даже держался за эту «заталмуженность», как за последнее духовное прибежище. Как в какой-то мере почти все, даже истинно верующие граждане... Конечно, многие из этих «заталмуженных», если бы снова зазвучали их трубы, могли вспомнить молодость и опять стать опасными — отозваться на трубный зов согласием на любую необходимую для «дела» жестокость и подлость. Но этого даже и потом не произошло — дальше «партийных судов чести» при райкомах труба их не позвала — не пустили. Да и они сами по возрасту бы не пошли. Только подписывались под одобрением партийных решений, особенно отвратительных.

К чему я это веду? Только к тому, что Юра был прав чисто академически и интеллектуально. И хоть это отнюдь немало, хоть это тогда требовало и духовного мужества, но то, что никакой духовно-эмоциональной замены нашей фикции он при этом не давал и не искал, умеряло воздействие его открытий на меня, даже настраивало на сопро-

тивление. К тем же (хоть не совсем к тем же) выводам я пришел только через шесть лет и, как говорится, на жизненном материале — независимо от Юры*. Это не претензия. Ибо где мог Юра тогда и там найти эту основу? Ни сборника «Вехи», ни религиозных философов мы тогда не читали. Достаточно, что он самостоятельно отринул всеобщее заблуждение — даже вполне порядочных людей. Я к этому тогда еще не был готов. Ольга, с которой я тогда подружился, — тоже. Хотя самостоятельности ей было не занимать. Пора перейти и к рассказу и об этой удивительной женщине.

Ольга Львовна была человеком живым, умным и одаренным, обладала неиссякаемым интересом к людям, и отнюдь не только своего круга, относилась с уважением, пониманием, сочувствием к жизни самых разных людей, даже весьма далеких от нее по культуре и интересам. Она вообще была удивительным человеком. Это сказывалось в ее ощущении как жизни, так и литературы. Ольга Львовна была из тех читателей, для кого герои любимых книг были знакомыми людьми, а о знакомых людях она говорила как о героях книг. Причем люди могли быть самые простые — мастерицы на ее швейной фабрике, хозяйка нашей квартиры, их маленькая дочка — все, кто встречался на ее пути. Она в каждом уважала заключенную в нем жизнь, чувствовала с ним родство. И поэтому о каждом она говорила интересно...

Ольга обладала несомненным литературным даром — достаточно сказать, что до появления «Одного дня» Солженицына я считал ее мемуары, доступные и известные теперь многим, самым сильным из написанного о лагерях. Может быть, это несправедливо по отношению к беспощадной к читателю, режущей по живому правде Шаламова, с которой живой душе невозможно жить, но без усвоения и преодоления которой всем вместе невозможно выжить, — но я сейчас не решаю вопрос о чьей-либо сравнительной ценности, а говорю только о своем ощущении Ольгиного дара. Я ненароком назвал здесь Ольгу Львовну просто Ольгой, но так я ее начал звать почти сразу и называл ее так всю жизнь, без всякого, конечно, амикошонства: она была существенно старше меня (за тридцать лет

* О своем отказе от Ленина и коммунизма я еще надеюсь рассказать в конце этой книги — если доживу до этого момента.

дружбы мне ни разу и в голову не пришло обратиться к ней на «ты»), но Ольгой я ее называл. Так в дальнейшем я буду называть ее и здесь.

Но я отвлекся. Речь у нас шла не о том, как я называл Ольгу, а о ее даре. Но и это отчасти отвлечение. И проявление этого дара, и мое отношение к нему — факты совсем другого времени, качественно отличного от того, в котором сейчас находится мое повествование.

Вернемся к нему. Подробно рассказывать об Ольге, может быть, излишне — она это сделала сама подробно и интересно. Но кое-что сказать все-таки придется. Первый муж Ольги был профессором МГУ, специалистом по «истории биологии», она сама — плановиком. Были вполне лояльны советской власти, но политикой не занимались и в партии не состояли. Обычные советские люди. Жили своей семьей, растили двух маленьких детей. В принципе «по былинам того времени» репрессиям не подлежали. Но проявили историческую непредусмотрительность — среди их знакомых был один старый большевик. Знакомство — во всяком случае, до 1936 года — было неопасным, даже почетным. Но в 1936-м все перевернулось. Оно могло оказаться и постыдным, и даже опасным. Именно такие стали теперь «подлежать» — и аресту, и шельмованию, и необходимости сознаться в фантастических злодеяниях. И, как правило, в них «чистосердечно» сознавались. Конечно, не в тех, которые совершали на самом деле — те вошли в «летопись побед нашего народа, достигнутых под руководством партии и лично товарища Сталина». И этот тоже сознался — что он злодей-террорист и готовил убийство Кагановича... А поскольку одному такое дело не осилить, то в результате тех же «упрощенных методов следствия», которые уличили в терроризме его самого, он стал судорожно припоминать имена своих знакомых — обвинение было фантастическим, но сообщники нужны были реальные. Так и попали Ольга с ее первым мужем в террористы. Мужа как важного заговорщика расстреляли, а ее как менее важную, чем муж, но тоже очень значительную политическую величину, отправили не в лагерь, как прочую мелюзгу, а в тюрьму с символическим названием СТОН — Соловецкая тюрьма особого назначения, — где полагался строжайший режим и строжайший надзор... Особый и специальный. А сидели там с Ольгой

одни старые большевички, восторженные поклонницы Сталина. Власть играла в куклы, но куклами были живые люди.

Потом власть и сама очухалась, решили зря средств на этот театр без зрителей не тратить и тюрьму раскассировали. А заключенных — кого расстреляли (игра-то все-таки продолжалась), кого уравнили в правах с другими зэками. Другими словами, отправили в лагеря — трудиться и исправляться... Ольге заменили участие в террористической группе на «недонесение» и отправили на Колыму в лагерь «Дальстрой»... О своей лагерной жизни она достаточно хорошо повествует сама в своих рассказах...

Там, на Колыме, после нескольких лет лагерей, уже будучи расконвоированной, она вышла замуж вторично — естественно, тоже за зэка, за Николая Васильевича Адамова, о котором речь потом. Но по окончании срока она все равно вернулась в Москву — к детям... Формально, конечно, не в Москву, а в Александров (знаменитый 101-й километр), но жила с родными на Петровке в коммунальной квартире. И никто не донес. Дожила там до той поры, когда Абакумову пришла пора «превышать полномочия» и хватать «повторников» — тут ее быстро обнаружили. И опять — в Бутырку. Там она и познакомилась с Вавой, арестованной студенткой Ленинского пединститута.

В Караганду с Колымы приехал Николай Васильевич. И вот теперь, незадолго до моего приезда, он опять «загремел». Ольга опять осталась одна. Она и раньше тесно дружила с Айхенвальдами, а теперь и вообще зачастила к ним. Здесь мы и встретились, и подружились. Здесь же решился и мой квартирный вопрос — они с Николаем Васильевичем снимали две смежные комнаты неподалеку от Айхенвальдов, теперь она предложила мне снимать их напололам — одну она, другую я. Я, разумеется, согласился. Жил я в этой квартире недолго. Летом, когда на каникулы приехали ее дети и надо было освободить место, я (максимум до осени, когда я поступил в техникум и получил место в общежитии) жил на другой квартире. Но на какой, у кого? Не у Айхенвальдов же — у них негде было. Так где же? Ума не приложу! Не помню.

Поначалу мне казалось, что прожил я это время в одной странной немецкой семье. Странность ее заключалась в главе семьи, по профессии сапожнике. Но была она, конечно, не в его профессии, а в том, что согласно молве

был этот сапожник, в отличие от своей жены, вовсе не немцем, а, наоборот, евреем. Но, женившись, записался немцем — показалось, что это красивее. Его и выслали. Впрочем, он, вероятно, все равно бы не оставил жену с детьми: семья была дружная и доброжелательная. Но с самого начала версия эта мне казалась сомнительной — в памяти у меня никаких отношений с ними не осталось. Вера с семьей остались, Юрины хозяйева остались, а эти почему-то нет. Но теперь Вава мне напомнила, что на этой квартире жил не я, а она с матерью — после Юриного ареста. Что же касается меня, то Вава утверждает, что жил я у ифлийки Ляли Коварской.

Странное дело! Эту милую женщину я вполне помню. Но по Москве — к ней меня привел Сарик Гудзенко, что же касается Караганды, то я не помню не только своего проживания у нее, но и просто ее присутствия в этом городе. К стыду моему, это просто выпало из моей памяти — ведь, если Вава права, Ляля тогда меня очень выручила... А я не помню.

Но на моей дружбе с Ольгой это мое отселение никак не отразилось. Она возникла в тот день, когда я впервые появился у Айхенвальдов, и продолжалась до самой ее смерти в 1992 году.

Теперь Ольги нет, а тогда в Караганде все мы собирались жить и на многое надеялись. Особенно она. И у нее были на это веские основания.

— Пойми, я сидела в Бутырках — и в тридцать седьмом, и теперь. Тогда все было безнадежно, казалось, что так и будет, что это навсегда. А теперь — ну не может так вечно продолжаться. Все — как на вокзале, в неудобных позах, все временно, все вот-вот должно кончиться.

Тут ее рассуждение напомнило мне слова одной партизанши. Она застряла с мужем на одной станции под Коростенем, хотя немцев отнюдь не ждала. Население ушло от войны в глушь и там затаилось. Потом послали на разведку двух «дидов» — из того расчета, что «диды» уже достаточно пожилы, и если что случится — на то Божья воля. «Диды» эту логику считали естественной и пошли. Обошли весь поселок, все посмотрели, увидели рассказчицу, поговорили и с ней. И на ее вопрос:

— Шо ж тэпер будэ?

Ответили:

— Та ни, воны тут ненадовго.

А когда она изумленно спросила, с чего они это взяли, изрекли:

— Та ты сама подывычь (посмотри), дочко... Та хйба ж хазяин, шо йому у тий хати жить, хйба ж вин так зазяйнуэ?

После чего презрительно плюнули и ушли.

Ольге уходить было некуда, но ее ощущение реальности было столь же непосредственным и синкретическим, как этих, может, не шибко грамотных, но мудрых людей. Это ощущение жизни светилось во всех ее воспоминаниях о прошлом и пережитом — об аресте, о тюрьме, о Соловках, о Колыме, которыми она охотно делилась со мной и другими... Потом многие из них вошли в ее рассказы-свидетельства, но тогда она еще ничего не писала. Правда, были у нее стихи, написанные для самой себя в трудную минуту. Стихов этих я не запомнил, (произвели они впечатление не поэтическими качествами, а психологической точностью), но содержание одного из таких стихотворений (потом оно вошло в ее автобиографическую прозу) произвело на меня сильное впечатление и врезалось в память. Строки эти о том, как она в тюрьме перечла «Войну и мир», когда ей однажды посчастливилось получить эту книгу из тюремной библиотеки. Совершенно подавленная, превращенная в ничто, втопанная в грязь, она принялась за чтение. И, естественно, снова погрузилась в мир переживаний и размышлений героев этой книги и ее автора — и стены камеры как бы раздвинулись. Она опять стала жить, опять ощутила себя самой собой. Воскресла... И вдруг осознала, что раз это так, раз она может так сочувствовать и понимать чувства этих людей и самого Толстого, значит, она вовсе не ничто — плюнь да разотри! — как стараются внушить ей следователи, а такая же, как была, как привыкла о себе думать — человек, равный другим достойным людям. Все оставалось: и тюрьма, и неправдоподобное обвинение, и все, через что ей пришлось потом пройти, но она как бы восстановилась, воскресла. То же самое произошло на Лубянке и со мной, и тоже в связи с чтением «Войны и мира». Но об этом, кажется, я уже здесь рассказывал.

Это специфика только того времени. Когда людей сажали просто ни за что. Когда обыкновенную женщину, мать своих детей, вдруг ни с того ни с сего вырывают из дома,

отрывают от семьи и с ходу обращаются с ней как с разоблаченным убийцей, шпионом или диверсантом. Или когда меня при моей идиотской и даже анахронической преданности отрывали от моего служения (пусть воображаемого) и навязывали мне враждебность всему, что я тогда (к сожалению) любил. Тут было от чего голове пойти кругом — ведь мироздание начинало качаться, самих себя чуть не потеряли. А Толстой все восстанавливал, возвращал на свои места...

Ни с какими диссидентами такого быть не могло. Их арестовывали незаконно, но не «ни за что». Могло быть тяжело, даже страшно, можно было испугаться, некоторые даже не выдерживали и предавали, но преследовали их за то, кем они были и сами себя считали. И кем их считали следователи (риторика о связи с иностранными спецслужбами так и оставалась риторикой). Из этого, конечно, не следует, что книги, подобные «Войне и миру», если к ним попадали, не поддерживали и их в трудную минуту (хорошие книги и не в тюрьме поддерживают), но восстанавливаться и воскресать диссидентам было не с чего...

Во внутренних тюрьмах сталинского МГБ люди, которые сидели за то, кем они являлись на самом деле, были наперечет. Одним из таких людей был второй муж Ольги Николай Васильевич Адамов. Она много о нем рассказывала — тем более что не совсем еще отошла после его недавнего ареста. Но держалась молодцом. Вспоминали его часто и Айхенвальды, на которых он тоже произвел сильное впечатление. Человек он и вправду был незаурядный... Познакомились они с Ольгой и поженились, как я уже отметил, на Колыме, когда они оба были то ли расконвоированными, то ли освобожденными без права выезда «впредь до особого распоряжения». (Скорее, захватили и то и другое.) Попал Николай туда если не за троцкизм (вряд ли у него в середине тридцатых была возможность заниматься такой деятельностью), то как троцкист. Он и был троцкистом, хотя по характеру, скорее, анархистом. Именно поэтому у него было столкновение и с самим Троцким, когда тот еще был наркомвоенмором, а Николай после Гражданской войны служил в армии.

Троцкий явился в полк, где Адамов был помкомполка. Адамов бодро отрапортовал ему, как в подобных случаях положено, и заключил рапорт словами:

— Докладывает помкомполка Адамов.

— А из чего это видно, что Адамов помкомполка? — ехидно спросил Троцкий. — Почему знаков различия не носите?

— Не считаю нужным! — ответил молодой и горячий помкомполка наркомвоенмору.

— Ах, не считаете нужным выполнять приказы! — взорвался в свою очередь Троцкий и тут же уволил строптивного помкомполка из армии.

Я это рассказываю, чтобы продемонстрировать характер Николая Васильевича в действии, а не потому, что считаю его правым. Кто тут мог быть прав?

Исторический фон, на котором разыгрывалась эта сцена, таков. Только что кончилась Гражданская война. Вроде бы победой, но к мировой революции она не привела. Однако власть в руках «партии» сохранила. А что с ней было делать? По существу, нечего, кроме как удерживать — конечно, в ожидании «лучших» времен. А для этого постепенно восстанавливать государство. Государство же требует восстановления регулярной армии, а никакая армия невозможна без знаков различия.

Тогда как раз только вводили знаки различия, и это наткнулось на яростное сопротивление оскорбленных в лучших чувствах командиров из выдвинутцев Гражданской войны. «Что это еще за знаки? Мы и без них били любых золотопогонников. Ни к чему нам эти старорежимные штучки! За что ж тогда боролись?» — возмущались они. С этими «нездоровыми настроениями», с «партизанщиной» тогда как раз велась борьба.

Не берусь сегодня решать, кто тогда был прав в этой борьбе. С революционной точки зрения, вероятно, более правы и последовательны были «партизаны», а не Троцкий. Но революционная система ценностей мне давно чужда. И конечно, с точки зрения здравого смысла, более правым в данном случае выглядит Троцкий. Правда, тут резонно встает вопрос (который Троцкий не задал себе до конца жизни): «Если надо следовать здравому смыслу, зачем тогда устраивать социальные революции? Неужто для того, чтоб снова строить государство?» Здравый смысл им (как Лениным, Зиновьевым и всеми вплоть до Сталина) применялся только как средство для его позднейшего полного искоренения

(наравне с «буржуазными пережитками», с которыми революционеру приходится пока считаться).

Все это важно, но об этом я говорю в других местах. Здесь мне это понадобилось только для того, чтобы отметить, что Николай Васильевич в своем противостоянии наркомвоенмору попал еще, как теперь говорят, «под кампанию», под то, с чем как раз тогда, «в данный напряженный ответственный момент» (а у нас после Октября и до Сталина каждый данный момент был «напряженным и ответственным»), велась «борьба». Это тоже способствовало крушению его военной карьеры и столь жесткому обращению с ним наркомвоенмора. Жесткому по тогдашним, конечно, меркам — только выгнали. Тем не менее, когда началась «внутрипартийная борьба», он примкнул именно к Троцкому. Поскольку Троцкий был «левым».

Хочу напомнить, что никакого троцкизма вообще тогда не было. Не было такой платформы. С платформами выступала «рабочая оппозиция», «децисты», партия их, естественно, громила (Ленин из-за них даже пошел на запрещение фракций), но троцкистской платформы не было. Троцкий тогда вполне шел «в русле». Просто многим руководящим товарищам («вождям» по-тогдашнему) было неприятно, что одну из главных ролей в их октябрьском «перевороте» (тогда и большевики не называли его «революцией») играл не один из них, изначальных «ленинцев» (то есть кто-либо из группки лиц, в эмиграции увивавшихся вокруг Ленина), а чужак, человек, державшийся особняком и часто даже довольно ехидно выступавший против их кумира. Поводом для их выступления была статья Троцкого «Уроки Октября». Кого-то из них (Зиновьева и Каменева за их выступление против вооруженного восстания) она задевала прямо; других обижало, что Троцкий, один из творцов Октября, не особенно скрывает, что он это знает; третьим просто было обидно... И (я думаю, по наущению Сталина) они выпустили совместный сборник под тем же названием. Поместили там для объективности статью Троцкого и свои статьи против него.

Я пытался разобраться, в чем состоят разногласия. Это было трудно, ибо все статьи, включая статью Троцкого (его талант журналиста в чисто политических работах не проявлялся), были написаны на тогдашнем партийном жаргоне: тускло, плоско и неинтересно. Смысл их атак против Троц-

кого я для себя сформулировал просто: «Тов. Троцкий, верный своим мелкобуржуазным антиленинским взглядам, утверждает что — «в лоб», в то время как каждый сознательный пролетарий и настоящий большевик знает, что — «по лбу». И на этой основе началась широкомасштабная «борьба с троцкизмом», закончившаяся его полным разгромом. Кипели подлинные страсти, люди искали и находили смысл в этих разногласиях, преследовали товарищей. Причем часто были вполне искренни, верили в непогрешимость ленинского — каким бы оно ни было и кто бы его ни возглавлял. Сами подбирали доводы в его оправдание — как всегда потом. Другие мужественно терпели поношения, которым подвергались, и до конца (до обвинения во фракционности) стояли на своем. На чем? Неужели им так было важно, в лоб или по лбу? Выходит, было. По причинам чисто психологическим. Я бы даже сказал, моральным, если бы весь большевизм не был сознательно аморален (пусть даже для торжества морали в будущем). Николай Васильевич с удовольствием рассказывал, как им то ли во время Гражданской войны, то ли сразу после надо было в одной из деревень «взять» популярного священника. Но мужики про это прознали и организовали оборону. Тогда комсомольцы, «беспокойные сердца», под руководством Адамова применили маневр — сделали вид, что хотят взять совсем другого священника; мужики передислоцировались защищать этого, а лихие ребята в это время арестовали нужного. Никакого нарушения морали Николай Васильевич в этом своем подвиге не видел — ведь это как минимум пособник врага, чего ж с ним миндальничать... Но теперь большевистский аморализм начали переносить, если выражаться словами Солженицына, — с общества на сообщество. На то сообщество, которое, собственно, и взяло на себя ответственность за этот «временный» аморализм. Это обнажало бездну под ними, и с этим «беспокойные сердца» примириться не могли. И они вступались — за любимых вождей и любимые слова, подспудно — за буквальный большевизм как смысл своей жизни.

Одним из таких людей был Николай Адамов... Жил он после армии в Воронеже. Там, по его словам, троцкисты представляли из себя значительную группу, и он был вожаком или одним из вожаков ее молодежной части. Арестовывали его, кажется, несколько раз. Последний раз в трид-

цать седьмом (или тридцать шестом). Он возглавлял в это время какое-то областное учреждение. Перед арестом он обнаружил слежку и, поскольку некоторой способности к игре и хулиганству не утратил, позвонил начальнику в НКВД (как один из областных руководителей другому):

— Слушай, что ж это у вас делается! Тут у вас какой-то дурак вертится, перед всеми хвастает, что он у вас работает... Что это такое?

— Да никого из наших возле нас нет... Ты что-то путаешь! — ответил встревоженный начальник.

— Как знаешь! Мое дело предупредить, — мирно усугубил его встревоженность Николай Васильевич. Разумеется, олух, ходивший за ним, ничего никому не говорил. Но говорил или нет, такое было время, что это невинное «предупреждение» тоже могло обернуться опасностью для начальника НКВД, и он это понимал. Поэтому хоть «никого из наших возле нас нет», но через несколько минут раздалось «вжик-вжик», машина подскочила, сняла «топтуна», опять развернулась и — «вжик-вжик» — умчалась. Доказали несчастный «топтун», что он ничего подобного не говорил, не знаю: Николай Васильевич не поинтересовался. Тем более что его через пару дней посадили. Этот эпизод вызывал у нас злорадный смех — радовались посрамлению врага. И только сейчас, когда я пишу об этом, я впервые подумал, что и этот «олух» — человек, что ему тоже было страшно от невозможности опровергнуть возведенный на него нелепый поклеп. Но ведь и сам он ходил за людьми отнюдь не с благотворительной целью. Занимался он злым и нелепым делом (скорее всего, по комсомольской путевке и в виде особого доверия), а по существу ведь тоже ни сном ни духом. Господи, в какие бессмысленные положения по отношению друг к другу ставила нас эта сумасшедшая власть! Все мы оказывались объектами и никто субъектом. Даже Ежов, даже Абакумов. Не говоря уже об «олухах».

А Николай Васильевич Адамов объектом быть не соглашался. Ольга рассказывала мне, что когда они жили вместе в Магадане, Николай Васильевич работал у Гаранина — у того самого страшного Гаранина, с именем которого связаны «гаранинские расстрелы» (точнее, отстрелы) на Колыме. Тот его ценил как работника и очень с ним считался («Дальстрой» ведь был и хозяйственным объединением). И

вот однажды раздается у Адамовых звонок. Николай Васильевич некоторое время слушает, а потом произносит:

— Да пошел ты (куда не помню, но не близко)! Мудак! — и повесил трубку.

— С кем ты это так? — спросила Ольга.

— Да с Гараниным... Пристал как банный лист.

У Ольги чуть сознание не помутилось. Ведь они были бесправны, их жизнь и смерть целиком зависели и от начальников многими рангами пониже, а тут сам Гаранин! Зевс-громовержец! Весь их призрачный, но такой редкий и дорогой быт летел вверх тормашками.

Но телефон зазвонил опять.

— Ну вот — это другое дело!.. Так бы и говорил!.. Ну да ладно... Ладно. Со всяким бывает. Ладно. Завтра все будет в порядке.

И положив трубку, Ольге:

— Извиняться звонил.

Таким был Николай Васильевич. Ничего удивительного, что, приехав к Ольге в Караганду и поступив на работу в управление трамвайного парка — не помню, в какой отдел, он не ужился с начальством: не терпел наплевательского отношения к рабочим и к их интересам.

И главное, не давал воровать. Но это использовать против него было затруднительно. Конечно, заступничество законченного зэка за рабочих можно было представить троцкистской демагогией, но не настолько политически «подкованы» были карагандинские трамвайные начальники. Кроме того, тут могло всплыть и воровство — защищал-то он рабочих от воровства. Поступили проще и привычней — представили два антисоветских высказывания Николая Васильевича, благо в выражениях он не стеснялся. По случаю празднования юбилея Казахской ССР начальство явилось на работу при всех орденах. А Николай Васильевич, как мы уже видели, все эти знаки еще с Гражданской не терпел... Вот он и сказал что-то такое вырядившемуся начальнику. А когда ему указали, что негоже так себя вести в столь знаменательный день — ведь юбилей Казахской республики, отреагировал и вообще непочтительно:

— Е.ал я вашу Казахскую республику!

На этом и сгорел.

— К нему за это могла бы иметь претензии я, а не государство, — грустно шутила потом Ольга...

Я с ним познакомился уже в Москве. Тогдашним — после смерти Сталина политические обвинения в служебных интригах как-то вышли из моды. Оно, конечно, и раньше не все этим пользовались, но многие не стеснялись (получили грамоту вместе с каннибальством), а потом не то что застеснялись. Как говорил мой покойный друг Камилл Икрамов, уже даже после «оттепели», при Брежневе, во время одного из «откатов»:

— Ничего. Пусть даже восстановят Сталина, как было — больше не будет. А знаешь почему? Просто подлецы поняли, что жизнь длинна: поживешь — до всего доживешь. Сейчас выгодно, а потом с тебя же спросят...

Да, тогдашние подлецы поняли, а у народившихся позже такого опыта нет. Будем надеяться, что он и не понадобится.

Впрочем, тем из трамвайных боссов, кто накатал донос на Адамова, краснеть перед ним не пришлось — в Караганде он больше не появился. Конечно, он бы при случае с удовольствием с ними посчитался. Но именно при случае. Специально же заворачивать из-за них в Караганду — много чести. Только делать тогда в Караганде ему уже больше было нечего — ни Ольги, ни Вавы с Юрой там уже не было. С ними, а заодно и со мной, он встретился в Москве. Да и вообще тюремные его одиссеи начались не в Караганде, и не туда ему было возвращаться «по чистой»...

Но ранним летом 1951-го безнравственность этих боссов еще ничто не тревожило, она казалась надежно защищенной порядком вещей, а Ольга исправно носила передачи в тюрьму прочно засевшему там мужу. По-моему, это продолжалось и при мне. И при мне наступил день, когда передачу у нее не приняли, — Николай Васильевич в очередной раз (вспомните выражение моего лубянского сокамерника) «поехал мучиться». До меня тогда дошли только рассказы и легенды о нем.

А мне надо было начать жить, находить свою нишу в окружающей действительности... Ниши этой не было, и Юра посоветовал мне поступить в Горный техникум, что я в конце концов и сделал. Но об этом потом. До этого я несколько месяцев болтался без дела. Очень скоро появился на горизонте Алик Вольпин, с которым я познакомился еще в 1944 году у Коли Глазкова. Причем Коля не удосужился мне сказать, что Алик — сын Есенина, а сам Алик

на эту тему никогда не распространялся... Просто однажды, когда мы с Колей зашли к Яхонтовым (с самим Яхонтовым я так и не познакомился — он вскоре кончил самоубийством), кто-то из домочадцев между делом спросил Колю:

— А где это еврейское издание Есенина?

Я не понимал, о чем речь, и удивился. Есенина тогда и по-русски не шибко издавали, как же его вдруг издали в переводах на идиш? И главное — почему об этом издании надо спрашивать у Коли? Увидев мой недоуменный взгляд, Коля ухмыльнулся и шепнул:

— Это Алик Вольпин.

Я не понял, а когда он мне — уже на улице — объяснил, в чем дело, я не поверил. Уж слишком это было невероятно.

— Не веришь, спроси его самого.

При встрече Алик спокойно подтвердил этот факт:

— Да, а что?

В этом «да, а что?» не было никакого кокетства или желания произвести впечатление. Этот факт его действительно не занимал...

В связи с этим родством у Алика произошел такой комический эпизод. Работник МГБ, у которого Алик должен был каждые десять дней отмечаться как ссыльный (как мы в Чумакове), однажды полюбопытствовал:

— А что, это правда, что вы сын Есенина?

Алик подтвердил, как всегда подтверждал всякую истину... Но реакция гэбиста была неожиданной. Вместо того чтоб ехидно констатировать нечто вроде того, что «яблоко от яблони недалеко падает» (Есенин, повторяю, был не в чести, а политическая репутация по официальной шкале была весьма низкой), он разразился упреком:

— Как же вам не стыдно! При таком отце и куда попали!

Словно Есенин был членом ЦК или бардом соцреализма. Но Алик юмора ситуации не понял и только возмутился, почувствовав в этом покушение на суверенность и неповторимость его личности:

— А отца кем бы он укорял! Делом, что ли?

Дескать, при чем тут отец — он сам по себе.

В Караганду Алик попал после тюрьмы и психушки. О том, почему он попал в тюрьму, он рассказывал так:

— Приезжала в университет иностранная делегация (кажется, французских студентов, точно не помню). Я увязал-

ся их сопровождать. Ну и многое показывал, а заодно и рассказывал...

Слово «рассказывал» Алик многозначительно подчеркивал. Естественно — рассказывал Алик именно о том, что скрывалось, а уж в том, что среди мыслей, которыми Алик делился при этом с иностранными гостями, не было ни одной дозволенной или терпимой начальством, вообще не может быть сомнения. Иных у него не было (кроме как в науке), а выражать не свои мысли Алик просто не умел и не умеет. Так что ему было за что «залететь». Одного такого приключения по тогдашним временам было для этого достаточно. А было их не одно: строй, при котором мы жили, он и на дух не принимал — и выражал это открыто. И не только иностранцам. Кстати, иностранцы в деле даже не фигурировали (и немудрено — их же не вызовешь как свидетелей), фигурировало только чтение стихов (в том числе знаменитого «Ворона») и высказывания, но что от чего пошло — кто может знать?

Кстати, его идеей фикс, которую он ни от кого не скрывал и тогда, и потом, была эмиграция. Об этом он говорил и писал в стихах. И это он осуществил при первой возможности. И при оформлении отъезда на анкетный вопрос: «По какой причине вы решили выехать в Государство Израиль?» откровенно ответил: «В связи с представившейся возможностью выехать из Советского Союза». На возражение, что так писать нельзя, твердо заявил: «Нет, врать я не буду». «Но я не могу принять у вас такой анкеты», — взмолилась инструкторша ОВИРа. «А раз так, я не еду», — безжалостно стоял на своем Алик. Это было немыслимо, но начальство к тому времени жаждало его отъезда еще больше, чем он сам, и смирилось: дескать, отвечай как хочешь, только изыди поскорее!..

Но эмиграцией пока еще и не пахло, и в Караганде Алик жил в ссылке. «Отпустить» его отсюда могли только в лагерь или в психушку. Слава Богу, обошлось. Хотя он делал все возможное, чтоб не обошлось. Проявлению его гражданского темперамента невольно способствовал и аз многогрешный. Своими взглядами, тем, что я во многом не был с ним согласен и спорил, не разделял его строя мыслей и чувств. Например, вовсе не мечтал об эмиграции и вообще не разделял культа Запада. Во многом был прав я, но во многом и он — особенно в отношении к большевизму. Од-

нажды, уходя от нас после дружеской пирушки, где мы с ним о чем-то спорили, он вдруг стал громко орать:

— Да здравствует бактериологическая война!

Естественно, ничего подобного он не хотел и не жаждал, но газеты и радио были полны проклятиями американцам, которые разрабатывают бактериологическое оружие и чуть ли не применяют его в Корее. Вот Алик и кричал нечто противоречащее всеобщему ору, тому, что навязло в зубах. Но именно поэтому то, что он кричал, было абсолютно понятно первому встречному, а в отличие от другой антисоветчины могло искренне его возмутить. Это было опасно. Требовалось немедленно заткнуть ему рот, невзирая на его неповторимую индивидуальность. Что мы и пытались сделать всеми доступными методами. Слава Богу, что со стороны это выглядело пьяным разбирательством.

Второй случай, пожалуй, был еще опаснее. Мы — Вава, Юра и я — посетили его на дому, в уже упоминавшейся Тихоновке: там он квартировал. Не могу взять в толк, чем он мог нас угощать и кто это готовил (заподозрить в этом его самого нет никакой возможности, но помню, что угощение было. И выпивка, конечно, тоже). Гости пили по обыкновению немного, но хозяин несколько перебрал. Все бы ничего, но, к несчастью, как раз когда пришла пора расставаться и Алик пошел провожать нас к автобусу, на шоссе, проходящем через Тихоновку в Темиртау, показались «зэковозы», везущие зэков домой — из рабочих зон в жилые. И что тут сделалось с Аликом! Он стал карабкаться на насыпь — шоссе тут проложено по насыпи — и ошалело кричать:

— Привет, товарищи! Держитесь! Скоро наступит свобода!

И нечто еще в этом роде. Нам не было достаточно ясно, насколько скоро наступит свобода для проносящихся мимо зэков, но было совершенно ясно, что, если не принять срочные меры, мы сами, и причем на самом деле скоро, окажемся рядом с ними.

Машины с бортами, надставленными фанерой, четко вырисовывались в лучах заходящего солнца. Шли они нескончаемой кильватерной колонной, держа интервал метров триста. Этот интервал нас и спас. Мы сталкивали Алика с насыпи, как раз когда подходила очередная машина и он собирался ее приветствовать. Он вскарабкивался навстречу

следующей, но мы сталкивали его опять. И так пока не прошли все машины и не стало кого приветствовать. Это происходило на закате, но еще при вполне дневной видимости. Народ вокруг глядел на эту сцену с большим удовольствием, не входя в детали, но понимая, что унимают перепившего, норовящего с пьяных глаз под колеса. Что это еще и «колеса истории», им в голову не приходило. Хотя они и сами — ведь речь о «куркульской» Тихоновке — хорошо знали, каково под этими колесами.

Не монтировался Александр Сергеевич Есенин-Вольпин с повседневностью сталинщины. Однако, слава Богу, выжил. Все бывает.

И потом, в более свободные времена, придумал форму демократического движения, превратил его в правозащитное, в движение за права человека. Тогдашний (времен этого движения) начальник отдела по борьбе с идеологическими диверсиями КГБ Д. Бобков считал эту «борьбу за права человека» самым хитроумным изобретением западных спецслужб. Тут этот неглупый человек впадает в профессиональный идиотизм — на Западе не было кадров, способных придумывать такие мероприятия. Да и решимости не было. Даже нехитрая, предложенная некоторыми советологами идея — натравливать республики на Москву — стала воплощаться уже после Беловежской Пуши. Нет, хитроумная тактика «движение за права» была простодушно предложена Аликом*, причем без всякого хитроумия, ибо он проблему прав понимал буквально и однозначно. У него даже был лозунг «Уважайте Конституцию СССР!», который ставил власти в тупик. Оно, конечно, в Конституции была шестая статья, объявлявшая КПСС основой всех органов управления, из чего выходило, что все противоречащее интересам и воле КПСС — неконституционно. А это практически отнимало у конституционных прав всякую реальность и содержание. Но Алик на это внимания не обращал, а властям публично указывать мировой общественности на это логическое несоответствие тоже было неудобно, — время, когда такая логика казалась нормальной, уже прошло. Так или иначе, смею уверить г-на Бобкова, что он переоценивает идеологическую изошренность своих западных коллег. Логический зазор, образовавшийся внутри про-

* Это подтверждает и такой авторитетный человек, как В. Буковский, в книге «И возвращается ветер...».

пагандистской схемы КПСС, нащупали не спецслужбы, а Алик, и не из хитроумия, а из своего неистребимого стремления к логической последовательности. Впрочем, и область математики, которой он посвятил свою жизнь, называлась «математическая логика».

С этих высот Алик взялся мне помочь сдать вступительный экзамен в техникум, куда я все же решил поступить. Поступить в учительский с перспективой стать учителем неполной средней школы было нелепо, в мединститут — было слишком серьезным ответвлением от моей жизни и судьбы, оставался только Горный техникум. Горным техникумом я не стал, но об этом выборе никогда не пожалел.

Сначала я хотел поступить на геолого-разведочное отделение — влекла еще романтика странствий, — но оно тогда было только четырехгодичное, для семиклассников (двухгодичная группа для десятиклассников появилась через год). За семь классов надо было сдавать и вступительные экзамены. Я готов был пройти и через это. Но, прочитав проспект экзамена по литературе, узнал, что я должен уметь прочитать с выражением басню И.А.Крылова «Ворона и лисица». Это меня остановило — на такое унижение, на такое «впадение в детство» я пойти уже не мог.

А группы десятиклассников были тогда только на двух отделениях — «Разработка угольных месторождений» — РУМ (в горных институтах РПЭМ — «Разработка пластовых месторождений») и горно-электромеханическое, где учился Юра Айхенвальд, — кажется, ГРЭМ (точного обозначения не помню)... К этому обозначению для определения группы — РУМ или ГРЭМ — прибавлялся еще год ее формирования, а к нашим еще и буква «Д» — десятиклассники. Таким образом наша называлась РУМ-51Д. Была еще и РУМ-50Д — второй курс. Отделение РУМ готовило горных мастеров (по-старому — штейгеров), ГРЭМ — шахтных механиков.

Перспектива стать горным мастером меня тоже мало радовала, но перспектива стать механиком вселяла ужас. Способности разбираться в механизмах я в себе не чувствовал. И я выбрал РУМ. И об этом тоже никогда не пожалел. Правда, не в смысле своей пригодности к производству.

Но опять встал вопрос об экзаменах. При поступлении в двухгодичные группы десятиклассников вступительных экзаменов в принципе сдавать не надо было. Но это относи-

лось только к окончившим средние школы не позже, чем два года назад. Я же окончил школу целых (сегодня это воспринимается как «всего») девять лет назад и этим экзаменам подлежал.

Сдавать надо было три экзамена — историю СССР, русскую литературу и математику, и это меня беспокоило. Конечно, не литература и не история — с ними у меня проблем быть не могло, а вот с математикой они были. Я не отношусь к тем гуманитариям, которые боятся математики. Но, если помнит читатель, курс последних двух классов я прошел за один год, а математику прошел, в общем, спрехвала — не думал, что когда-нибудь еще соприкоснусь с этим предметом. А вот соприкоснулся — куда денешься, и она стала грозно нависать надо мной...

Стал готовиться. Купил учебники. Углубился. Шло не то чтобы туго, но как-то поверхностно. Ведь тригонометрия и задачи по стереометрии с применением тригонометрии были для меня terra incognita. Но старался. И тут явился Алик. Кто-то — не то Вава, не то Ольга — попросил его мне помочь. Алик тут же согласился. И мы с ним где-то присели, по моему, на улице, на травке. Я хотел взять с собой учебники, но Алик сказал, что это ни к чему.

— Тебе что надо — планиметрию и стереометрию? — осведомился он. Я ответил, что еще и тригонометрию, на что Алик спокойно сказал:

— Ну, это пустяк. Я тебе сейчас всю геометрию расскажу в десять минут, и ты все поймешь. Это нетрудно. — И приступил к делу. — Ты, наверно, знаешь, что все стоит на аксиомах. Это первый ряд. Потом идет первый ряд теорем (он их перечислил), представляющий собой заключения из аксиом. А уж из этих теорем выводится второй ряд теорем (их он тоже перечислил). — И так далее, до самых вершин...

Причем объяснял он не так абстрактно, как я излагаю, а в живом движении мысли...

— А что ты думаешь, — говорил Алик, — школьные теоремы тоже математика. Однажды, когда я кому-то что-то подсказал на экзамене у Колмогорова (имелся в виду великий математик, академик А.Н.Колмогоров), он рассердился, вызвал меня к доске и дал решить теорему о сумме углов треугольника (не уверен, что именно эту, но той же сложности — это на мехмате МГУ!). Я, конечно, такого не ожидал, но стал решать. И решил. Колмогоров

подошел к доске, прочел и поставил мне четверку. И правильно — я эту теорему доказал, но не самым коротким путем.

Алик был завзятым математиком, его высоко ценил друг Колмогорова академик Александров, и четверка была не его отметка, но — поймали, и Алик это признавал. Правда, теперь (речь о феврале 2000 года — *Н.К.*), Алик этого эпизода не помнит (он, как и я, живет в Бостоне, и я справлялся), но я хорошо помню, что он мне это рассказывал.

— Но тебе такое не грозит, — успокоил меня он. — Видишь, как все просто?

Я видел. И, действительно, все получалось и просто, и красиво, я все хорошо понимал. Так удивительно стройно все выстраивалось — хоть иди и сдавай... Я даже — разумеется, под руководством Алика — немного поупражнялся в доказательствах. И все выходило.

Но на другой день в голове моей осталась только блистательная схема всей геометрии, но умение ею пользоваться испарилось начисто. Эта систематизация годилась только для тех, кто и без того все это прекрасно знал. А мне пришлось спешно наверстывать все забытое или пройденное наспех. Не думаю, что я много наверстал, особенно в области тригонометрических преобразований, но кое-как на тройку сдал. Преподаватель был к экзаменуемым очень снисходителен. Впрочем, девушка, сдававшая экзамен вместе со мной, его все же не сдала. Правда, ее, слава Богу, все равно приняли: осенью я встретил ее в аудитории, где собралась наша группа... Видимо, администрация пренебрегла формальностью, и правильно сделала. Да, девушка за несколько лет многое забыла, но сумела все наверстать во время учебы и успешно закончить техникум. Кстати, учиться в нем было совсем не легко — многие, принятые вполне по правилам, отсеялись еще в первом семестре. Забегая вперед, скажу, что техникум этот в силу специфических причин давал очень добротное техническое образование. Конечно, тем, кто мог его воспринять, то есть большинству моих товарищей. Практически всем, кроме меня. Но и мой кругозор он значительно расширил.

Как видите, незаметно для себя я подошел уже к техникуму. Минуя все, что было до него. Но что было? Общения, о котором я уже писал, и впрямь было не очень много.

А знакомые заводились — у Юры с Вавой их было уже немало, они становились и моими... Прежде всего следует назвать дом Недовесовых... Привела меня туда сокурсница Юры — Ника Денисова, с которой я тоже сразу подружился. Она была родной дочерью одной из двух хозяек этого дома, даже первоначальной его основательницы — Ирины Ивановны Страховской. Ирина Ивановна была квалифицированным инженером-строителем, кажется архитектором. Второй хозяйкой этого дома была Вера Григорьевна Недовесова, по профессии врач. Обе прошли через тюрьмы и Карлаг (карагандинские лагеря МВД СССР) и хорошо знали цену человеческому теплу. Не один бедолага был принят и обогрет в этом доме — я из их числа. Первой освободилась из лагеря и приехала Караганду Ирина Ивановна. Она устроилась инженером в институт «Карагандагипрошахт», завоевала сразу авторитет, и вскоре ей дали квартиру. Эту, трехкомнатную, или поменьше (а потом как-то разменяли), не знаю. Я лично ни о какой предыдущей даже не слышал. В Караганде, «городе промышленного бума», из-за обилия строительных лагерей квартирный вопрос ощущался менее остро, чем в других местах, и при случае нужному специалисту могли дать квартиру, превышающую норму. Так или иначе, она получила квартиру — поэтому я и считаю ее основательницей «дома», — и когда вышла из лагеря Вера Григорьевна, ей было где остановиться... Вера Григорьевна тоже очень скоро завоевала авторитет как специалист — стала видным в городе врачом, даже по совместительству работала в местной «кремлевке», именовавшейся, как и везде в провинции, неброско — «Больница совпартактива». Кстати, отношения у этих двух подруг были таковы, что до недавнего времени я был уверен, что хозяйки этого дома — родственницы. Но нет, они были просто друзьями. Но какими! Далеко не все родственники живут так дружно и слаженно.

И ведь жили они в своих хоромах далеко не одни. К Ирине Ивановне вскоре приехала дочь — та самая Ника, которая привела меня в этот дом, а к Вере Григорьевне — дочь Тамара, тоже врач, до этого жившая в Москве с отцом, Николаем Ивановичем Недовесовым, учителем математики, первым мужем Веры Григорьевны. Вскоре к Тамаре приехал ее жених, Юрий Левидов. При мне они уже давно были мужем и женой, и у них была маленькая дочь Алена.

Легко сказать сегодня — «приехали». Переехать из Москвы к репрессированной (но отнюдь не реабилитированной) матери, а тем более к теще, да еще к теще, так сказать, будущей — это чего-то требовало от человека. Не только максимума порядочности, но и мужества. Хотя боюсь, что в те годы даже минимальная доза порядочности требовала некоторого, и часто немалого, мужества. Ведь само государство и весь определяемый им ход вещей требовали от человека — при любых его взглядах и ориентации (подчеркиваю: любых — непорядочности требовали даже попытки честного служения строю) — именно непорядочности, причастия ей, демонстрации этого причастия или как минимум имитации непорядочности. Из этого не следует, что все жившие тогда или все не затронутые репрессиями были насквозь непорядочными. Вовсе нет! Я даже не всех функционеров считаю изначально непорядочными. Но непорядочность лидировала и воспитывала, была основой противоестественного, но все же порядка. А установившийся порядок вещей был для многих убедителен — во всяком случае, убедительней здравого смысла, логики и естественной нравственности. Тем более если это еще подкрепляется пропагандой... Так что сегодня, после того как в тотальной жажде освобождения были восторженно сняты все препоны со всего, в том числе и с этой внедренной Сталиным всеподавляющей непорядочности, разумно ли удивляться тому размаху торжествующей криминальности и тотальной коррупции, жертвой которой оказалась теперь Россия? Но это уже имеет только косвенное отношения к теме «дома».

А дом притягивал людей нашей судьбы. Наплыву гостей способствовало и удобное расположение их жилища — на одной из центральных улиц Нового города, в двух шагах от центральной площади Ленина, то есть от обкома, облисполкома и центрального универсама. В обкоме их гостям по их положению бывать не приходилось, в облисполкоме — редко кому и редко когда, а в универсаме приходилось многим. Тем более что рядом были и другие магазины, в том числе лучшие продовольственные, почта. Удобно было забегать «на огонек». Надо ли объяснять, что главную роль в этом «забегании» играло не расположение (это и то, что квартира аж трехкомнатная, было только удобством), а тепло этого «огонька».

Таков был этот «дом» — на языке нынешних «новорусов» вовсе не дом, а квартира. Притом жалкая, жактовская. Дома — это на Рублевском шоссе: все отдельное, все свое, все вокруг (и рядом и совсем не рядом) — купленное... Сам себе царь. А по-моему, это все крысиные норы, как бы обставлены они ни были, ибо живут в них бессмысленные грызуны. А та квартира в центре лагерно-ссылочной Караганды была именно «домом» — в старом русско-интеллигентском смысле, — домом, куда забегают «на огонек». Отвести душу, посидеть с людьми, согреться. Помните, у Блока:

Всем ведомо, что в доме этом
И приласкают, и поймут.
И благородным мягким светом
Все осветят и обольют.

С той только разницей, что были не благополучны не только забежавшие гости. Прошли через многое все, начиная с хозяев. Ведь «дом» этот сюда не был перенесен чудом из культурных центров, а был создан уже здесь на пустом месте двумя женщинами, вырванными из своей жизни и оторванными от близких сумасшедшей властью и, яко тати, доставленными сюда по этапу.

Обе сели за мужей, но за разных, и очень неодинаково. Второй муж Веры Григорьевны, Василий Иванович Сусаров, был до 1936 года заведующим Астраханским горздравотделом и, естественно, членом партии — судя по всему, истинно верующим. В 1936 году его «разоблачили» как троцкиста, исключили из партии, посадили и расстреляли*, а она попала в лагерь как жена «врага народа». Ситуация банальная для того времени...

У Ирины Ивановны вариант был покруче, хотя она тоже сидела из-за мужа. Но в другом смысле. Ибо муж ее и посадил. Был он, так сказать, природный пролетарий, и вышла она за него замуж, вероятно, в припадке юношеского идеализма, романтического стремления слиться с рабочим классом, довольно широко распространенного среди тогдашней молодежи. (Ореол быстро поблек, а любви не оказа-

* О своем общем отрицании коммунизма, включая троцкизм, и о том, что «разоблачение в троцкизме» 1936 года вовсе не означает, что Сусаров когда-либо был троцкистом, а также о том, что сажать за троцкизм коммунисты вообще не имели права, я здесь вообще не говорю, ибо о фантазмагории сталинщины говорил уже достаточно.

лось, стало душно.) Совсем не обязательно такие браки мезальянсны, ибо содержание и ценность человека не так уж прямо зависят от его происхождения и даже воспитания. Но этот брак, видимо, был неудачен, что тоже бывает, и она рванулась прочь. Однако ее «освободившийся пролетарий» был по природе подлец. И когда она захотела расторгнуть брак, он пригрозил, что донесет на то, что она скрыла свое дворянское происхождение и что отец ее был даже генералом. И донес — даже представил портрет ее отца в генеральских эполетах. В те годы, когда я жил в Караганде, быть «дочерью русского генерала» было уже безопасно, отчасти даже престижно. Но тогда это производило впечатление ужасающее, а беззаконие обратной силы не имело.

Свой срок она отсидела полностью и, как и вся освободившаяся «пятьдесят восьмая», при Абакумове получила «поселение». К счастью, в Караганду. Она была твердым, чутким, мудрым, умеющим понимать людей и их состояние человеком, в высшей мере обладала тем, что Пастернак обозначил, как «дворянское чувство равенства со всем живущим». Такова была основательница дома.

Кому-то может показаться — подумаешь, подвиг! У людей была трехкомнатная квартира — по тем временам просто хоромы, — почему ж не принимать гостей? Да, по тогдашним представлениям, когда даже отдельная однокомнатная квартира считалась роскошью (да и просто комната в коммунальной квартире была великой ценностью), трехкомнатная казалась фантазией... Но о «тех» временах в этой связи чуть ниже. Сначала давайте оценим эту «жилплощадь» по временам нынешним — так ли уж просторен физически был этот гостеприимный дом? Три комнаты на пять взрослых с ребенком... Что ж, и на современный, пусть не «новорусский», но все же «евроремонтный» взгляд, совсем неплохо. Не очень много, но нормально. А если представить, что все пятеро — люди постоянно и много работающие, занятые и что речь идет не об эпизодических приемах именитых гостей, а о постоянно открытом доме для людей совсем иных... Не так это просто, приходя с работы домой усталым, озабоченным, мечтающим умыться, переодеться, прилечь, неизменно почти каждый день встречать в доме посторонних людей, требующих твоего внимания. И надо не только пассивно считаться с их присутствием, но и активно заниматься ими. И это не раз и не два, все годы под-

ряд. При этих условиях не так уж велика покажется эта жилплощадь не только по нынешним, но и по тогдашним меркам. Дело было не в количестве комнат этого дома, а в широте души его хозяек. Была бы у них одна комната, они бы вели себя так же.

Это был дом, куда люди, многие люди, приходят, когда им что-нибудь нужно — какая-либо помощь (ведь его хозяйки были чуть ли не самыми старыми из поселенцев и все тут знали), или просто излить душу. Или просто оказаться в своем кругу.

И тут вступает в действие еще одно обстоятельство, связанное с этим домом — быть хозяйками такого дома было опасно. Весь репрессивный сталинский аппарат был нацелен на то, чтоб таких домов не было. Другими словами, на искоренение неофициального, неформального — не по работе и не в рамках семьи — общения между людьми. На то, чтоб никакой иной связи между ними не существовало. Это была мрачная утопия, но Сталин к ней — сознательно или нет — стремился не менее упорно, чем другие утописты к утопиям светлым. За каждым таким домом ему чудились заговор и конспиративная квартира. Члены Политбюро хорошо знали, что не должны поддерживать личные отношения друг с другом. И не поддерживали. Никто им этого прямо не говорил, но ведь они сами обладали самой высокой политической сознательностью в стране. И страна у них училась. Особенно те, кому ведать надлежит. Так что любое местное МГБ чувствовало поживу, обнаружив во вверенном ему регионе дом, где бывают многие. И уж не бывалым лагерницам было этого не знать. Конечно, у них был опыт, нюх на стукачей. Но ведь и МГБ накапливало опыт, да и вообще и на старуху бывает проруха... Короче, иметь такой дом было опасно. Они это знали, но шли на это. Для чего? Ведь не конспиративную квартиру они держали, не на какую-то, на этот раз правильную партию они работали. Просто такова была их природа, просто без этого — по благородному складу их душ — они бы не смогли оставаться людьми. Мне опять-таки повезло, что эти люди жили тогда в Караганде и что я их встретил — почти в самом начале своего пребывания в этом городе. Я вообще везунчик.

Были еще знакомые. В Михайловке недалеко от нас жила семья Б-еров — сосланная сюда из-за немецкого происхождения ее главы. Это была обыкновенная русская интел-

лигентная семья — истым немцем среди них был только ее глава, инженер Фердинанд Иванович Б-ер. Но был он настоящим русским интеллигентом. Немецкого в нем была только обида. На то, в какое положение были поставлены русские немцы, а больше того — на антинемецкую пропаганду. Он рассказывал о каком-то мастере-немце, который никак не мог справиться с приданной ему для выполнения какого-то производственного задания полупьяной бригадой, за что его ругали на всех совещаниях. Однажды он не выдержал:

— Ну что это за работа? Мне бы сейчас пяток немцев — я бы это в два дня сделал!

Это было чистой правдой, но спустить такое оскорбление в «данный момент» нельзя было, и мастер в тот же день исчез. Произошло это, как я думаю, не потому, что начальство обиделось, а просто в «данный момент» такое высказывание противоречило «линии» (всегда возводимой в ранг святыни), и реагировать на это положено было как на святотатство.

Но в целом был Фердинанд Иванович просто русским интеллигентом. А жена его, научный работник на кафедре гистологии мединститута, и по крови была русской. Их дочь соответственно полукровкой.

Мне она очень нравилась, я даже в нее потом влюбился. Но ее родным я казался если не коварным, то опытным соблазнителем, а мать к тому же пугало и мое еврейское происхождение. Нет, она вовсе не страдала антисемитизмом, да и боялась не трудностей, с этим тогда связанных (особенно в компоте с трудностями немецкими), а совсем другого — что вспыхнут если не во мне, то в моих родителях еврейские комплексы в связи с нацистскими зверствами и отразятся на моем отношении к ее дочери. Страхи были зряшными — не вспыхнули бы и не отразились, и не дал бы я ее в обиду... Но мать была уверена в обратном. И как только у нас стало отдаленно намечаться что-то похожее на сближение, она тут же стимулировала ее брак с другим человеком. Человек был неплохим, а брак, к сожалению, как я слышал, вышел неудачным. Хорошо б, если бы этот слух оказался неточным. Хорошая была девушка, живая и женственная, чистая, вполне заслуживавшая счастья.

Впрочем, отношения с ней не лимитированы предтехникумовским периодом. Вот стихи о ней, написанные позже:

Вновь как в детстве — с утра и на ноги:
Может, встречу идущей мимо.
Снова двойками по механике
Отмечаются встречи с любимой.

Вновь мечтанья — детские самые...
...Хоть изжить, что прожил — невозможно.
Хоть давно близоруки глаза мои,
А надежды мои — осторожны.

В техникуме и помимо

Так что пора уже переходить и к самому техникуму, учащимся* которого в момент написания этого стихотворения я уже состоял. Пора, потому что в моей жизни два года и три месяца, проведенные в его стенах, занимают особое место. Можно, конечно, считать эти годы потраченными зря — ведь с разной степенью старательности я эти два года учился тому, чем я хоть и собирался, но не очень хотел заниматься (и чем заниматься мне, к счастью, не пришлось). А это совсем не легко — два года «ехать не в ту сторону» и все время сознавать это. Это меня угнетало, порой даже доводило до отчаяния... Конечно, мой карагандинский опыт не ограничивается тем, что было связано с техникумом. Но много все-таки связано и с ним — ведь я не только в нем учился, но и жил в его общежитии. А все это — люди. И отношения с ними были таковы, что потом я всегда вспоминал эти годы с удовольствием, даже с нежностью.

Это так, хотя и в эти годы главные мои жизненные интересы по-прежнему касались поэзии и «взаимоотношения с эпохой», то есть были весьма далеки от технических проблем. Впрочем, эти взаимоотношения и сами не давали о себе забывать. В один из первых дней моего обучения был арестован Юра Айхенвальд... Арестован он был прямо в техникуме. И, разумеется, с таинственностью. Юра на правах старшеклассника опекал меня на первых порах, как говорится, вводил в обстановку. Короче, мы встречались с ним на переменах. На одной из перемен звонок прервал наш разговор (или спор — теперь не помню), и мы договори-

* По официальной иерархии, в школах учились ученики, в институтах — студенты, а в техникумах — учащиеся.

лись встретиться после следующего звонка. Но, выйдя после звонка из аудитории, я нигде не смог его найти. На последующих переменах — тоже. В конце концов я спросил у кого-то из его сокурсников, где Юра.

— Его вызвали к директору, — последовал ответ.

Конечно, что-то неприятно кольнуло меня, я заподозрил недоброе, но все-таки постарался принять это сообщение за чистую монету. И после занятий помчался в Михайловку выяснять, по какому поводу Юру вызвали к директору. Но Юру я уже не застал, застал только Ваву и Ольгу, обе сосредоточенно курили.

— Какой директор? — ответила Вава на мой вопрос. — Арестовали Юру, вот что!

Директор тут и впрямь был ни при чем. Пришедшие за Юрой эмгэбэшники сами вызвали Юру через секретаршу директора (а чего было им стесняться в своем отечестве, где все полуофициально, а значит более чем официально, обязаны были с радостью им содействовать!) и увели его в Михайловку. И даже не скрыли от Вавы, что арест производится по распоряжению из Москвы. Поэтому и пришли за ним днем — за «своими» обычно приходили ночью.

Я понял, что Юра стал жертвой внутригэбэшных интриг. Видимо, в МГБ была ревизия, и кто-то ретивый углядел недосмотр коллег. Ведь обвинения были сняты без опровержения даже со стороны обвиняемого. Короче, Юра пострадал на этот раз потому, что в его деле не было протокола, формально опровергающего обвинения, аналогичного тому, на составлении которого я настоял при закрытии своего дела. Правда, если помнит читатель, я это сделал не из предусмотрительности, а из идеологического пуризма, то есть из соображений идиотских, но думаю, что это меня от многого уберегло. Вот от чего зависела наша жизнь. В техникуме исчезновение Юры прошло почти незамеченным — население было уже приучено не замечать такие исчезновения. Только через пару недель преподаватель электротехники старик Гартман (старик, конечно, по тогдашнему моему восприятию) вдруг, когда я вошел зачем-то к нему в кабинет электротехники, спросил:

— Скажите, пожалуйста, что случилось со студентом Айхенвальдом (ударение на первом слоге)? Вы как будто с ним дружите.

Я ответил на его вопрос, рассказал то немногое, что знал сам. Он внимательно выслушал, потом пояснил:

— Я ведь заведующий отделением, мне надо знать, почему студент не посещает занятий.

Разумеется, спрашивал он не поэтому, причина Юриных «прогулов» ему наверняка была известна официально: арестовали Юру в техникуме, и секретарша директора присутствовала при этом. Просто ему хотелось подробнее узнать, в чем дело. Неистребима человеческая потребность к логике и к пониманию! Разве не поразительно — что все мы в таких случаях хотели узнать, в чем дело, хотя все прекрасно знали, что дело ни в чем? Хотя и такой невинный вопрос тоже был хождением по краю. Но я сделал вид, что верю в официальность его интереса, и даже сказал, что теперь он может исключить Юру из списка студентов. Гартман был этим удовлетворен.

Он был порядочным человеком и настоящим русским интеллигентом, этот сосланный в Караганду за немецкое происхождение московский инженер Гартман (к сожалению, забыл его имя, отчество). И реакция его была — реакция русского интеллигента тех проклятых времен, представителя этого затравленного тогда времени. У него же эта затравленность усугублялась другой — сосланностью за предполагаемую способность и возможность сочувствия и содействия Гитлеру. И поэтому на своих лекциях и в экзаменационных вопросах он сильно упирал на приоритет русских ученых и инженеров в электротехнике. Делал он это не от себя, такова была установка, которой обязаны были следовать все, но он это делал особенно тщательно, дабы избежать подозрений. В чем? Конечно, тотальный приоритет русских ученых и инженеров, который тогда внушался, — глупость. Этого он не мог не понимать, но глупость эту ему приходилось поддерживать... Это было унижительно. Ведь он и сам был этим русским инженером и хорошо знал, что у русской науки и инженерии есть реальные заслуги, которых нет необходимости преувеличивать. Приходилось притворяться, что уважаешь и ценишь то, что на самом деле уважаешь и ценишь. Кстати, те, из-за кого он вынужден был притворяться, об этих заслугах и представления не имели — отчасти поэтому и навязывали истерию. Но он для них был немцем.

Был у нас в техникуме еще преподаватель немецкого происхождения, являвший собой высший тип русского интеллигента — Николай Рудольфович Шмидт. Никаких частных бесед с ним у меня не было, даже такой, как с Гартманом, но его интеллигентность проявлялась и в отношениях академических. Прежде всего в яркой, отчетливой русской речи. И еще — в каком-то тонком, творческом отношении к делу. Преподавал он, по-моему, машиноведение, но прежде всего — и этим запомнился — черчение.

Должен сказать, что в техникуме я довольно быстро научился вполне сносно читать чертежи (думаю, что и сейчас, поднатужившись, смог бы проявить это умение), но чертить я органически неспособен. Чертежи у меня получались грязными, с кляксами, многократно подчищенными и снова грязными. Так вот Николай Рудольфович почувствовал это по первому сданному мной чертежу и установил для меня особую шкалу оценки. Вместо того чтоб ставить мне одни двойки, чего объективно заслуживали все мои «шедевры», за какие-то мои чертежи он ставил мне тройки, а за какие-то даже четверки. Так что имело смысл стараться. Я и старался, а он поощрял это. Правда, однажды по природной студенческой подлости я сдал ему вместо своего чертежа черновик чужого, что было тут же замечено. Он поставил мне четверку, но написал на чертеже, что это нечестно — сдавать чужие чертежи, что я должен чертить как умею, но самостоятельно. Мне до сих пор стыдно — ибо было в этом моем поступке нечто хамское. Больше я так не поступал. Но потом Шмидт перестал преподавать черчение — слава Богу, нашлась для него более соответствующая его уровню работа, и его заменила милая молодая преподавательница. На ребятах эта перемена особенно не отразилась, но для меня она обернулась катастрофой. За несколько чертежей, над которыми я, сознавая важность момента, корпел очень старательно, она мне по справедливости вlepила двойки, а может, и единицы. Я несколько на нее не обиделся — это было вполне справедливо, — но дальнейшая работа над чертежами потеряла для меня всякий смысл. Чертить я перестал, и к концу семестра надо мной нависла катастрофа. Выручили ребята. Поговорили с преподавательницей, объяснили ей, что лучше у меня все равно не получится, и уговорили ее не губить меня и по-

смотреть на это дело сквозь пальцы... Добрая женщина согласилась.

Я ничего об этом не знал. И когда однажды, вернувшись в общежитие, обнаружил в нашей комнате странную суматоху, ничего не понял. На столах вверх ногами были установлены табуреты, в них лампы, над ними снятые с петель окна, и над всем этим шла какая-то лихорадочная деятельность. Долго недоумевать мне не пришлось... Оказалось, что ребята таким образом сводят для меня чертежи. Меня тут же усадили их подписывать, ибо чертежи эти срочно должны были быть представлены мной находящейся с ними в сговоре преподавательнице. Я и теперь не понимаю своей беспечности — кончался учебный год, и отсутствие чертежей грозило мне отчислением. А уж потерей стипендии (что было для меня равнозначно отчислению) — наверняка... Спасибо ребятам, которые не только выполнили эту работу, но и всполошились вместо меня.

Когда я появился в чертежном кабинете со «своими» чертежами, преподавательница просмотрела их, вздохнула и спросила:

— Сколько тут процентов вашего труда? Двадцать?

— Сорок, — храбро соврал я.

И она поставила мне положительную оценку. Какую — не помню, я никакой не заслуживал.

Так спасли меня наши ребята, к рассказу о которых я еще не приступил. Но и преподавательница, которая поняла их озабоченность, тоже чего-то стоит. Все это тоже черта времени — подспудное желание помочь человеку, не по своей вине попавшему в беду. Оно, конечно, нехорошо обманывать и помогать разбазаривать на меня государственные средства (та же стипендия и общежитие). Впрочем, если бы не «грязнули впоследствии всякие хренации»* (вроде смерти Сталина, которая казалась невозможной), мне бы пришлось где-нибудь пристроиться, и средства, затраченные на меня, как-то окупилась бы. И как-то бы это мне помогло выжить. Что делать, если государство поставило меня (и меня ли одного?) в такое положение, что я вынужден был учиться в техникуме... Ведь при нормальном положении вещей никакими ветрами не занесло бы меня ни в какое техническое учебное заведение.

* А.Галич.

Таковы были мои ребята... Чтоб дать о них наиболее яркое представление, несколько забегаая вперед, скажу, что в страшный день 13 января 1952 года, когда было опубликовано «Сообщение ТАСС» о разоблачении группы «врачей-вредителей» и все ребята были возбуждены (все верили), а я громко и отчетливо при довольно большом количестве студентов сказал: «Ребята, все это брехня. Я знаю», — все замолчали, хоть и не поверили. Сочувствовали. Не моим словам, а моему положению и состоянию. И ни один не выдал. Впрочем, о «деле врачей», о том, как оно переживалось в Караганде, я буду здесь еще рассказывать отдельно и подробно, когда мой рассказ дойдет до этого времени... А сейчас — только о том, как ребята меня выручили с черчением...

Спасибо и им всем, и преподавательнице, взявшей грех на душу, — они спасли меня. Но это никак не снижает ценность благородного стремления Николая Рудольфовича помочь мне реально, реально развить мое техническое мышление. Ценность его доброты, порядочности и мудрости. Конечно, он был весь из «раньшего времени» (выражение ильфо-петровского Паниковского), но хорошо, что через него эти традиции в такой ненавязчивой форме передавались нам. Что-то ведь оседало. Жаль, что я не сошелся с ним ближе. Но его поведение, при всей его всегдашней доброжелательности, к этому не располагало. Разговоров на посторонние темы он избегал. Может, из осторожности, чтоб не сказать лишнее, может, характер не позволял. Но сущность его, как мы видели, достаточно проявлялась и в процессе работы. Я рад, что как-то соприкоснулся с этим человеком.

Но ни с Гартманом, ни с Николаем Рудольфовичем личных отношений у меня не было. Личные отношения завязались у меня с другим преподавателем — тоже с нерусской фамилией — Николаем Валентиновичем Пагануцци. Но оказался он в Караганде не за итальянскую фамилию (я вообще не слышал, чтоб итальянцев во время войны высылали), а по более общим причинам. И еще в годы интернационализма, когда все иностранное (интернациональное) почиталось и даже предпочиталось. Он относился к «кировскому набору», когда «в ответ на злодейское убийство товарища Кирова» из Ленинграда было выслано много «быв-

ших», в том числе дворян. Так что попал он сюда (правда, сначала не сюда, а в Тучинск — станция «Курорт «Боровое», Кокчетавской области) — не по этническому, а по классовому признаку. Там он работал по специальности — инженером на золотых приисках. Дальнейшие репрессивные кампании, не обошедшие, например, родственниц К.М.Симонова, его, слава Богу, не задели, и теперь с него, с его «категории», все ограничения были сняты. Но в Ленинград он не возвращался — скорее всего, потому, что некуда было. У нас он вел технологию металлов, а потом сопромат.

Естественно, беседовать я заходил к нему в лабораторию на темы, с этими предметами не связанные. Вообще наши личные отношения никак не сказывались на учебных: получал я у него только четверки и тройки — исключительно по заслугам. Не путать личные и деловые отношения было само собой разумеющимся правилом той среды, из которой он вышел. Вспомните Давида Михайловича Яхнина, мужа тети Розы. Он мог вполне приютить меня у себя, что было небезопасно, но наотрез отказался выдать мне ничего не значащую, ничем не грозящую, но все же фиктивную справку о болезни для техникума — право подписывать такие документы было дано ему не для того. Не знаю, как повел бы себя Николай Валентинович (да и Давид Михайлович тоже), если бы дело касалось вообще моей судьбы (как в случае с черчением), но манкировать своей профессиональной этикой им было бы нелегко. Но, слава Богу, двойка по предметам, которые преподавал Николай Валентинович, мне и по совести не грозила, и перед такой дилеммой он не стоял. Но однажды я все-таки протестовал против отметки — правда, поставленной не мне, а моему другу Роберту Риделю (о нем чуть ниже), когда Николай Валентинович поставил ему четверку по сопромату. Я даже ходил к директору по этому поводу. Роберт — человек блестящих способностей, учился он блестяще и в техникуме, через несколько лет так же блестяще окончил институт, потом аспирантуру, стал кандидатом, и четверка, по ошибке (я убежден, что по ошибке) поставленная ему Николаем Валентиновичем, была единственной четверкой в его жизни. Но кто из смертных гарантирован от ошибок? А эта четверка, поставленная Николаем Валентиновичем Роберту,

была именно его ошибкой — никакими посторонними соображениями она вызвана не была. Николай Валентинович вообще был в высшей степени порядочным человеком, как-то естественно, ненавязчиво, но при этом непреклонно порядочным.

Кстати, именно от него я впервые услышал классическую формулу порядочности — «порядочным является человек, не поступающий с другими так, как он не хотел бы, чтоб они поступали с ним»... Вроде ничего особенного, но, как известно, такие понятия и такие определения в те времена не пропагандировались — «воспитание масс» работало на распад связи времен. Такие люди, как перечисленные мною преподаватели (так же как литинститутские Реформатский, Шамбинаго и некоторые другие), эту связь восстанавливали. «Мало мы их стреляли!» — сказал В.М.Молотов по поводу одного «неблагодарного» высказывания И.П.Павлова. И с точки зрения своих мафиозных интересов (пусть мифологически оформлявшихся в его сознании как идеологические и даже идеалистические), был прав — мало. Но на большее их даже с товарищем Сталиным не хватило. И от тех, на кого их не хватило, и нам что-то перепало — иногда в виде представлений, иногда только импульсов. Этого, может быть, было недостаточно, чтоб спасти страну (все-таки перепахали ее эти мафиози основательно), но и на том спасибо. Одним из таких людей был Пагануцци, с которым мне посчастливилось общаться довольно часто...

С чего и как началось наше общение — не помню. Видимо, как-то завязался у нас разговор — в неслужебное время и на неслужебные темы — а потом пошло. Говорили мы с ним о многом. Николай Валентинович кончил когда-то Петербургский технологический и очень гордился демократическими традициями этого института — тем, например, что студенты-технологи, в отличие от студентов университета, называли друг друга не «коллегами», а «товарищами». Но при этом он отнюдь не был сторонником революции, которым я тогда еще оставался. Ее стихия и раскрепощенность инстинктов ему претили. Следы этого были в стихах, которые он мне читал, — а были они вполне литературно грамотными и выразительными. Я даже запомнил две строчки из этих стихов:

Разгорелись глаза рабочие
На брильянты и дым сигар.

Стихи эти явно были написаны в начале революционных годов и явно представляли собой непосредственную реакцию на события.

Но при такой своей «контрреволюционности» он не стоял в оппозиции к сталинщине, а впадал в ту же ошибку, в которую впадала в начале тридцатых часть эмигрантов и некоторые «бывшие» внутри страны, — воспринимал ее как «возвращение к реальности». Ему даже нравилась введенная тогда (по его мнению, восстановленная) табель о рангах и даже мундиры и шинели наподобие военных — с погонами и знаками различия, — в которые облачали тогда работников многих ведомств, в том числе и работников угольной промышленности. Сам он был возведен в ранг, кажется, инженер-майора. Обычно он ходил в штатском, но с удовольствием рассказывал мне, как на Казанском вокзале в Москве, где он, одетый в свою «майорскую» форму, стоял, как все, в очереди и ждал объявления посадки, к нему вдруг подошел вокзальный служащий, любезно попросил показать билет, после чего проводил его к его месту в вагоне, хотя все остальные «бесформенные» пассажиры продолжали ждать объявления посадки. Николай Валентинович наслаждался не потому, что ему было лестно такое внимание — его чувство собственного достоинства не нуждалось в подобном подкреплении, — а потому, что увидел в этом симптом возрождения системы иерархических привилегий как основы естественного порядка. Думаю, что он ошибался не только в сущности сталинщины, а и в смысле этого факта. Просто высокий, стройный (он до глубокой старости занимался альпинизмом), да еще в форменной шинели, он выглядел особенно импозантно и казался причастным к высокому начальству. Возможно, даже к железнодорожному — к тому, что форма присвоена теперь не только железнодорожникам, люди еще не привыкли. Вот и решил, что такому человеку негоже топтаться в общей очереди. Короче, больше ни от кого из горняков таких рассказов о повышенном внимании к своему чину и мундиру я не слышал. Но Николай Валентинович воспринял этот факт именно так...

Это вообще его занимало. Однажды на лекции, увещевая студентов, он особо подчеркивал, что они являются студентами привилегированного учебного заведения, и это нас обязывает (мы получали повышенную стипендию, форму, хорошее общежитие и т.п.). Это было бесспорно — студенты любых учебных заведений обязаны относиться к учебе ответственно. Но для него было важно именно это слово «привилегированного». Оно звучало для него как музыка восстанавливаемой гармонии. Это было наивно. Связь привилегированности с ответственностью существовала только в его сознании. Конечно, страна тогда было опутана системой многообразных иерархических привилегий, но, во-первых, никакой естественности она не соответствовала, а во-вторых, больше ни в чем сознании этой связи привилегий с ответственностью не существовало — чаще, наоборот, привилегия мыслилась как освобождение от ответственности. Если не считать ответственностью страх барского гнева. Но и видя в сталинщине «возвращение к реальности», Николай Валентинович оставался человеком независимым и толерантным. Меня он за остатки моей инфантильной революционности никак не презирал, во всяком случае, охотно и свободно со мной разговаривал. Кстати, и я, ничуть не поколебавшись в своей революционности, воспринял его строки о разгоревшихся «на брильянты и дым сигар» глазах спокойно, ни на секунду не усомнившись в реальности и адекватности такого восприятия. Для нас обоих важно было не расхождение в мыслях, а самый факт, что мы мыслим. Это сближало. Сталинщина запрещала любые мысли. Разномыслие наше не отражалось и на взаимном доверии. Ведь и его приятие сталинщины было достаточно наказуемым по тем временам — за глаза рабочих, разгоревшиеся «на брильянты и дым сигар», тоже бы по головке не погладили. Кстати, мне и теперь в этих строках не все кажется точным. «Рабочими» ли были те глаза, которые он запомнил? Не представляю квалифицированного рабочего (а тогда ведь еще не было конвейера и рабочий был человеком квалифицированным), чьи глаза так бы уж разгорелись на эти роскошества. Ведь в красногвардейцы шли в основном люмпенизированные солдаты, а не рабочие. Впрочем, восстание выдавало себя за рабочее, а жертвам всяческих, в том числе и спонтанных, экспроприаций и насилий, к кото-

рым наверняка относился и сам Николай Валентинович, и его близкие, было тогда не до того, чтоб разбираться в социальном положении распоясавшихся насильников. Но в принципе одну из «движущих сил революции» Николай Валентинович уловил верно. И я, несмотря на совсем другое представление об ауре революции, почувствовал, что в этих словах — правда, что к некоторым возлюбленная революция поворачивалась такой стороной. Только через несколько лет я понял: добивались сиюминутных политических выгод, разрушая (конечно, временно, но это уже от него не зависело) устои и нормы, выработанные веками цивилизации. Этому разрушению в своем сознании он противопоставлял партию, она была для него как бы гарантом этой временности. Сталин, изначально находившийся вне этой цивилизации и интересовавшийся только ее военно-техническими возможностями, вообще не чувствовал в этом смысле препон и не нуждался ни в каких «гарантах», даже таких мнимых, как партия. Разница между вождями есть, порой даже разительная, но как разрушитель цивилизации Сталин только ученик и последователь Ленина — тот первый открыл и показал эту дорогу. Этой же дорогой — отрицания выработанных цивилизацией норм общежития при использовании военно-технических возможностей — следуют почти все нынешние афро-азиатские освободители. Не зря ведь Саддам Хусейн являлся таким горячим поклонником Сталина. Что он может там вычитать — для меня загадка. Сталин не для того писал, чтоб раскрывать свою кухню. Конечно, что-то можно понять, если хорошо знать историю ВКП(б), тонко разбираться в перипетиях внутривнутрипартийной борьбы двадцатых годов. Вряд ли у Саддама была такая подготовка или квалифицированные консультанты по этому вопросу. Но ничего — справлялся, копировал сталинские методы, без овладения его «теоретическим наследством». Видите, как он, пользуясь чуждыми ему, но обязывающими других нормами цивилизации, ее гуманностью, успешно навязывая свою волю сильным цивилизованным странам... То, что он несколько переборщил и нарвался на эмбарго, ничего не меняет. Все равно он уцелел и сохраняет гордую осанку. Ему позволили это представить своему народу победой, а больше ему ничего не надо — он опять готов к прежним, но также «подвигам». А сколько есть та-

ких же, не так зарывающихся, но так же по-сталински использующих в борьбе против цивилизации не только ее технические достижения, но и ее чуждые им нормы? И ведь им удается — они теснят, а она, извиняясь, отступает. Таково сегодня состояние цивилизации. Неужели эти убудки — это все, к чему пришло человечество в результате своего долгого и мучительного развития? Не хотелось бы так думать.

А Николай Валентинович тогда этой глобальной опасности не видел. Он верил в «реальность» (значит, в реальность цивилизации, ее норм и ценностей) и в то, что сталинский СССР постепенно к ним возвращается. Признаться, и я, хоть очень расходился с ним в оценке происходившего, этой глобальной опасности не видел тоже. Она тогда только начинала разворачиваться. Я вообще тогда только упирался лбом в сталинскую узурпацию — избавиться от нее, и все проблемы решены. Свободно, бодро и доброжелательно пойдем к коммунизму. А что будем делать, когда дойдем? Но, будучи в плену телеологического мышления, этого вопроса я себе не задавал. Хотя приходил он мне в голову и много раньше.

Среди остальных преподавателей было тоже немало ярких личностей. Например, Шунери Унченевич Кан, математик — программа нашей подготовки включала в себя предмет «Элементы высшей математики для техникумов», который он вел... По национальности Шунери Унченевич был корейцем.

Не надо забывать, что корейцы были высланы с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан гораздо раньше, чем немцы из Москвы и с Поволжья. Но к этому времени с них уже были сняты все или почти все ограничения (как с кулаков), и они могли спокойно разъезжать по всей стране. А может, только по всему Казахстану — точно не помню. В нашей ссыльно-поселенческой «Пальмире» это было немало. Для сравнения — немцы, учившиеся со мной, без разрешения коменданта не имели права съездить даже к родителям в Темиртау, расположенный километрах в сорока от Караганды. Тем не менее многие корейцы, особенно дипломированные специалисты, продолжали тогда жить и работать в Караганде — видимо, укоренились там прочно...

Вспомнил я о Шунери Унченевиче потому, что благодарен ему — он тоже оказал серьезное влияние на мое развитие... Нет, никаких личных отношений и бесед у меня с ним не было, да и никакого стремления оказывать какое бы то ни было постороннее, в том числе и общекультурное, влияние на кого бы то ни было он не проявлял... Влияние оказала на меня сама математика, которую он преподавал. Я впервые — пусть отдаленно — прочувствовал ее вкус. Нет, не увлекся ею, не проник в ее глубины — в конце курса я удостоился у него той же четверки, которую получал в школе, и это было справедливо, — а именно почувствовал ее вкус, ее стремление и умение точно формулировать почти неуловимые сущности... Конечно, Шунери Унченевич хорошо знал и чувствовал свой предмет, хорошо учил ему, но я совсем не убежден, что все мои предыдущие учителя учили плохо. Вероятно, и в школе при доказательстве теорем они употребляли поразившее меня только теперь выражение «необходимо и достаточно», но оно не производило на меня впечатления. Видимо, не дорос я до понимания его простой сути. А может быть, в школе оно не употреблялось. А ведь это универсальный закон мышления — условием каждого суждения является необходимость и достаточность оснований. Каждый довод должен быть необходим (лишние доводы — это, как потом стали говорить, «шумы», только затрудняющие понимание), и этих доводов должно быть достаточно, чтоб суждение было неопровержимо. Когда говорят об интеллектуальной честности, имеют в виду именно это — способность не делать выводов, не имея необходимых и достаточных оснований.

Впрочем, это не только закон мысли, но и закон вкуса. В стихотворении все должно быть необходимо и достаточно для раскрытия эмоционального замысла, импульса, остальное — от лукавого. Разумеется, с поэзией (и вообще с искусством) сложнее — замысел замыслу рознь, и не всякий замысел поэтичен, об этом всегда идут споры — но это верно как принцип воплощения любого замысла. Это простое речение до сих пор помогает мне жить, мыслить, понимать и общаться. И за это я, безусловно, благодарен Шунери Унченевичу Кану, хотя, видит Бог, подобные результаты вряд ли входили в его намерения.

Блистательным преподавателем горного дела (на нашем отделении профилирующего предмета) был Иван Петро-

вич Рыбаков. По-моему, он был даже заведующим нашим отделением. Был он человеком порядочным и интеллигентным (пусть даже советской формации), любил литературу, мог страницами цитировать «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Отношения у меня с ним были хорошие, теплые (он вообще был хорошим человеком), но поверхностные, как у студента с преподавателем — доверительных бесед у меня с ним не было. И несмотря на вполне добрую память, говорить мне о нем в этой работе — нечего. Из чего никак не следует, что о нем нечего говорить вообще, человек он был вполне достойный и заслуживающий внимания, он занимал в нашей студенческой жизни большое место... Но я пишу воспоминания не о техникуме, а о своем пути сквозь время. Это книга вообще не для того, чтоб воздать каждому должное, для нее важно другое.

Существеннее для этой книги воспоминание, связанное у меня с другим преподавателем, хотя тот только короткое время под конец читал нам калькуляцию. Сам он почти не сохранился в памяти и, в отличие от Ивана Петровича, большого места в нашей (и моей, в частности) жизни не занимал. Я даже имени его не помню. Но с ним, точнее с его предметом, связано одно незабываемое впечатление. Вернее, случай, мало кем замеченный.

Однажды на своем уроке он объяснял нам порядок оплаты сверхурочных в угольной промышленности СССР. И, между прочим, сообщил как о чем-то естественном и логичном, что к оплате каждой тонны угля, добытой в сверхурочное время, прибавляется еще целых сто процентов, только эти сто процентов выплачиваются с учетом коэффициента 0,6.

— Так что, только шестьдесят процентов? — удивленно спросил кто-то, может быть, и я.

— Нет, не шестьдесят, а сто. Но с коэффициентом 0,6, — невозмутимо ответил преподаватель.

А был он то ли начальником планового отдела, то ли главным бухгалтером самого важного учреждения в городе — комбината «Карагандауголь»... И вроде был человеком неглупым и нетемным, дело свое знал, — следовательно, конечно же, не хуже меня понимал, что сто процентов с коэффициентом 0,6 — это шестьдесят процентов. Между тем авторитетно опровергал эту очевидность. И я понял,

что мне следует немедленно перестать доискиваться — во всяком случае, вслух — до логической связи, до элементарного арифметического смысла, что это не только опасно для меня самого, но и нехорошо по отношению к другим, к тому же преподавателю, которого это ставит в трудное положение. Но меня это потрясло.

Лживость советской, особенно сталинской системы и всей ее пропаганды была для меня очевидна и до этого случая. Но ведь здесь ложь касалась не общего положения вещей, а самого рабочего процесса. В своей рабочей повседневности человек должен был соблюдать логику сталинского театра... Сначала начислять (на бумаге) сто процентов, а потом «обрабатывать» результат коэффициентом! Так сказать, заниматься самопропагандой — самому себе внушать, что в нашей рабочей стране рабочие получают за выработанные сверхурочные надбавку в дополнительных сто процентов. А про коэффициент? Подумаешь, коэффициент! — научное словечко, бухгалтерская подробность — иностранцам о нем и говорить не надо, не поймут! Возможно, и сами, да и сам наш преподаватель, верили, что так надо — в сталинской мудрости мало кто сомневался...

Мне было странно — к чему это? Ведь рабочие знают, что они получают — коэффициентами им голову не заморочишь! Если бы шахтер, согласившись отработать вторую выработку за сто процентов, получил бы их с коэффициентом 0,6, в следующий раз он бы любыми способами избежал сверхурочной работы. Впрочем, как раз шахтеров эта бухгалтерская «подробность» касалась только теоретически: на практике они вообще избегали записывать себе сверхурочные — они гораздо больше получали за перевыполнение нормы в свои законные восемь рабочих часов. Как было в других отраслях — не знаю...

Конечно, эта очевидная нелепость, к которой надо было приспособливаться, унижавшая сознание, внушавшая недоверие к собственному здравому смыслу, была частью сталинской системы оглупления. Но тут система, по-моему, несколько переборщила — стала оглуплять самих оглупляющих. Этот случай помог мне ясней разглядеть нечто, нынешнему говоря, виртуальное в тогдашней действительности, что я отчасти уже представлял себе и до этого, но более смутно и абстрактно.

Не могу не упомянуть еще об одном преподавателе — Жанагулове (имя-отчество забыл), который вел у нас историю ВКП(б). Тому, что этот предмет изучался и в техникуме, я несколько удивился — почему-то считал его институтским... Но дело не в предмете, а в преподавателе.

Он был молод, добр, приятен в общении. По национальности казах. Но не из тех, кто получил диплом для торжества сталинской национальной политики и в порядке спешной подготовки национальных кадров. «Выдвижение национальных кадров» было неотъемлемой деталью обстановки в Казахстане. О масштабах этого мероприятия можно судить по тому, что в Караганде, так же как и в других городах, на объявлениях о приеме студентов в институты и техникумы неизменно присутствовало примечание «лица тюркских национальностей принимаются без экзаменов». Как после этого можно было обратиться к врачу-казаху? (Если, конечно, у него не было персональной репутации, что, естественно, тоже бывало.) Результаты этих льгот были плачевны. Когда мы начали учиться, в нашей группе училось десять казахов. «Тянул» только один, не только «тянул», но блестяще соображал, хотя с трудом говорил по-русски. Но именно его почему-то родители месяца через два потребовали обратно в аул. У остальных все шло очень туго. Короче, до конца семестра с трудом доковылял только один, а к концу года не осталось ни одного.

Так что вполне уместно здесь подчеркнуть, что Жанагулов явно к таким не относился, что свой диплом он получил вполне справедливо. Он вполне свободно и грамотно говорил по-русски и в общем знал свой «предмет»... Если связано с ним что-либо смешное, то связано это было не с его личностью, не с его происхождением, а с неопределенностью и зыбкостью этого «предмета».

Так что он никак не был вариантом моего сокамерника по Лубянке Джумагали Аликеева — каракалпака, совершившего кругосветное путешествие, но плохо понимавшего, что это значит*.

Не могу сказать, что он особо тонко разбирался во всяких «отзовистах», «ликвидаторах» и прочих «соглашательских» течениях внутри «нашей партии». Однажды ему по этой теме отвечал Витя Берг, человек способный и умный,

* См. главу седьмую («Расплата») в третьей части этой книги.

отвечал вполне правильно, но он высказал недовольство его ответом. Я, несмотря на то что старался при разговорах на эти темы «не возникать», не выдержал и запротестовал. При этом точно, как мне казалось, воспроизвел ответ товарища. Реакция на мое «возникновение» была для меня неожиданной.

— Ты молодец, Мандель, ты все сказал правильно, а он — нет.

На перемене я спросил у Вити, в чем дело?

— Я ведь только повторил твои слова.

— Да. Но ты произнес слово (речь шла о термине из книги, сейчас не помню каком), а я нет... В этом все дело.

Конечно, смешно, что без этого магического слова этому молодому неглупому человеку и «отзовизм» был не в «отзовизм», но это никак не свидетельство темноты его сознания, а того, что там, где он учился, куда пришел за знаниями, «кто-то камень положил в его протянутую руку». Не только камень, но и камень тоже. Это последствие того, что миллионы людей окунули в мир понятий, им абсолютно ненужных и непонятных, вызванных стремлением сначала «ленинской гвардии», а потом и Сталина, свести давние счёты со своими оппонентами. В историю партии, которая при Сталине сводилась к тому, что все, кто когда-либо возражал Ленину или Сталину по какому-либо, пусть даже самому частному вопросу (равно безразличному тем, кто этому учил, и тем, это изучал), рассматривались как носители первородного греха и человеческой скверны. Собственно, ради этого внушения все и изучалось. И тут ни при чем казахское происхождение Жанагулова, даже если б он происходил из самого глухого аула. В нашей группе учился неплохой и неглупый парень, фронтовик, член партии, долгое время работавший воспитателем в молодежном общежитии. Но вот круг его представлений. Однажды, когда (опять-таки в связи с предметом Жанагулова) я поправил его в чем-то очень простом, объяснив, допустим, что меньшевики террором не занимались, а занимались им эсеры, он в ответ снисходительно улыбнулся и назидательно спросил:

— А какая разница?

Он хорошо это знал. Как же? Ведь он многократно занимался во всякого рода обязательных тогда кружках по изучению истории партии и «марксизма-ленинизма» (в иной

транскрипции называть этот предмет не могу). Там ему, конечно, никто ничего подобного не говорил, но тем не менее всем ходом преподавания именно такое представление внушили.

Он был глубоко убежден в том, во-первых, что он в «этом» хорошо разбирается и что его примитивные представления — истина. И то и другое было фикцией — даже если абстрагироваться от того, что фикция сам коммунизм. Этому неплохому парню тоже положили камень в протянутую руку.

Опровергать его представление о его знании я не стал, в моем положении это было опасно, хотя ничего противоречащего установленному шаблону я не говорил. Не думаю, чтобы он стал на меня доносить «куда надо», но с «товарищами посоветоваться» мог. А тут уж докажи, что ты не «восхвалял» меньшевиков. Был в ходу у следователей МГБ такой термин — «восхвалял». Относился он к немецкой или американской технике, к западному образу жизни и к чему угодно. Ничего хорошего тем, кого ловили на «восхвалении», он не сулил.

Кстати, другой преподаватель истории, только не партии, а СССР, рассказывая о Бунде, оставил у своих юных слушателей впечатление, что бундовцы на Втором съезде РСДРП требовали привилегий для евреев в будущей России. Так оформилось в его сознании бундовское требование «культурно-национальной автономии»*. Для того чтоб представить возможность требования привилегий для какой-либо нации на съезде тогдашней марксистской партии, нужно совершенно не чувствовать атмосферы этих съездов и марксистской идейности вообще. Многие из профессиональных «идеологов» времен поздней сталинщины о том и другом не имели ни малейшего представления. Я, как уже неоднократно говорилось, давно не сторонник марксизма и вовсе не считаю, что всем это так уж важно знать. Лучше бы знали и перечитывали Священное Писание — оно неизмеримо больше знает о людях и жизни. Но учить истории, не зная и не чувствуя ее, значит класть в уже упоминавшиеся руки пресловутый камень, затемнять сознание. Но таких незнающих знатоков готовили специально.

* Как мне кажется, опыт показывает, что воплощение этого требования вовсе не пригодилось бы евреям, но помогло бы сохранить целостность страны.

Забавный же случай, о котором я хотел рассказать, связан не с историей партии, а с «философией», той самой, к которой с почтительным испугом относился калужский начальник милиции (книга четвертая, часть первая). Речь идет о знаменитом тогда втором параграфе четвертой главы пресловутого «Краткого курса истории ВКП(б)» (вскоре КПСС) — «О диалектическом и историческом материализме». Говорили, что автором всего «Краткого курса», а особенно этой мудреной главы, был «сам товарищ Сталин». Не буду ни соглашаться, ни оспаривать эту сомнительную заслугу. Как ни относиться к марксизму, это его профанация, примитивизация. Но я здесь не собираюсь оценивать объективную ценность этой работы. Для меня здесь важно другое. Считалось, что сложнейшие вопросы изложены в этой четвертой главе с предельной простотой. Но, судя по реакции калужского милиционера и многих других ее почтительных читателей, это было не совсем так. Упрощения явно к простоте не привели. По-видимому, нечто подобное чувствовал и сам Жанагулов. Во всяком случае, он делал все возможное, чтоб отложить изучение этой гениальной главы на конец курса, когда мы якобы будем к нему лучше подготовлены. Почему изучение съездов и конференций должно было лучше подготовить нас к изучению этой премудрости — тайна его и тех, кто не рассмеялся ему в лицо. Однако ему было сказано, что товарищ Сталин лучше знает, в каком порядке надо все изучать. И мы приступили к изучению «философии». Облегчало положение Жанагулова то, что Сталин разделил весь диалектический материализм на пункты и признаки. И он задал нам придумать на каждый пункт и признак собственные примеры. И вот к чему это привело.

— Плосконос! — выкликнул преподаватель.

Поднимается Степа Плосконос, мой приятель и ровесник, высокий, худощавый, совсем неглупый парень. Он прошел уже серьезную жизненную школу, был на фронте, работал на разных работах и в разных районах страны... Конечно, он не прочь при случае и пофилософствовать, но, как и все присутствующие, разве что кроме меня, знающего о ней хотя бы понаслышке, о собственно философии представления не имеет. Прямо скажем, не интересовался этой областью мысли.

— Плосконос, — говорит Жанагулов, — назови третий пункт диалектики.

— Это, — начинает Степа, — что все развивается в противоречии.

И дальше по книге.

— Правильно, — одобряет преподаватель. — А теперь приведи пример.

Степа приводит опять из книги. Так полагается.

— Правильно. А собственный пример ты приготовил?

— Да, — мрачно отвечает Степа.

— Ну давай.

И тут начинается нечто невообразимое.

— Луна, — решившись, выдавливает из себя Степа.

— Что Луна? — испуганно недоумевает преподаватель.

— Она ведь к Земле притягивается...

— Ну?

— И не падает, — заключает Степа.

Пантомимы, последовавшей за этим, я никогда не забуду... Степа мрачно уставился в преподавателя, преподаватель — недоуменно в Степу. Степа — не зная, что произойдет, а преподаватель — не зная, как реагировать. Оба не знают, объясняет ли приведенный Степой пример данную черту диалектики или нет. Сколько времени продолжалась эта сцена, не помню. В конце концов Жанагулов как-то полуодобрил Степу, спросил еще что-то и поставил положительную оценку. Что Степе только и нужно было — не посмеяться же над философской мыслью «отца народов» имел он целью.

Но тяжелей всех приходилось в эти минуты мне. Почти невозможно было противостоять раздиравшему меня смеху, при том, что рассмеяться мне тогда на таком «идеологическом» занятии было смерти подобно.

Я знаю, что Жанагулова (он сам в классе говорил об этом) хотели взять не то на комсомольскую, не то на партийную работу. Как же, грамотный, по их меркам, образованный (певец номенклатуры Всеволод Кочетов говорил в таких случаях «эрудированный») казах — чего еще нужно! — блестящий национальный кадр. Особого энтузиазма, судя по тону, которым он об этом сообщал, это в нем не вызывало. По моему ощущению, он хотел бы продвигаться по жизни без допингов. Какой путь избрал он — не знаю. Но в памяти моей отношение к нему остается теплым. Легкая ирония по поводу его вынужденных блужданий в пустынях философии не относится к его личности целиком. Это не

его вина, а наша общая беда... Все мы, как гласит название одного из моих интервью, товарищи по несчастью.

Теплые чувства сохранились у меня и к другим нашим преподавателям, большинство из которых были занесены в Караганду искусственными и жестокими ветрами времени. Для них тоже наш техникум был, как и для меня, спасительным оазисом.

Но жил и общался я в основном не с преподавателями, а со студентами. Кстати, очень скоро мне сшили студенческую «горняцкую» форму, и тут я впервые — правда, страдательно — соприкоснулся с корпоративной солидарностью... Произошло это так. Жил я тогда еще почему-то в Большой Михайловке (а может, просто ночевал у друзей). И вот однажды, когда я спешил в техникум, ко мне стала задираться мелкая, но шпанистая пацанва. Большой опасности это для меня не представляло, я успешно отбивался от них, но пацаны отбегали и все равно сопровождали меня (и изрядно досаждали своим преследованием). И вдруг я услышал сзади:

— Чего пристали? А ну валите отсюда!

Два незнакомых парня в такой же форме, как я, быстро разогнали эту шпану и, дружески беседуя, пошли рядом со мной. Нам было по дороге, было о чем поговорить — мы были свои. Не скрою, что, как это и ни смешно, мне было это приятно — мне всегда приятно чувствовать общность с людьми, а тогда я в ней особенно нуждался. И потом я ведь и вправду собирался стать горняком, как они. Естественно, я не собирался перестать быть самим собой, перестать писать, но мужественно собирался сочетать и то и другое. Что ж, до какого-то возраста это было возможно. А конца сроков, несмотря на очевидную старость «отца народов» и на Ольгины рассуждения, я не видел, будучи не в силах представить его смерть и не веря, что с его смертью что-либо изменится. Так что я вполне разделял то чувство корпоративной общности, которое побудило этих парней за меня вступиться. Но те парни были из основного состава — после семилетки*, — а мне и по возрасту, и по интересам более близки были десятиклассники.

* В техникумах основной его контингент — принятые после окончания семилетки — проходили весь курс старших классов средней школы и получали документ о полном среднем образовании. Вероятно, и теперь так.

По национальному составу большинство или, во всяком случае, существенная часть моих сокурсников (расчетов я не производил) составляли немцы. Это неудивительно, поскольку им больше почти некуда было податься. Жило их здесь много, а выезжать за пределы области они не имели права. А в Караганде из полноценных высших учебных заведений имелся только мединститут. Нельзя сказать, что немцев вообще туда не принимали — ведь и Ира Безлер, и ее будущий муж учились в нем. Но ведь в мединституты в те годы вообще было трудно попасть из-за конкурсов, а к немцам, надо полагать, требования были особенно строги. Кроме того, далеко не всех тянет к себе медицина. Учительский же, где училась Вава, полноценным высшим учебным заведением не был*. Он не давал ни полноценного образования, ни полноценных перспектив. Думаю, что немцев туда принимали, как приняли Ваву, но мало кого туда тянуло. Потом появился в Караганде и Горный (потом Индустриальный) институт, но поначалу немцев туда не принимали. Потом стали принимать. Его через несколько лет закончил и даже потом защитил в нем диссертацию мой друг Роберт Ридель, человек выдающихся способностей, о котором еще будет речь. Кстати, несмотря на все его успехи (он стал выдающимся, союзного масштаба специалистом в области открытой разработки угольных месторождений), я все же уверен, что именно его эти ограничения ограбили больше всех. Ему бы в университет, ему бы в фундаментальные науки! Он и без того сделал немало, но мог бы больше. Да и круг общения у него (в чем он очень нуждался и к чему тянулся) был бы шире. Но поезд ушел... Когда это стало юридически возможно, у него уже были жена, дети. И для достижения того (тоже немало), чего он достиг, потребовались героические усилия... Так что нельзя сказать, что эти преследования не отразились на судьбах моих соучеников.

Взять хотя бы Галю Лиринг. В прошлом московская интеллигентная девушка, она была почти моей ровесницей, то есть на несколько лет старше большинства наших товарищей. Естественно, так «задержалась в развитии» она не по своей вине, а по вине «эпохи». Немцем у них в семье

* По-моему, теперь их нет. Двухгодичные учительские институты были наследием «культурной революции». Они давали — так это называлось «незаконченное высшее образование». Их диплом не давал права преподавать в старших (с 8-го по 10-й) классах средней школы.

был только ее отец, инженер, мать была русская. Профессии ее я не помню, но она явно была интеллигентной женщиной. Обыкновенная московская интеллигентная семья. Но когда началась депортация немцев из Москвы, загребли и ее... Забавно, что такие же смешанные семьи, но в которых к депортируемой нации относились не мужья, а жены, депортации не подлежали — видимо, сказалась восточная психология Великого Автора работы «Марксизм и национальный вопрос». Женщин, по-видимому, он не считал носителями национального начала. Из Тум, куда ее депортировали, ее очень быстро забрали в «трудармию». Я уже упоминал об этом изобретении в связи с отцом Рэма Штруфа (книга вторая) — это было нечто вроде концлагеря, но с комсомольской организацией и тому подобным (впрочем, немцев, в отличие от «пятьдесят восьмой», вообще не лишали права быть коммунистами и комсомольцами). Там она пробыла несколько лет, потом вернулась к матери, которая теперь жила в Темиртау, там в вечерней школе завершила свое среднее образование, получила диплом за десять классов, и вот по тем же причинам, что и другие, оказалась в техникуме... А интересовало ее искусство. Это не факт, что она стала бы и захотела бы стать художником. Но это было бы делом ее свободного выбора. И, уж точно, училась бы она не в техникуме. Жизнь ее явно была искривлена уже упоминавшейся «эпохой» (если помните, это была одна из ипостасей Иосифа Джугашвили). Но это люди, которых я знал лучше, чем других, — думаю, что так или иначе последствия этой «немецкой судьбы» сказались на всех учившихся со мной немцах.

У некоторых из них — полукровок — фамилии были русские: Сева Никитин, Жора Глушенко. Но от общей немецкой судьбы это их не спасало. Они также состояли на учете в комендатурах, также должны были в определенные дни приходить туда отмечаться, также должны были испрашивать там разрешение на любое свое передвижение. Но мне кажется, что не все эти «спецпереселенцы» оказались здесь в результате немецкой депортации. По-моему, братья Берги, Виктор и Иван, оказались здесь раньше, задолго до войны, когда депортировали «кулаков». Выслали всю их семью, ну и их в ее составе. В какой момент их перевели из одной категории «спецпереселенцев» — социальной, в другую — национальную, точнее этническую, не знаю. Похоже, тог-

да, когда кулаков «простили» (естественный вопрос, кто у кого должен был просить прощения, к данной теме не относится), но, возможно, это произошло раньше. Общая депортация русских немцев предпринималась, как это объяснялось, «из соображений военной безопасности», и теперь, через шесть лет после окончания войны, эти соображения в отношении как братьев Бергов, так и других немцев продолжали действовать. Теперь «не то» социальное происхождение интернационалистическое государство еще могло простить, а вот «не то» национальное — никак.

И жили мои товарищи в ожидании лучших времен, признаков которого не было видно. Так же как я и почти все население Караганды, состоящее в большой степени из лиц с ограниченными правами. Все, что с ними происходило, для них уже было бытом и как бы не угнетало. Даже необходимость докладывать коменданту о желании посетить родителей было только деталью этого быта. Конечно, лишняя морока никому не в радость (а это была именно морока — не помню, чтобы кому-либо отказывали), но мало ли неприятного во всякой жизни — слава Богу, жизнь этим не ограничивалась, и молодость брала свое. Тем более что в техникуме никто — ни немцы, ни просто ссыльные, ни отбывший ссылку аз многогрешный — не испытывал никакой дискриминации.

Впрочем, простые немцы, придавленные дискриминацией, вообще не имели представления о таких возможностях. Немцы шахтеры, когда узнавали, что Роберт, появившийся у них на шахте во время нашей первой производственной практики, тоже немец и зовут его Роберт, наотрез отказывались верить, что он — студент. Такого, по их представлениям, быть не могло. Немцев в Горный техникум принимали уже как минимум несколько лет, но это настолько противоречило их опыту, всему, что они пережили, видели вокруг себя, что они отказывались верить собственным глазам.

Дискриминация начиналась на работе. Шла она и по производственной линии. Люди с дипломами могли работать по специальности, но в целом немцам было крайне тяжело продвигаться по административно-производственной лестнице, даже если они этого очень заслуживали, а их ближайшее начальство было в этом заинтересовано, хотело этого. Это все-таки было хоть и затруднено, но не исключе-

но. Абсолютной дискриминация становилась в том, что сегодня показалось бы смешным — в гласном объявлении результатов так называемого «социалистического соревнования». Полагалось считать, что этим «движением» энтузиастически охвачена вся страна, что вся она только и думает о показателях родного предприятия и сравнивает их с показателями других... На самом деле заняты этим были только руководители разных уровней и профилей. И тоже отнюдь не из романтических соображений — по этим показателям и месту, занятому его предприятием в этом соревновании, оценивалось соответствие данного руководителя занимаемой должности. От этих показателей зависела его карьера и работа. Я говорю это без осуждения тех, кто вынужден был с этим считаться. Так была устроена жизнь. Этими показателями и соцсоревнованием в начале тридцатых решили заменить «капиталистическую» конкуренцию. Показатели стали самоцелью. Ради них шли на любой подлог, на любые, пусть даже самые бессмысленные, с точки зрения здравого смысла, затраты труда и средств, на любое преступление перед природой, перед будущим. Когда-то где-то (не помню, где) я написал: «Извели страну на показатели». Фраза эта может кому-то показаться слишком броской, но и теперь уверен, что преувеличения в ней нет.

Однако она касается судеб всей страны, а сейчас речь идет только о дискриминации немцев. А к ней это «соревнование» имеет только косвенное отношение — не само по себе, а только тем, что ему обязательно сопутствовало.

Я имею в виду освещение этого мероприятия в печати. Как известно, советская пропаганда в обязательном порядке занималась прославлением «передовиков производства» (это называлось «пропагандой передового опыта»). Но вот беда, в Караганде такими передовиками сплошь да рядом оказывались немцы. Их высоко ценили, считали ударниками, стахановцами, но публично их заслуги оценивались разве что только на уровне цехового профсоюзного собрания и цеховой стенгазеты. Ни в одном печатном издании, включая многотиражки, ни в каком хвалебном перечислении передовиков ни одна немецкая фамилия появиться не могла. Это уже как бы стало законом жизни и само собой разумелось. Конечно, это касалось не только немцев, а всех «ущемленных» — если бы вдруг таким передовиком производства оказался я, моя фамилия тоже не появилась бы. Но я все-

таки (так официально считалось) был в чем-то персонально обвинен и за это осужден, страдал за себя самого, а эти передовики — так, по крайней мере, выглядело — только за то, что они немцы.

Конечно, к этой возне с прославлением передовиков вообще серьезно относиться не стоит. За хорошую работу надо хорошо платить, а не прославлять в печати. И, конечно же, все эти прославления — комедия, детская игра. Но эта игра навязывалась взрослым, и этот навязанный инфантилизм был частью быта, входил в его атмосферу. Над этим посмеивались, но в этом — жили. А поскольку в этом жили, то такая открытая и наглая несправедливость все равно задевала и оскорбляла — была дискриминацией. Причем дискриминацией в самой очевидной и грубой ее форме.

Конечно, эта дискриминация и без того не давала о себе забыть. Ведь в каждом жила память о депортации, а у многих и о трудармии. Да и невозможность выехать за пределы определенной местности каждый раз напоминала о ней — все это никак нельзя сбрасывать со счета. Но и помня все это, люди, особенно молодые, жили. И не могли игнорировать параметров той жизни, в которой жили. Однако моим товарищам встреча с теми мелкими, но чувствительными оскорбительными унижениями, о которых я сейчас говорил, еще только предстояла. А пока их от этого оберегал техникум.

Нелишне отметить, что эта дискриминация, и особенно ее протяженность, исходила исключительно от государства, от Сталина — не сразу, но вскоре после его смерти она кончилась. И ни в коем случае она не исходила от окружающего населения. О случаях дурного отношения местного населения к немцам на бытовом, сиречь на человеческом, уровне (уровне человеческих отношений) я даже не слышал — ни в Чумакове, ни в Караганде, тем более не был их свидетелем. Это не значит, что таких случаев не было совсем — в любой жизни все бывает. Роберт, прошедший во время войны через многие детские дома, однажды наткнулся на воспитательницу, которая преследовала его, десятилетнего мальчика, обзывая при этом «фрицем» и «фашистом». И это единственный случай, который мне известен. Повторяю, такие случаи, может быть, и бывали, но число их было очень незначительно.

Меня могут упрекнуть в одностороннем освещении событий, ведь я говорю о дискриминации только в связи с немцами, забывая, что ей тогда подвергались и другие депортированные народы — крымские татары, балкарцы, калмыки, чеченцы, карачаевцы... Я это знаю. Но я пишу не научно-историческое исследование, а мемуары, рассказ о своей жизни. Не скрываю, я надеюсь, что сквозь него просвечивает история страны. Но только на материале моей жизни — пережитого, увиденного и передуманного лично мной. А с представителями других депортированных народов я почти не общался — только с немцами. А видел еще только чеченцев. Но они проходили по улицам сомкнутым и замкнутым семейным строем по двое в ряду — впереди аксакалы, за ними по старшинству сыновья, затем женщины — тоже по старшинству, затем — дети. Не помню, где было место мальчиков — впереди женщин или за ними, но и оно соответствовало заведенному порядку. Отношения чеченцев с окружающим населением были весьма напряженными — их считали разбойниками и грабителями. Я не верю в огульные характеристики целых наций, но в отношении к какой-то заметной части чеченского населения это суждение, по-видимому, не было совсем уж безосновательным. Потом я слышал (не от чеченцев) оправдывающие объяснения, что после того, как их выслали, лишив всего, им ничего другого делать не оставалось. Но не говоря уже о немцах, — балкарцы, такие же депортированные «кавказцы», как и чеченцы, оставили по себе добрую память везде, куда были депортированы. Судить же огульно о целой нации я не могу, не хочу и никогда не буду. Чеченцем был мой знаменитый друг Абдрахман Авторханов, с нами в общепитии жил такой же студент, как мы, парень с милым, добрым лицом, чеченец по национальности, к которому все хорошо относились, хотя так и звали — «Сашка-чечен». Иногда ему в глаза ругали чеченцев, он смущенно улыбался и говорил, что так говорить обо всех нельзя. И был прав. Нельзя никого подверстывать под общий образ. Но общее представление господствовало. И напряженность давала о себе знать даже в мелочах.

Однажды я был свидетелем внешне забавной сцены на полупустынной улице в Большой Михайловке. Встретились две десятилетние школьницы, причем обе, как писали в дореволюционных документах, «мусульманского вероиспо-

ведания» — казашка и чеченка. Обе выполняли поручения родителей — одна шла с пустой сумкой в продмаг, а другая возвращалась оттуда с покупками. Разминуться им было легко, места хватало. Они и разминутись. Но одна, пройдя после этого несколько шагов, повернулась лицом назад, высунула язык и презрительно заорала:

— Э... э... э!.. Чэчэн!.. Чэчэн!.. Э... э... э!..

Та не замедлила с ответом — тут же так же повернулась, высунула язык еще дальше и ответила той же монетой:

— Ы... ы... ы!.. Казах!.. Казах!.. Ы... ы... ы!..

После этого обмена любезностями обе некоторое время продолжали пятиться — каждая в своем направлении, не убирая языков и продолжая убивать друг друга теми же презрительными словами и звуками. Потом все-таки разошлись. Разумеется, эта сцена была проекций разговоров, слышанных дома. Но самому мне в Караганде вступать в отношения с чеченцами не приходилось, хоть специально я их не избегал.

Именно поэтому, говоря о дискриминации, я говорю главным образом о немцах. Кстати, их дискриминация не закончилась — они так и не дождались разрешения возвратиться туда, откуда их депортировали. Дождались, наоборот, хамского предложения Ельцина покопаться среди неразорвавшихся мин на испытательном полигоне Капустин Яр (где они никогда не жили)*.

Впрочем, и говорить о дискриминации немцев я тоже прекращаю. Кому-то даже может показаться, что я и так уделил ей слишком много внимания. Но это не так. Она происходила на моих глазах, ущемляла не кого-нибудь, а моих товарищей — следовательно, тоже является частью моего душевного и духовного опыта и имеет прямое отношение к этой книге. А кроме того, я вообще считал своим долгом напомнить еще об одном печальном и постыдном эпизоде нашей истории, как будто общеизвестном, но при

* Это заявление было сделано Ельциным в Саратове, когда он оказался перед толпой, протестовавшей против обещанного им же канцлеру Колю (восстановление немецких поселений в Поволжье). Надо сказать, что демонстранты, выступавшие с этим не только несправедливым, но и глупым, вредным для интересов страны и государства протестом, все же в основном оскорбительных выражений против немцев как таковых избегали, а настолько враждебных и издевательских — избегали совсем. Любил нравиться аудитории наш «непредсказуемый». Любой и в любой момент...

этом как-то проскочившем мимо серьезного, пристального внимания нашей либеральной общественности. Но пора переходить к другим темам. Тем более что, как я уже не раз отмечал, в нашем техникуме, в рассказ о котором вклинилась эта тема, никакой дискриминации не было. Не было ее и в отношениях ребят между собой. «По нации» (позднейшее выражение) никто никого не обижал и не оскорблял.

Я храню и до конца жизни (теперь уже недалекого) буду хранить в душе благодарную память о техникуме — о его преподавателях и администрации (включая директора Георгия Евтихиевича Иванченко, человека собранного, умного и здорового, с которым у меня тоже были пусть не очень близкие, но все же неформальные отношения и без которого такого климата в техникуме бы не было). И, уж конечно, о своих товарищах-студентах. С ними я сидел рядом в аудиториях и лабораториях, жил вместе в общежитии, общался, пользовался их расположением, которым очень дорожил и в памяти своей дорожу поныне. Время, проведенное с ними, было единственным периодом моей жизни, когда хорошее отношение ко мне не было связано с моими литературными занятиями, не объяснялось даже близостью интересов. Было просто доброжелательным отношением к живущему рядом, несколько странному в их глазах, и часто беспомощному человеку, с которым их свела судьба. Это было просто товариществом. Я уже рассказывал, как оно проявилось в острый для меня момент — с черчением.

Имена многих, к сожалению, мною забыты. Особенно «маленьких» — тех, кто жил рядом, но учился в группах семиклассников. Далеко не все они на самом деле были маленькими. Например, Коля Кочергин. Он родился в Заполярье (о причинах этого он не распространялся), потом объездил полстраны, работал на различных работах, в том числе и в геологических партиях. И вот, наконец, решил осесть, остепениться, получить образование и диплом. Это и привело его в техникум и в наше общежитие. Теперь он уже кончал геолого-разведочное отделение. «Маленьким» он, естественно, не был.

Был еще один «маленький» — Володя Барсуков, парень с явно выраженной авантюрной жилкой, кажется, тоже будущий геолог. Он объездил почти всю страну. Какая страсть стояла за этой его «охотой к перемене мест» — я до конца

так и не понял. Скорее всего, любопытство и жажда впечатлений. Ездил он большей частью без билета, и из-за этого весьма прерывисто — на больших станциях его довольно часто сгоняли. Наибольшее впечатление на него в этом смысле произвела станция «Биробиджан». Там все милиционеры, имевшие с ним дело, были евреями и говорили друг с другом по-еврейски — больше нигде ничего подобного он не встречал.

Конечно, все эти передраги не могли остановить Барсукова — потеря непрерывности его не беспокоила. На том же поезде, с которого его снимали, или на следующем он таким же способом свой туристский вояж продолжал. Видимо, он был стихийным бернштейнианцем — руководствовался принципом: «движение — все, цель — ничто».

Однажды мы с ним совершили такое путешествие вдвоем. Это было в начале летних каникул 1952 года. Путешествие было вполне законным, отнюдь не безбилетным, но очень прерывистым. Не по нашей, правда, вине... Да и цели у нас были — мы ехали к родным. Он в Серпухов, а я в Киев — до Москвы нам было по дороге. С Москвой Караганду связывал только тот тридцать второй (в обратном направлении тридцать первый) поезд, на котором, если помнит читатель, я в конце концов сюда приехал. Отправлялся он два раза в неделю. Иногда летом давали дополнительный, но теперь его еще не было. Не помню, почему мы не запаслись билетами заранее, но не запаслись. У нас была полная уверенность, что мы сможем их купить на станции. Еще на днях это было вполне возможно, и мы это знали. Но, видимо, накануне или дня за два до нашего выезда положение изменилось — началась отпускная пора. И когда мы добрались до «вокзала» (до закутка на станции «Караганда-угольная», которую он заменял), у окошка кассы толпилась громадная очередь и билетов на нас не хватило. Предстояло позорное возвращение в общежитие. Но в последний момент было объявлено, что билеты на этот поезд продаются, и даже плацкартные, но только до Акмолинска. Мы могли свободно проехать километров двести из трех тысяч трехсот, отделявших нас от Москвы. А до следующего поезда надо было «загорать» дня три. Это нам было, прямо сказать, ни к чему — ребята разъезжались, да и общежитие на днях закрывалось на лето.

— Ладно, едем, а там видно будет, — сказал бывалый и тертый человек Володя Барсуков, и я согласился. Я ведь тоже к тому времени кое-что повидал и из каких-то положений выходил. Что-нибудь подвернется!

И мы поехали. Из попытки купить прямой билет до Москвы (но с компостером только до Акмолинска) ничего не вышло. Железная дорога не без оснований подозревала граждан в намерении как-то исхитриться и не сойти в Акмолинске и старалась исключить такую возможность. Ибо в Акмолинске вагон, в который мы попали, должны были заполнить тамошние пассажиры — в пиковые периоды он один осуществлял железнодорожное пассажирское сообщение между Акмолинском и Москвой.

Так что в Акмолинске — городе, где у нас не было никого и ничего, даже положения транзитных пассажиров, — мы вынуждены были ночью сойти. Впрочем, все наши дела были на его вокзале. Попытались купить билеты на наш же поезд, да где там! — их практически не было совсем. Нависала перспектива «загорать» в Акмолинске, что было гораздо неуютней, чем в Караганде. Но оказалось, что через несколько часов отходит местный поезд Акмолинск—Петропавловск. Я полагал, что уж на этот поезд билетов хватит, но, слава Богу, что мы вовремя подсуетились и были чуть ли не первыми в очереди. Нам билеты продали (причем до места назначения), но почти сразу после нас продажа билетов кончилась. И на следующий день мы оказались в Петропавловске. Там мы без труда закомпостили билеты (теперь мы уже были транзитные пассажиры) на поезд Омск—Челябинск. Проходили через Петропавловск и прямые поезда на Москву, но ждать их надо было полсутки, да и неизвестно было, чего дождемся. А этот приходил часа через два, и мы решили не пытаться судьбу. Впрочем, и два часа девать было некуда... Послонились по вокзалу, а потом решили — из разумной предусмотрительности и от нечего делать одновременно — загодя проскользнуть на перрон. Но старик, охранявший выход к поездам, ни за что не соглашался пропустить нас через свои ворота.

— Придет поезд — пропущу.

Однако непреклонного старика мы обошли. Шатаясь без дела, мы — сказалась опытность Барсукова — скоро обнаружили другой, никем не охраняемый выход. Правда, путь, который к нему вел, был несколько витиеватым, но време-

ни на его преодоление у нас было достаточно. И как раз перед приходом поезда мы оказались на перроне. Упрямый старик изо всех сил сдерживал заметно выросшую и рвущуюся на перрон толпу, которую можно было пустить не только после прихода поезда, а после объявления посадки, когда все, кому выходить в Петропавловске, сойдут.

— Привет, папаша! — приветствовал его Барсуков с тыла.

Старик некоторое время ошалело смотрел на нас, но что он мог сделать! — не бросить же ему целую толпу потенциальных нарушителей ради двух реальных! Больше приключений не было. В Челябинске мы быстро закомпостировали билеты на тот же пятнадцатый скорый Челябинск—Москва, на котором мне приходилось ездить еще в сорок втором. А вечером мы выехали на нем прямо к месту назначения. Еще через полтора суток мы наконец прибыли в столицу... Потеряли мы в общей сложности полсутки, а если б ждали следующего поезда, потеряли бы трое суток. Так что наш риск был оправдан — для тогдашних наших лет и сил, конечно (теперь мне о таком и думать страшно). Конечно, и тогда без Барсукова мне было бы труднее это сдюжить, но я был ему достойным партнером. Молодость. Захотелось о ней вспомнить — и, как видите, задержался на этом эпизоде, отвлекся от того, о чем рассказывал.

Но что еще рассказывать о техникуме? Как ни странно, учился я неплохо. Если не считать черчения и предмета «Горные машины» (мне всегда после этого словосочетания хотелось добавить: «Спят во мгле ночной»). Практически это машиноведение, дисциплина эмпирическая и простая. Следовало, допустим, глядя на открытую врубмашину, рассказать ее «кинематическую схему» — как и через какие шестерни (названия которых я, как все, знал) передается движение от двигателя к рабочему органу. Все это было просто и наглядно и ни для кого, кроме меня, не представляло трудности. А я никак не мог понять, что в этом все дело, что ларчик открывается так просто. Искал скрытую тайну. Понял, что ее нет, только после того, как еле-еле сдал этот экзамен. Озарило! И ребята не могли мне этого объяснить, не могли понять, чего я не понимаю.

Было у меня еще одно затруднение — со слесарным мастерством. Преподавал его Роберт — не путать с моим соучеником и другом Робертом Риделем, хотя этот Роберт был тоже немцем и тоже спецпереселенцем, и тоже симпа-

тичным мне человеком. Был этот Роберт настоящим мастеровым человеком, мастером на все руки. И просто хорошим и умным парнем — моего примерно возраста. Может быть, лет на пять старше. Мы с ним часто беседовали по душам на разные темы. Больше всего характеризует его одна вырвавшаяся у него — и на первый взгляд невзрачная — мысль.

— Понимаешь, Наум! Бывает человек... Ну как тебе объяснить... Ну, не умеет!.. Не умеет! А — берётся!

Это был вопль души. Если бы не он, высказывание это и впрямь было бы банальным. Но столько возмущения было в этом «а — берётся!», что я хорошо понял его и вдруг почувствовал с ним родство. Я так сформулировал тогда это родство как родство мастеров — в каких бы областях жизни они ни работали. Конечно, такое самосознание мне льстило. То, что Роберт мастер в своей области, было очевидно для всех, а я, возможно, и преувеличивал свои достижения и возможности. «Область» моя такова, что никогда нельзя быть уверенным, что это не так. Но ведь и я видел, как за мое дело многие, слишком многие, тоже брались не умеючи. И даже не зная, в чем, собственно, состоит это «дело» и зачем оно. И так же мне бывало от этого тошно. Так что родство это было налицо. Правда, в те времена в моем деле те, кто брались за него, не умея и не зная, еще могли становиться учителями и наставниками, а в его — никак: даже в лагере. Но речь сейчас не об этом.

Отношения у меня с Робертом были приятельскими, но на отношениях с его предметом это не отражалось. Ничего похожего даже на самые скромные успехи у меня в нем не было. Все было бы ничего — Роберт, зная мою ситуацию, в конце концов как-то вывел бы мне искомую тройку. Я, правда, тоже «не умел, но брался», да «брался» явно не по своей воле... Но вот беда — в конце курса в качестве экзаменационного упражнения надо было сдать образец работы, выполненный самим студентом. Этот образец должен был быть приложен к его «делу». Я должен был сделать не Бог весть что — молоток. Но как я ни старался, до тройки дотянуться не мог. Этот молоток сделал мне Роберт — сварганил за трешку. При желании он мог бы слупить с меня и десятку — мне ведь все равно некуда было деваться, — но он мне помогал, а не урывал с меня. А пол-литра за такую помощь — святое дело. Да я, кажется, сам ее и предложил.

Ведь в определенном смысле работа эта для Роберта была непростой. Ибо выполнить ее для правдоподобия надо было на тройку, а это требовало от Роберта особого умения и, главное, старания — выполнить ее на пятерку ему было бы гораздо проще.

Еще одна, последняя история, связанная с моей неумелостью. На этот раз смешная. И опять связанная с черчением. Только не с предметом, а с подготовкой к защите диплома. Дипломный проект я разработал вполне грамотно, но камнем преткновения опять встало черчение. Я понимал, что должно было быть начерчено и как это должно было выглядеть, мог кое-как изобразить это на эскизе, но представить надо было аккуратно выполненные чертежи, а это намного превосходило мои возможности. Один чертеж вызвался мне сделать Витя Берг. Он быстро разобрался в моем проекте и эскизе, кое о чем расспросил (проект касался условий Подмосковского угольного бассейна, ему меньше знакомых) и сделал все как надо. Второй чертеж сделала моя первая жена Валя (я тогда только что женился), а по поводу третьего, главного чертежа проекта я планировал обратиться к одной милой девушке, которая в прошлом меня несколько раз выручала с чертежами.

Она появилась в Караганде недавно. Ее вместе с матерью выслали сюда за отца, который был военным, и, видимо высокого ранга. Но насчет ранга — моя догадка. Они с матерью по этому поводу хранили молчание: вообще были замкнуты, о себе ничего не рассказывали. Знал я только, что они еще совсем не устроены, очень нуждаются и что случайные чертежи вроде моих — чуть ли не основной источник их дохода.

Существенная деталь. Я тогда не сомневался в том, что отец этой девушки — власовец. Но — странное дело — относясь к власовцам враждебно как к предателям (а за их замкнутостью чувствовалась любовь к отцу), я и к этой девушке, и к ее матери относился вполне сочувственно. Такие они были милые, интеллигентные, поначалу беспомощные. Такое сочувствие, конечно, нормально, но мы не были воспитаны в уважении к нормальности, и я его немало стеснялся — перед самим собой...

Сейчас мне кажутся смешными не только эти комплексы, а и само мое подозрение. Теперь я знаю, что в это время происходило в Москве с военными, и версия, что глава

их семьи был власовцем, не кажется мне серьезной. То, что изменилось и мое отношение к власовцам, положения не меняет... Я говорю сейчас только о факте. С власовцами разбирались раньше, а с семьями власовцев поступали жестче.

Я совсем не собирался здесь и сейчас касаться общих тем, но, видимо, рассказывая о Караганде тех лет (или просто о тех годах), избежать их невозможно — все равно натыкаешься на них. Но и девушка эта, и ее мать возникли здесь только по дороге к тому забавному эпизоду, о котором я хотел и хочу рассказать. А произошел он потому, что, когда я обратился к этой девушке с просьбой о помощи, оказалось, что она уже (слава Богу!) куда-то устроилась, очень занята и помочь мне не может. Из-за этого я стал искать ей замену и, вняв чьему-то совету, обратился к одному из студентов второго, кажется, курса нашего техникума. Он и есть герой этого эпизода.

Ему передали мою просьбу, и в одно прекрасное утро он явился к нам (мы тогда снимали частную квартиру в той же Большой Михайловке), аккуратный, скромный молодой человек в горняцкой форме, и предложил свои услуги. Произвел хорошее впечатление, и оно не было обманчиво — мой забавный эпизод не имеет отношения к его «моральному облику»... Он меня нисколько не подвел, все сделал хорошо и в срок. Родом он был из Кишинева, учился там в музыкальной школе, говорил о своей склонности к музыке, но почему-то теперь оказался в техникуме. Может быть, его родители решили, что его еврейство (он был евреем) помешает его музыкальной карьере, может, по другим обстоятельствам — не знаю. На «обстоятельства», как известно, эпоха была щедра. Конечно, в деньгах он нуждался и не прочь был немного подработать. Потому и пришел. И за работу он принялся почти сразу — кнопками прикрепил лист ватмана к чертежной доске, проверил чертежные принадлежности, посмотрел мой эскиз и, выслушав мои наставления, приступил. Чертил он действительно красиво и аккуратно.

На следующий день по какому-то поводу я сказал ему — между делом:

— А здесь через каждые два метра расставь стойки (крепления). Диаметр в двадцать сантиметров каждая.

Сказал и вышел. Может, в магазин, может, еще куда-нибудь. Беспokoиться вроде было не о чем — дело простое и ясное. Тем более я все объяснил!

Некоторое время я отсутствовал. Возвращаюсь, вижу — сидит мой помощничек в глубокой задумчивости. В чем дело? Что-нибудь непонятно?

Да, ему действительно кое-что было непонятно.

— Вот смотрите, — заговорил он, — вы сказали, через два метра. А как я могу это сделать? Ведь весь лист меньше двух метров...

Я опешил. Вот так-так!.. Жил человек, худо-бедно кончил семь классов (и не где-нибудь, а в Кишиневе — город не из последних), учится второй год в техникуме и не имеет даже элементарного представления о масштабе! Я показал ему какую-то географическую карту и спросил: как же такая громадная местность поместилась на листе бумаги? Но ничего не действовало: карта — это одно, а чертеж — совсем другое...

Пришлось ему дать предыдущее указание в такой форме:

— Вот тут, отсюда досюда, начерти эти кружочки радиусом в миллиметр каждый через каждые полтора сантиметра (точных цифр и соотношений я теперь не помню).

Так дело пошло быстрее. И чертеж вышел отличный.

Странная получалась у нас комбинация уродств. Он хорошо умел чертить, но не понимал, что он делает, а я, наоборот, понимал, что он делает, а сам чертить не умел совсем.

Я и теперь не могу понять, что было с этим парнем — то ли он вправду был так непроходимо глуп, то ли у него с этим масштабом вышел ступор, подобный тому, как у меня с «горными машинами». Но больше я нигде не встречал людей, которые становились бы в тупик перед «загадкой» масштаба.

Ближе, чем с другими в техникуме, я сошелся с Робертом. Эта дружба сохранилась у нас на всю жизнь, хотя нас всегда разделяли расстояния и виделись мы редко. Сейчас он живет в Германии, в маленьком городке Морбахе, в ста тридцати километрах на запад от Франкфурта-на-Майне и в сорока на юго-восток от родины Карла Маркса — Трира. «Репатриация» его была вызвана серьезными причинами. Меньше всего национальными, хотя пострадать за свое происхождение ему пришлось изрядно — причем в раннем отрочестве, в самом нежном и чувствительном возрасте. По духовной и душевной ориентации он, конечно, человек русский. У него чудесная русская жена Тая, дочь замужем

за русским и сын на русской женат (так что в своей семье он единственный чистый немец). Собственно, из-за детей он и уехал — стал серьезно опасаться за их жизнь. Потому что они занялись частным предпринимательством, дела у них пошли неплохо, и они тут же начали получать угрожающие письма от рэкетиров. К тому же в Казахстане после развала СССР начала разваливаться промышленность. И ему все больше становилось нечего делать. К сожалению, делать ему нечего и в Германии, где он и раньше бывал как специалист и где его в этом качестве ценили. Но в его отрасли спад, разрезы закрываются, и применения ему нет. Но в одном ему повезло — здесь он получил пенсию, учитывающую весь его рабочий стаж в СССР*, и на нее вполне можно существовать — пусть небогато, но не отказывая себе в необходимом. Тем более что дети у него уже взрослые и сами себя обеспечивают. Итог не страшный, но не очень радостный для человека его достижений и таланта. Однако есть ли в наше время счастливые итоги?

А сошлись мы с Робертом, как ни странно, на математике. Обоих заинтересовала аналитическая геометрия, обрывки которой давал нам уже упоминавшийся Шунери Унченевич Кан. Поначалу чуть ли не только мы с ним понимали, в чем тут дело. Мы и тот уже упоминавшийся казах, который вскоре был отозван родителями домой. Скоро наше академическое равенство нарушилось (я съехал в основном на четверки), но дружба осталась. Роберт обладал живым интересом ко всей области культуры и мысли, быстро все схватывал и очень интересовался мной — моим прошлым и настоящим, моими друзьями. Особенно большое впечатление на него произвел Алик Вольпин — и главным образом не своей экзотичностью, а абсолютной причастностью к культуре, естественным и свободным существованием в ней: тот мир, с окраиной которого он соприкоснулся впервые, был для него очень притягателен... Впечатление, которое этот мир на него произвел, он и сейчас хорошо помнит. Все, что ему перепадало, он впитывал как губка и все шло ему на пользу. Жаль, что не так уж много ему перепадало. Вот если бы он приехал в Москву после школы!..

* Жена его как русская такой льготы лишена. Впрочем, и он сам, если бы приехал чуть позже, тоже бы такой — полной — пенсии не получил. Получил бы пособие. Правда, тогда пособие получила бы и жена. Но все это было бы меньше пенсии.

Не надо думать, что наша дружба с ребятами была основана только на рациональном обмене. Нет, на обычной взаимной симпатии — просто жизнь свела, почувствовали близость и потянулись друг к другу — как всегда возникает дружба.

Я познакомил Роберта со своими друзьями, а он меня — со своим отцом. Раза два он возил меня с собой в Темиртау на воскресенье. Тогда не говорили «на уикэнд», да их и не было еще, уикэндов, — был один день. Уезжали мы из общежития под вечер в субботу, а в воскресенье вечером возвращались и делали это вовремя...

Общаться с его отцом было очень интересно, хотя образование Ивана Давидовича ограничивалось тремя или четырьмя классами начальной школы. По рождению крестьянин, он, как и миллионы других крестьян, когда почувствовал, что крестьянствовать становится невозможно, ушел из деревни (и сделал это вовремя, до раскулачивания), после чего перепробовал множество разных профессий и в каждой, обладая золотыми руками и хозяйственной сноровкой, добивался высот. Даже в самых тяжелых обстоятельствах, таких как трудармия. Везде его ценили, уважали и даже в каком-то смысле от него зависели. Так что повидал и испытал он в своей жизни много. Имея цепкий глаз и острый ум, людей и жизнь понимал и чувствовал. Суждениями своими он меня иногда поражал. А одно из них — правда, высказанное не при мне, а в приватной беседе с сыном, вообще в чем-то перевернуло мое сознание.

Фраза эта имеет контекст. Дело в том, что тогда Иван Давидович заведовал колбасным цехом при городском промкомбинате, который сам же и организовал, как бы подкрепляя собой традиционное представление о немце колбаснике (из детской дразнилки: «немец-перец-колбаса»). Кстати, в этой дразнилке нет ничего враждебного. Тот факт, что многие немцы всегда умели (могу засвидетельствовать, что и сейчас умеют) хорошо изготавливать различные колбасы, ни этих мастеров, ни народ в целом никогда ни в чьих глазах не компрометировало... У нас в Киеве этой дразнилкой пацаны донимали отнюдь не немцев и даже не колбасников, а своих наиболее толстых товарищей. Иван Давидович, высокий, крепкий и поджарый, с этим «образом» вообще не вязался. Да и вообще он не был «природным» колбасником — колбасное дело он освоил уже в зрелом возра-

сте. Кажется, в трудармии, когда на каком-то из обслуживаемых ею производств понадобился такой специалист.

И освоил он это дело — в совершенстве. Поставил его так, что темиртауская колбаса славилась в округе как лучшая. Именно ее заказывал закрытый обкомовский буфет, хотя в Караганде была своя колбасная фабрика, более центральная, а в СССР все привыкли думать, что чем производство центральной, тем оно должно быть лучше.

Но контекст не в этом, а в том, что эта колбаса, конечно, была основой семейного благосостояния. И это стало беспокоить юношеский максимализм Роберта (а был он с юности человеком чистым и порядочным). Жили они с отцом и его тогдашней женой не то чтобы роскошно (этим и не пахло), но вполне в достатке — прежде всего в собственном доме. Нормально питались, добротню (по тогдашним меркам) были одеты... Так по советским представлениям честный советский колбасник жить не мог и не имел права. Уже через много лет в какой-то советской газетке я прочел разоблачительную статью о некоем закройщике-жулике. Жульничество его доказывалось, в частности, тем, что, будучи «простым закройщиком» (так и писалось), построил себе дачу. Прилагалась фотография маленького загородного домика. На большинство советских граждан, приученных к тому, что те, кто работает, бедны по определению — это действовало, соответствовало их представлениям. И мы с Робертом не были исключением. Кроме того, Роберт не раз видел, как к отцу приходил «отовариваться под завязку» все сильный начальник комендатуры МВД города Темиртау, бог и царь всех находящихся под его наблюдением немцев — с ним обязательно надо было поддерживать отношения. Ведь как-никак Иван Давидович тоже был немцем и спецпереселенцем. Но, вероятно, комендант был не единственным, с кем Иван Давидович вынужден был «поддерживать отношения». Таким образом — зависимость от коменданта не освобождала от общей для всех деловых людей (независимо от их происхождения и гражданского положения) зависимости от остальных начальников. То, что он был немцем, только прибавляло ему еще один лишний по сравнению с другими побор. Все это надо было как-то возмещать. А как? За счет чего? А честно ли это? А хорошо ли это?

Такие или почти такие вопросы задал однажды отцу Роберт в откровенном разговоре наедине. Отца эти вопросы не удивили, не поразили и не обидели. Он был к ним готов. И, главное, был убежден в своей правоте.

И вот что он ответил сыну:

— Ты знаешь, Роберт, как я живу. Я никому ничего плохого не делаю — я работаю. И как ты знаешь, работаю много. Я хочу, чтоб все мы, ты в первую очередь, жили по-человечески. Ты боишься, что я что-то делаю нечестно, обогащаюсь... А посмотри, что у нас есть. У нас есть дом, но мы ведь не можем жить на улице. У нас есть еда, но мы ведь не можем быть всегда голодными. Потом я хочу, чтобы ты учился. Тебе ведь нужно немного денег на расходы — на учебники, например. И одеться тебе надо прилично, чтоб перед людьми не было стыдно. А что у тебя есть? Один костюм, одно пальто, но ведь надо же тебе в чем-то выходить на люди... Какие же могут быть ко мне претензии? Что я еще могу сделать? Я работаю.

Вот что сказал когда-то — в 1952 году — мастеровой человек Иван Давидович Ридель своему сыну Роберту. Конечно, это не фонограмма и не стенограмма его ответа, за абсолютную точность его я не ручаюсь, тем более что я при этом разговоре не присутствовал и знаю все от Роберта. Но за смысл и тональность рассказанного Робертом ручаюсь. Этот разговор я вспоминал и вспоминаю часто. В нем ключ ко всему, что произошло с нашей жизнью. Я пересмотрел свое отношение, в том числе и эмоциональное, к людям, совершавшим тогда так называемые хозяйственные преступления, особенно к тем, кто был занят так называемой теневой экономикой.

Я ни секунды не сомневаюсь в том, что отец Роберта Иван (Иоганн) Ридель был всегда абсолютно честным, порядочным и надежным человеком. Столь же абсолютно я убежден в том, что советские законы он нарушал всегда, когда возникала необходимость, а возникала она, надо думать, нередко. Иначе он бы не мог выйти из положения. А как он из него выходил? Точно не знаю — об этом и Роберт знал немного... Конечно, выходил он из положения никак не за счет плановой продукции — это было невозможно, а он не был самоубийцей. С планом, можете быть уверены, у Ивана Давидовича все было в порядке — план перевыполнялся. Выходил он и не за счет качества продукции, что я,

как рядовой потребитель, вполне могу подтвердить — оно оставалось неизменно высоким. Вероятно, он просто участвовал в том, что потом было названо «левым производством». Когда какой-либо цех ухитрился производить больше товара, чем значилось в официальных документах, но об этом перевыполнении не подавались хвастливые реляции. Наоборот, избегали всякой огласки. За него не ждали почестей и наград, ибо гораздо лучше (и справедливей) награждали себя сами. И, разумеется, такие дела не могли делаться в одиночку. Прежде всего требовалась материальная заинтересованность и соучастие собственного «трудо­вого коллектива», которому, естественно, тоже кое-что перепало. Но это, конечно, не все... Для выпуска сверхплановой «левой» продукции требовалось получать такое же сверхплановое «левое» сырье — в данном случае лишнее количество мяса и сала. Кто-то должен был это лишнее сверхплановое поголовье выращивать, забивать и вовремя поставлять — часто вместе с плановой продукцией. Разумеется, и эта работа, и риск, сопряженный с ней, тоже оплачивались. И, наконец, оплачивался сбыт — «левая продукция» вместе с плановой или под видом плановой доставлялась в торговые точки и там сбывалась. При сочувственной и оплаченной индифферентности милиции и ОБХСС. Я не знаю, в какой форме проводил такие операции отец моего друга, то есть каким было конкретное воплощение этой общей схемы в условиях тогдашнего Темиртау. Я знаю, что в общем виде эта схема уже многожды описана, и никого ею поразить не собираюсь. Спрашивается: зачем же тогда я о ней вообще здесь заговорил?

Причины есть. Одна из них — мне просто захотелось задать себе и другим «вопрос на засыпку» почти из школьного задачника: насколько же был ограбляем социалистическим государством нормальный производитель благ, если столько людей могло кормиться и сносно существовать от того, что утаивалось от него. Ведь тут ни хищения не было (об этом чуть ниже), ни спекуляции — колбаса продавалась по тем же плановым, государственным ценам в магазинах, а не как дефицит из-под полы втридорога.

Другая причина — хотелось выявить еще одну черту психологии советского государства в ее отношении к жизни и народу. Обратим внимание на то, что отдел МВД, который боролся с такими производителями, назывался ОБХСС —

«Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности». Не будем вдаваться в смысл употребляемого здесь понятия «социалистическая собственность», его можно понимать и истолковывать по-разному, обратимся лучше к смыслу термина «хищение». Смысл этот элементарен и однозначен. Хищение и есть хищение, сиречь воровство — присвоение того, что принадлежит другому: государству, общественной организации или частному лицу. «Хищение» и «воровство» — слова, окрашенные отрицательно в любом народном сознании. Большевики, а тем более сталинские выдвиженцы, были непревзойденными специалистами по использованию таких утвердившихся стереотипов в своих целях — по ходу подменяя их суть. Пример — применение прозвища «кулак» (мирод, ростовщик, жила) к просто состоятельным крестьянам, пользующимся авторитетом и уважением. Так же поступили сталинские выдвиженцы и с термином «хищение». Мы уже говорили о том, как такими расхитителями стали мужики, бабы и дети, которые, чтоб спастись от подступавшего голода, собирали на колхозных (сиречь не так давно отнятых у них) полях оставленные там после уборки урожая полузамерзшие, полусопревшие, никому не нужные и никому не принадлежащие колоски. Но тогда это нужно было, так сказать, «для политики» (приучали надеяться только на колхозные заработки), а теперь — из корыстных экономических соображений.

Задумаемся, что расхищали (по уже привычному мнению государства) отец Роберта и такие, как он? Ведь они ничего ни у кого не воровали, исправно трудились, выполняли свои обязанности. Но за то вознаграждение, которое им за это полагалось по закону, устроить свою жизнь по своим (не таким уж привередливым, даже вполне элементарным) представлениям — дом, нормальная одежда, нормальная еда — было невозможно. Все это имели почти все, даже самые темные и забытые герои Чехова, а тут речь идет о самой активной части потенциального среднего класса, которому, правда, свернули голову, но который все равно существовал как потенция, сохранял способность к регенерации. Конечно, в уродливой форме, но что поделаешь — гони природу в дверь, она ворвется через окно... Великое изобретение Сталина — что людям можно платить зарплату, не обеспечивающую их потребностей, полностью не срабатывало никогда, а с годами — все меньше. И особен-

но в этом слое, без которого все равно нельзя было обойтись. Обычно такие люди являются устоями общества, а у нас они были отнесены к полууголовным элементам. И некоторые сами привыкли так к себе относиться — такое ясное самосознание, как у Ивана Давидовича, было далеко не у всех. И так себя вести. И это отнюдь не пошло на пользу обществу.

Самое трагикомическое было в том, что и само государство поверило, что эти люди — расхитители. Хотя «расхищали» они только то, что сами для этого расхищения создавали за счет своей предприимчивости и энергии. Вот это они и расхищали — свою предприимчивость и энергию. Они тратили их на себя (пусть так, что польза была и другим, но все равно на себя, а надо было на него, на барина). Закройщик не имеет права зарабатывать на дом. И колбасник тоже. Ибо их труд, помыслы, инициативы, возможности (даже потенциальные) изначально и полностью принадлежат социалистическому государству, и если что-нибудь из этого от него утаено, то это простое воровство, сиречь искомое хищение (против которого и создан был ОБХСС). Так, выявляя себя даже в названиях официальных учреждений, проступала никем, даже им самим не сознаваемая, рабовладельческая психология этого государства. Ограбленный и ограбляемый народ легко усваивал ее и ненавидел этих «расхитителей» как главную причину своих бедствий. Эта психология была атмосферой, в которой мы жили и которая нас формировала... Простой практический ум Ивана Давидовича оказался невосприимчив к воздействию этой атмосферы, был полностью свободен от ее чар. И, вовсе не имея такой задачи, он заложил основы и моего позднейшего освобождения от них. Но и тогда меня потрясла незамутненная простота, ясность и жизненность этого высказывания.

Спуск под землю

За этими моими воспоминаниями и размышлениями легко упустить, что техникум наш был горный и готовил людей для работы в шахтах, под землей — давать стране угля, как сказано у Высоцкого. Должен сказать, что долгое время я никак не мог понять, где, собственно, в шахте добывается уголь. Как и большинство смертных, я полагал, что уголь добывается в штреках. Ну, такой, знаете, тун-

нель, по ходу пробивания которого и добывается уголь. Непонятно только было, откуда так много его берется — это сколько же штреков надо пробивать! В техникуме наш преподаватель, кстати, не только толковый и квалифицированный, но и интеллигентный — Иван Петрович Рыбаков на мой недоуменный вопрос ответил кратко: «В лаве». То же самое он говорил и на лекциях. Но яснее мне ничего не становилось, я думал, что лава — это частный случай штрека, а что еще может быть?

Видимо, я как-то поделился своими недоумениями с Соломоном Ефимовичем, — во всяком случае, он с кем-то договорился, и мне «по благу» предоставили возможность впервые спуститься в шахту. Это было месяца за два до первой моей студенческой практики, когда я стал работать десятником вентиляции на шахте 19-бис... Об этом я, собственно, и хочу сейчас рассказать, но перед этим надо дать читателю представление о том, где все-таки в шахте добывается уголь. Другими словами, что это такое.

Это звучит смешно, но ведь я этого не представлял. Думаю, что и многие другие представляют это столь же смутно. Между тем это не так сложно. Для разрешения всех моих недоумений хватило и первого спуска. Конечно, уголь добывают не в штреках и вообще не в туннелях. Впрочем, при пробивании штреков и других таких туннелей (не все они называются штреками) тоже попутно добывается некоторое количество угля, но оно ничтожно мало — из-за этого не стоило бы и огород городить. Уголь действительно добывается в лаве. Но опять-таки что это такое — лава?

Начнем с общеизвестного. Уголь обычно залегают пластами. Пласты бывают разной толщины (мощности) и залегают под разными углами к горизонту. В Карагандинском бассейне, на примере которого я только и могу дать представление о предмете, пласты в основном мощные и залегают наклонно. Должен отметить, что представление о шахте я могу дать только устарелое — полувековой давности... Но я не собираюсь (и не в состоянии) прочесть здесь лекцию по горному делу. А понять, что уголь добывается не в штреках, можно и на основании моего давнего опыта — не смотря на весь последующий прогресс горного дела...

Шахте отводится определенный участок пласта в длину и ширину (глубину) — шахтное поле... Этот участок наре-

зается на горизонты... В длину они простираются от, условно говоря, шахтного двора и ствола до края шахтного поля: километра на два или больше, а в ширину (глубину) — метров на 120—150 (так, во всяком случае, было при мне). Первый горизонт расположен наиболее близко к поверхности, за ним следуют второй, третий и так далее — все глубже в землю. Коридоры штреков, тянущиеся вдоль всего горизонта, только отграничивают его сверху и снизу — нижний называется откаточным, верхний — вентиляционным. Несмотря на важность роли этих штреков в производстве, они относятся к выработкам вспомогательным. Уголь добывается не в них, а выбирается из всего пространства между ними, выбирается по возможности весь массив угля. А добывается он в лаве — в очистном (а не вспомогательном) забое, «грудь» которого тянется во всю ширину горизонта от верхнего штрека к нижнему. Длина лавы равна ширине горизонта. В лаве и производятся главные очистные работы, работают люди и механизмы. «Грудь забоя» разрушается взрывами, уголь набрасывается на транспортеры, те тащат его вниз на откаточный штрек, где грузят его прямо в вагонетки (по дну откаточного штрека проложены рельсы), а те уж доставляют его к специальному угольному стволу — для выдачи на-гора.

Через лаву вверх с откаточного штрека к вентиляционному (и через него к стволу и к «дневной поверхности») движется воздушная струя, нужная не только для дыхания людей, но и для дегазации — она уносит выделяемый углем взрывоопасный рудничный газ — метан. Лава (длина которой, напоминая, равна ширине «горизонта») постепенно — смена за сменой (по-шахтерски «упряжка» за «упряжкой») движется вдоль штреков, выбирая (очищая, опустошая) все пространство между ними. Каждый раз после уборки угля крепильщики устанавливают в освобождающемся пространстве, куда перемещаются люди и механизмы, новые крепления, и каждый раз, когда забой проходит достаточное расстояние, посадчики позади, в выработанном пространстве, убирают крепления, обрушивают «кровлю». Из соображений безопасности — чтоб сократить конское давление отслоившихся во время добычных работ кусков пластов этой «кровли» на крепь. Это люди опасного, воистину героического труда — надо обрушить почти все на самих себя, но успеть убежать.

Когда лава доходит до конца шахтного поля и за спиной шахтеров остается весь «горизонт», они переходят на следующий, где для них уже подготовлена лава и через следующие 100—150 метров вниз новый откаточный штрек. Штрек, до сих пор служивший откаточным, начинает служить вентиляционным. И так пока не выработается все «шахтное поле», пока шахта не углубится настолько, что работа станет или невозможной (из-за подземного жара), или нерентабельной.

Конечно, то, что я здесь сейчас рассказал, не дает представления о шахте в целом — тогдашней, а тем более современной. Это мне не по силам, да и не по теме — для этого существует научно-популярная литература... Но просто мне захотелось дать читателю представление о том, что уголь добывается не в каких-то точечных объектах (вроде мифических коридоров-штреков), а более широким фронтом, «очищающим» по возможности целые массивы. Если некомпетентный в горном деле читатель поймет хотя бы это, я буду удовлетворен. Но дать более ясное представление о самой структуре шахты, о взаимосвязи и взаимодействии ее частей я и не пытался.

Вероятно, рассказывая о своей работе на шахте, я попутно смогу кое-что уточнить и в этом смысле, но вряд ли эти уточнения будут существенны. Ибо, как и на протяжении всей книги, занят я буду другим.

Первая производственная практика начиналась у нас, в группах десятиклассников, сразу после первых летних каникул — в начале третьего семестра... Устройством нашим на рабочие места теоретически ведал техникум, но практически каждый устраивался как мог, что в шахтерском городе было несложно — знакомые на шахтах были у многих. Мне опять помог Соломон Ефимович — договорился с главным инженером шахты 19-бис, и тот, когда я к нему явился, тут же без лишних слов отослал меня к начальнику вентиляции для определения на должность десятника вентиляции. И началось мое первое соприкосновение не только с шахтерской, но и просто с нормальной (для тех, конечно, лет) жизнью. До сих пор я, исключая краткое пребывание в Кульче, сталкивался с жизнью только экстремальной, да и то редко как ее участник. Теперь я как бы сам входил в нее.

Первым моим впечатлением в этой, настоящей жизни был, как уже знает читатель, начальник вентиляции Бож-

ков — к сожалению, имени и отчества его я не помню. Встретил он меня хорошо и доброжелательно. Мы быстро договорились, когда: на следующий день или дня через два мне заступать на смену. С его помощью я получил спецовку — тяжелую брезентовую куртку с брезентовым же поясом, такие же брюки, резиновые сапоги, а также твердую (не помню, металлическую или пластмассовую) фуражку-каска для предохранения от случайных ударов (например, от падения оторвавшихся кусков угля или породы), лампу, аккумулятор для нее, прикрепляющийся к поясу, и показали мои шкафчики — для чистой одежды и для спецовки (вместе с той одеждой, которую носят под спецовкой в шахте). Шкафчики эти установлены в разных раздевалках, отделенных друг от друга душевой. Поднявшись на-гора, шахтер сбрасывает спецовку и все, что под ней, в грязном отделении, потом моется в душе и только после этого в чистом отделении надевает свое «цивильное». Все это отнимает время, дополнительное к рабочему (как и вообще выход из шахты «на-гора»). Отсюда и выражение — «ради этого и спецовки надевать не стоит». Так что восьмичасовой рабочий день на шахте — это только восемь часов нахождения непосредственно в забое, остальное не считается. Но шахтеры тогда зарабатывали много и на это не роптали. Впрочем, все это мне еще только предстояло узнать. А пока из всех шахтных впечатлений я остановлюсь на самом нетипичном — на самом Божкове.

Я и застал его за нетипичным для шахтера, но для него, как я потом понял, вполне обычным делом — составлением программ и графиков занятий кружков и курсов техникумы. Входило ли это в его прямые обязанности, я не знаю. Скорее, нет. Думаю, что отчасти такое просветительство было его настоящим призванием, а отчасти он как бы искупал этой активностью недостаточную занятость своими прямыми, крайне неопределенными обязанностями... Он зря боялся обвинения в безделье и зря наполнял свои дни хлопотами. Он вообще был хорошим и добрым человеком — только вот немного не на своем месте. И бояться ему следовало не обвинения в безделье, а совсем другого — неуместной мягкости, чтоб не сказать: бесхарактерности... А на посту начальника вентиляции это не могло не привести к несчастью.

Я понимаю грамматическую несуразность таких определений, как «начальник вентиляции» или «десятник вентиляции». Это звучит как ильфо-петровское «заведующий Провалом». Впечатление (предупреждаю — ложное) какой-то странной фикции усилится, если я скажу, что никогда не слышал, чтобы наше подразделение называли отделом, сектором или еще как-нибудь — просто «вентиляцией». А если я добавлю, что и к вентиляции как таковой это подразделение имеет отношение весьма косвенное — вентиляторами ведает отдел главного механика, — то подозрение в фикции укрепитя неимоверно. Между тем подразделение это выполняло функции необходимые и очень ответственные — оно отвечало за безопасность, практически за само существование шахты.

Штат его состоял из начальника, заместителя, десятников (так сказать, начальников смены) и рядовых газомерщиц. Все они помимо обычных, прикрепляемых к каскам лампочек для освещения были снабжены еще бензиновыми лампами Дэвиса, которые раньше, до появления портативных электроламп с аккумуляторами, были единственными индивидуальными светильниками под землей. Теперь они помимо работников нашей службы (назовем наше подразделение службой) выдавались только «надзорам» (представителям администрации) и служили только индикаторами загазованности — по величине ореола вокруг пламени определяется содержание метана в окружающем пространстве. Газомерщицы были распределены по участкам, каждая отвечала за свой, при котором обязана была неотлучно находиться до прихода сменщицы. При неблагоприятных показаниях индикатора она имела право, точнее, была обязана остановить работы. Без ее разрешения не мог быть произведен ни один взрыв. Естественно, все эти неограниченные права (хотя, скорее, они были ответственностью) имел и я, и все, кто стоял надо мной — в первую очередь сам Божков. Обязанности наши были несложны, выполнение их отнюдь не изнурительно. Но ответственность на нас лежала громадная и требовала от нашей службы дисциплины и четкости. Распушенности здесь не могло быть никакой. Но поддерживать этот порядок Божков был органически не в состоянии. Особенно принимая во внимание контингент, с которым он имел дело. Нет, ничего особо

дурного я об этом «контингенте» сказать не хочу и не могу. Газомерщицы были совсем неплохими, нормальными девушками, но по условиям своего бытия и окружения проникнутыми шахтерской лихостью. На которую наложило отпечаток и послевоенное положение женщины в СССР, связанное с дефицитом мужчин. Война кончилась шесть-семь лет назад, когда они были детьми, но этот дефицит сказывался и на них — как минимум психологически. Они ведь росли в его атмосфере. Наши невероятные военные потери сказывались долго и многообразно.

Так или иначе, контингент, доставшийся Божкову, был непростой и нелегкий. С ним надо было уметь ладить — чтоб одновременно сохранять и нормальные человеческие отношения, и субординацию, без которой невозможна требовательность. Божков не умел ни того, ни другого. Девчонки, чуя слабину, буквально садились ему на голову. То, что он относился к ним по-доброму, только подчеркивало для них его беззащитность и подливало масла в огонь.

Вспоминаю, как на каком-то случайном совещании перед сменой или после нее он делает замечание одной из газомерщиц. Она отвечает ему матом, получая от этого видимое удовольствие.

— Ну как же тебе, Ковалева, не стыдно? — пытается вразумить ее Божков. — Такая девка справная, а такие слова говоришь!

Ковалева и сама про себя знает, что «справная». Она и впрямь хороша собой, в отличие от своих подружек, замужем и даже уже сильно беременна. Но все это сейчас не имеет значения — эта детская зверушечная игра ее развлекает, и на все увещевания Божкова она отвечает веселым и уверенным матом. В конце концов он сконфуженно умолкает.

Как все слабые люди, он стремится взять реванш — не где надо, а где удастся. Попробовал и на мне. Чувствуя мое доброе отношение к нему, он однажды ни с того ни с сего стал делать мне строгое внушение по поводу чего-то, не имевшего отношения к реальности. Замечания были крайне неконкретны, но строги: «Смотри, десятник!» Это было неожиданно и фантастично. И даже обидно. Пришлось и мне ответить ему резко. Больше подобное не повторялось.

Но жертвой его «необузданной властности» мне однажды все-таки стать пришлось. В один прекрасный день я вдруг

увидел его под землей при подходе к лаве. Он был в полном шахтерском облачении. В этом не было ничего удивительного — шахтное начальство обязано было несколько раз в месяц или квартал спускаться под землю, — но я все же удивился, ибо до этого я его здесь ни разу не встречал. То ли хвоста накрутили, то ли все сроки вышли...

— Десятник, — властно сказал он, — иди за мной.

И мы пошли. Куда-то вверх, в давно выработанное пространство. Поднялись под уклон чуть ли не до третьего горизонта (работы шли на шестом), потом ходили по заброшенным штрекам.

— Тут ребятам надо будет кое-где крепления заменить, — пояснил он мне. По-видимому, служба вентиляции отвечала и за состояние некоторых заброшенных выработок, необходимых для чрезвычайных случаев — например, для экстренной эвакуации людей — и обязана была поддерживать их. Для этого имелись особые штаты крепильщиков. Но при чем тут был я? Я ведь этих ребят и в глаза не видел, никто даже в известность меня не поставил о том, что они вообще существуют. И вдруг такое «деловое» путешествие...

Потом мы вернулись к наклонному стволу — шахта соединялась с поверхностью не вертикальным стволом и клетью (подобием лифта), а наклонным, по существу, туннелем, по дну которого были проложены рельсы и ходили вагонеточные поезда.

— Ну иди, работай, десятник, — милостиво разрешил он мне, — а я пойду обратно.

И зашагал вверх по шпалам. А я таким же образом вниз. На это приключение ушло минимум три часа. Когда я вернулся, на меня с проклятиями и угрозами налетел начальник проходческой смены: дело в том, что перед своим путешествием (о котором я знать наперед не мог) я закрыл работу в одной из выработок — она была загазована. За это время подкатили вентиляторы, выработку срочно разгазировали, а бригада проходчиков все равно простаивала. Никто, кроме меня, не мог разрешить возобновление работ, у шахты горел план.

У людей заработка, а я в это время прохладился с Божковым. Как-то обошлось, меня ни какие «отчеты» вопреки обещаниям проходчиков не вызвали, но неприятно было быть без вины виноватым.

Зачем Божкову понадобилось таскать меня за собой? Боялся один ходить по пустым выработкам? Может быть, но вряд ли. Скорее всего, это был антураж общей имитации деятельности. Повторяю, был он хорошим человеком, вовсе не глупым. Ему бы бухгалтером быть. Или директором курсов. На худой конец добычный участок возглавлять — там обстоятельства сами ставят задачи, и приходится их решать. Однако на этой обманчиво тихой, но столь ответственной и опасной работе он был совершенно неуместен. И это не могло не привести к несчастью. О чем я в частных беседах предупреждал Божкова. А он то ли пропускал это мимо ушей, то ли покорно плыл по воле волн в слепой надежде, что обойдется.

Но не обошлось. Несчастье произошло. Года через полтора после моей практики, когда я уже не имел никакого отношения к шахте 19-бис, уже после того как мы вообще защитили дипломы, но — произошло.

Понятно, что аварии на шахтах случаются не только по вине людей. Все-таки добыча полезных ископаемых под землей — это работа в тылу природы, и всех ее реакций не предусмотреть — не зря еще не так давно курс горного дела в средних и высших учебных заведениях назывался курсом горного искусства. Но в данном случае авария произошла по вине людей.

Произошло это на проходке. Проходчики пробурили шпур, заложили в них взрывчатку, а тут подошел конец смены, пересменка. Взрывать шпур должна была уже другая смена, но она запаздывала. Ждать ее не имело смысла — все забойщики, работавшие в этом забое, составляли единую комплексную бригаду — выработку им начисляли общую, и заработок за все сделанное потом делился на всех независимо от смены. Короче, простой им был невыгоден, ждать без дела означало зря терять дорогое время.

— Ну что, ребята, рванем? — предложил кто-то.

— А чего — рванем! Сменщики быстрее двинутся.

В этом решении не было ничего необычного, наоборот, все было логично — для того и создавались комплексные бригады, чтобы уплотнить рабочее время. Все было правильно, но возникло мелкое препятствие. Перед взрывом требовался замер газа и разрешение газомерщицы. Тут-то все и началось. Хватились газомерщицы, а ее нет. Она была

новенькой, на первую зарплату купила часики. И когда часики, на которые она то и дело с удовольствием поглядывала, показали конец смены, легкомысленно совершила недопустимое — не стала дожидаться сменщицы (придет — куда денется!) и пошла, помахивая часиками, на-гора.

Но проходчики не растерялись.

— Ладно, ребята! Хрен с ней! Рванем без нее. Ничего не будет.

Заработало то «русское авось», для нейтрализации которого и содержится вся служба вентиляции. Я совсем не уверен, что такая служба нужна и существует на шахтах, допустим, в Германии, где привычка надеяться на «авось» пока не выработана, но в России без этой службы не обойтись, да и ее, как мы видим, не всегда хватает...

Взрыв был внушителен. Мой однокашник по техникуму, попавший по распределению в горноспасатели, Шалимов рассказывал об этом так:

— Позвонили, говорят: вспышка метана. Приезжаем — какая, к хренам, вспышка — взрыв! Да еще какой — все разворотило.

Да, все разворотило и человеческих жертв было много. Это означало, что проходчики, Царствие им Небесное, воспользовались отсутствием газомерщицы сполна — обошлись не только без замера газа, но и без лопаточек с инертной пылью, проще говоря, мелким сухим песком, который полагалось закладывать в каждый шпур. Это был взрыв не только метана, а и угольной пыли — последствия взрыва одного метана тоже разрушительны, но гораздо более локальны.

А шахта 19-бис была опасной по газу и пыли. Была в этом отношении сверхкатегорной. В таких шахтах в воздухе во взвешенном состоянии находится много угольной пыли, и в случае взрыва она детонирует — волнообразно переносит его на любые расстояния, в закрытом пространстве, каким является шахта, это чревато многим. Упомянутые деревянные лопатки с инертной пылью необходимы как средство локализации взрыва — в момент взрыва эта пыль смешивается с угольной и оседает вместе с ней — детонации не получается. Взрывы без инертной пыли в сверхкатегорных шахтах строго запрещены — и ни одна газомерщица такого взрыва не разрешит... Но большинство склонно воспринимать эту меру предосторожности как стеснение, она

кажется детской игрой в песочек, и многие этим манкируют. Когда удается. Этим — удалось.

Доходит и до конфликтов. Со мной, например, произошел такой случай. Однажды в лаве я обнаружил подготовленные к взрыву шпурсы, в которых не было лопаточек с пылью. И запретил взрывать. Слегка подвыпивший бригадир послал меня по всем адресам и стал подсоединять провода. Я разлегся вдоль «груди забоя» и сказал, что взрывать не дам, пусть взрывает вместе со мной. Но это его не остановило — он продолжал готовить взрыв. Могло кончиться для меня смертью, а для него сроком, но положение спасла взрывница — убежала и унесла взрывную машинку. В оправдание бригадира могу сказать, что в лаве на сильной струе, не дающей газу сконцентрироваться, взрыв хоть и возможен, но маловероятен. Такая «храбрость» и здесь неуместна — все меры безопасности в шахте направлены на избежание исключительных случаев. А уж на проходке, где забой тупиковый, проявлять такую «храбрость» и вовсе недопустимо... Тем не менее, судя по масштабам разрушений и количеству жертв, проходчики именно ее и проявили.

Вот что произошло из-за того, что газомержица не боялась начальника, которого так весело и безнаказанно материли ее товарки. Кстати, потом выяснилось, что девушка эта была допущена к дежурству незаконно — она еще не сдала экзамена и не имела удостоверения. Это, слава Богу, спасло ее от тюрьмы (хотя она наверняка знала, что не имеет права уходить, не дождавшись смены), но это же усугубило вину Божкова. И он, и главный инженер (принявший меня на работу), и еще какие-то работники были отданы под суд. Я вовсе не считаю это торжеством справедливости. В тюрьмах должны сидеть уголовники, а не честные люди, совершившие оплошность на производстве. Для последних достаточно потери репутации и сознания, что по их вине погибли люди. Но это другая тема и не тогдашние мои мысли. Хотя Божкова мне было жалко и тогда. Главного инженера тоже, но я знал его хуже. Но все это было потом и без меня. И приступая к исполнению своих обязанностей, я думал о другом.

Впервые в жизни (и в последний раз тоже, но это к делу не относится) я становился начальником, и мне надо было не ударить лицом в грязь. В подчинении у меня оказались

четыре или пять матерящихся «девок» — на самом деле просто молодых девушек и женщин (из них одна беременная), считавших долгом корчить из себя «оторв». Впрочем, одна из них была постарше, поспокойней и с «судьбой» — она знала лучшие времена. Муж ее сидел за должностное преступление — на шахте, где он был главным инженером, произошла авария. К ней-то уж это слово не могло относиться никак. Но одна она погоды не делала. Я был предупрежден, что с моим «контингентом» надо держать ухо востро. Слухи, надо сказать, оказались преувеличенными. Хотя и не совсем беспочвенными. Например, я сразу усек, что если буду допускать при них мат, мне с ними не сладить. Я строго следил за собой, чтоб этого не было.

Так или иначе, встретили мои подчиненные своего временного начальника с настороженным любопытством, но не враждебно. Вышли вместе из кабинета Божкова, где нас познакомили, сели вместе в вагонетку шахтного фуникулера и покатали под уклон. Кажется, по случаю моего первого раза меня сопровождал заместитель Божкова Аркадий (фамилии которого, по-моему, я никогда не знал), хороший, простой, надежный и симпатичный мне человек. Мы и потом с ним иногда встречались (судьба Божкова его, слава Богу, миновала). Внизу, на шахтном дворе, газомерщицы разошлись по своим постам, а Аркадий провел меня по всем участкам.

Началась моя работа. Но в принципе с газомерщицами производственных хлопот у меня не было. Дело свое они знали, ответственность сознавали, обязанности выполняли — погибать в завале или садиться в тюрьму никому из них не хотелось. К моему авторитету они прибегали в редких случаях — когда их «контрагенты» отказывались выполнять их распоряжения и прекращать работы (они, напоминая, зарабатывали много, получали с выработки, так что «сачковать» не были расположены). Относились мы друг к другу хорошо и доброжелательно. Только с одной из них у меня после одной из первых «упряжек» (по-шахтерски — смен) вышло нечто вроде маленького конфликта. Было это в шахтном дворе, когда мы все вместе ждали фуникулера, чтоб подняться на-гора. У меня что-то не ладилось с электрической лампочкой. И она, как бы пытаясь мне что-то объяснить, вдруг ни с того ни с сего прицельно и сильно

ударила ободком своей лампочки по стеклу моей. И, естественно, разбила его. Конечно, здесь, на насквозь проветриваемом шахтном дворе, в отличие от закрытой выработки на проходке, опасность взрыва была минимальной. Но я опешил — это было явной попыткой издевательства. Не вспышкой враждебности — для нее не было оснований, и я этого за ней не замечал, — а развлечением. Просто она испытывала меня на крепость... Я был в сложном положении — спустить это нельзя было ни в коем случае, но применять административные меры (писать рапорт и т.д.) — тоже. И противно (выглядит как месть за шалость), и портит отношения. Мне кажется, я нашел выход. Я просто строго ее отчитал, устыдил, заставил извиниться и обещать, что такое впредь не повторится. На этом все кончилось. Не знаю, правильно ли я себя вел, но больше ничего подобного не было. Правда, я не думаю, чтобы кто-либо из моих подчиненных воспринимал это как стеснение — относились они ко мне вполне доброжелательно. И моя «обидчица» тоже. Но все же я рад, что с тех пор мне никогда никем не пришлось руководить. Слава Богу — не мое это дело.

Как ни странно, в шахте со своими подчиненными я общался меньше, чем вообще с шахтерами — в основном по делу, обходя участки. Впрочем, сами газомерщицы в шахте общались между собой еще меньше. И по тем же причинам — по условиям работы. Каждая из них должна была всю смену находиться при своем участке. Только я, как караульный начальник, обязан был раз или два в смену обходить все посты, смотреть, все ли в порядке... Я находил газомерщицу, убеждался, что она на месте, она мне сообщала, что творится в забое (в смысле соблюдения мер безопасности на данном этапе работ), и сам смотрел, старался вникнуть. Обычно все было в порядке.

Попутно возникали разговоры с работягами. То есть рядовыми шахтерами — крепильщиками и навалоотбойщиками. Впрочем, последние если состояли не при врубмашине, а при угольном комбайне, именовались помощниками машиниста комбайна. Но функции их были приблизительно те же — сгребать обрушенный так или иначе уголь на транспортер. Работа как будто и несложная, но очень нелегкая — целый день набирать широкими железными лопатами уголь, поднимать его и швырять на громыхаю-

щий транспортер. Платили за это очень хорошо, но — не позавидуешь! То же можно сказать и о крепильщиках. Их работа была ничуть не легче — только сложнее и ответственнее. Впрочем, выражение «целый день» преувеличено, бывали и перерывы. Стояли, например, когда на откаточном штреке возникала заминка со сменой вагонеток под желоб транспортера (а сменялись они отнюдь не автоматически), стояли, потому что не доставили вовремя инертную пыль или взрывчатку. Или еще что-нибудь случалось, допустим, сбой в подаче электроэнергии («Почему стоим?» — «Фазы нет») и так далее. Впрочем, далеко не всегда остановки были связаны с плохой организацией работ — многие были неизбежны. Так или иначе, у шахтеров находилось время заметить нового человека и завести с ним беседу. Тем более такого, как я. Да, я своим появлением произвел большое впечатление на шахтерский коллектив. Но не какими-либо своими высокими или низкими качествами или, допустим, чудачествами, а исключительно... очками. Очкарик в шахте — это тогда (вряд ли и сейчас) было нечто из ряда вон выходящее... До меня в шахте был только один очкарик — начальник участка Колесников, который, видимо, отчасти был чем-то вроде местной достопримечательности. А тут вдруг другой, молодой и для них совсем не начальник. Я тут же получил прозвище «Колесников брат», которое потом, когда ко мне привыкли, как-то само собой забылось. Но очки были как бы предметом чуждого обихода, чуть ли не чуждой цивилизации — вызвали любопытство. Помню, как однажды один веселый круглолицый парень попросил у меня очки — поглядеть в них. Для начала скорчил рожу, собираясь немного потешить публику, но внезапно его лицо приобрело выражение озабоченности, чуть ли не подозрительности.

— Ты что, Керя (от «кореш»)! Как ты в них ходишь? У меня зрение хорошее, и то ни хрена не вижу. А ты?

Разъяснение, что так и должно быть, что очки помогают видеть только при плохом зрении, а при хорошем только мешают, было для него новым знанием. Конечно, наивно, смешно, но с другой стороны — сколько людей еще тогда не имели представления об очках! Сколько и тогда здоровья было еще в России!

Впрочем, любопытство поначалу я вызывал не только очками, а вообще как диковинная для этих мест птица.

Выходили посмотреть на меня, а заодно и поговорить, даже посадчики из выработанного пространства. Я их помню до сих пор. Их было двое — отец и сын, — высокие, крепкие, серьезные. Расспросили, кто, откуда, какими путями, все поняли — Караганда тогда в этом отношении вообще был город понятливый — и, так сказать, приняли меня. Встречая, дружелюбно улыбались. А уж обо мне и говорить не приходится. Мне внимание людей, чья работа непрерывно была связана со смертельным риском, не могло не быть лестным.

Несколько слов насчет упомянутой карагандинской понятливости. Безусловно, почти все жители этого города, за исключением МГБ, МВД и партактива, в настоящем или прошлом относились к тому или другому «контингенту» — отсюда и понятливость. Точнее, сочувствие. Подчеркиваю: к тому или другому — к любому, не вдаваясь, кого на каком этапе застигла «чугунная беда» (А.Галич), кто к какому потоку относится — к «бывшим» (то есть к каэрам), к кулакам или к тридцать седьмому. Вопреки позднейшим построениям «национально мыслящих» не выделяли и «тридцать седьмой». Конечно, если бы довелось, бывшие раскулаченные в массовом порядке не бросились бы на шею тем, кто непосредственно их раскулачивал, выгонял из дома на мороз. Не говоря уже о том, что партийцы вопреки тем же построениям и в потоке «тридцать седьмого» не составляли большинства (и что, тем более, это относится к коллективизаторам — таких встреч я просто не припомню), просто «чугунная беда» стирала эти грани... И те, и другие, и третьи пострадали без всякой персональной вины, знали это про себя и вполне представляли, что то же происходит и с другими. Короче, антагонизма между потоками тогда не было. Не замечал я их и потом, не замечаю и по сей день. Пытаются возбудить его те, кто ни к одному потоку отношения не имел и кто связывает представление о величии России с самой низкой точкой ее падения — со Сталиным. Тогда насчет него никакой разноголосицы не было. Жаль, что теперь это общее понимание и память многими утрачены — гораздо раньше, чем были преодолены последствия этого.

Но это отступление — реакция на нынешний опыт. Просто я вспомнил этих двух посадчиков — их ладность, надежность, солидность, их спокойную уверенность в разумно-

сти своего трудового предназначения и в своем соответствии ему — все приметы, из-за которых их «неправильное» социальное происхождение прямо-таки бросалось в глаза, ну и в то же время их уважительное и доброжелательное отношение ко мне — человеку отнюдь не из их среды. И возникли мысли — об упущенном (хотелось бы думать — не безвозвратно), которыми я захотел поделиться.

Бывших раскулаченных (тогда уже прощенных — pardon, «искупивших во время войны свою вину перед народом») на шахте было много. Конкуренцию им там составляли только немцы — тоже ссыльные (но пока не «прощенные»). И все они работали хорошо. Такие люди, как эти посадчики, были воплощением лучших качеств того социально-психологического слоя, который в начале тридцатых стремился извести и в значительной степени извел Сталин. Они были вершиной этого слоя, но не весь этот слой в целом был достаточно добротен. И конечно, ценен и необходим...

Однако и на старуху бывает проруха... Однажды в выплатной день на шахту 19-бис привезли только часть причитающейся зарплаты. Тогда до нынешнего понимания, что можно вообще не платить ее месяцами и годами, экономическая мысль не доросла, но поскольку такие зарплатоёмкие предприятия, как шахты, уж слишком дырявили вольевой бюджет, случались временные (дня на два — на три) задержки в выплате. Ведь на каждую шахту надо было возить миллионы. Вот и не хватило — привезли только часть. Эта задержка ничем никому не грозила, в том, что заплачат, никто не сомневался, но обманывало ожидания — и потому раздражало. На этот раз так совпало, что эту неполную, не на всех, зарплату, привезли как раз тогда, когда посадчики были вызваны на работу. Они работали не посменно, а по вызовам, и работа их была всегда экстренной: без своевременной посадки кровли, запрещено было продолжать угледобычу. Перед спуском в шахту они получили заверения, что уж кому-кому, а им зарплату оставят. Но зарплату хотели получить все, свободный от смены или имеющий возможность отлучиться с рабочего места народ поднапер, и когда посадчики поднялись на-гора, выяснилось, что в суматохе про эти заверения забыли — денег им не оставили. Такое, как им, видимо, показалось, пренебрежение к ним — людям не только необходимого, но и

опасного труда — посадчиков оскорбило. Чтоб не идти домой, они — отец с сыном — одолжили у кого-то из получивших зарплату немного денег, напились и явились в шахтоуправление творить суд и расправу. Свидетелем этих суда и расправы я не был — восстанавливаю их по еще не остывшим впечатлениям очевидцев.

Первой жертвой их самосуда (потому что первым попался) стал начальник шахты Никитин, который вообще вряд ли знал как о полученных посадчиками обещаниях, так и об их невыполнении. Мужчина он был такой же комплекции, как и сами посадчики, но их было двое и на их стороне был фактор внезапности... И поэтому — не знаю, с уроном для себя или без — они ему крепко врезали. На шум и грохот выбежало остальное начальство — физически в основном люди не столь могучего телосложения, как посадчики и Никитин, но их было много. Секретарши испуганно заверещали. И тогда прозвучал призыв отца сыну:

— Ванька, бей почем зря!

И пошли отец с сыном молотить начальство, круша все, что попадалось по дороге.

Задаю себе вопрос — конечно, сегодня, а не тогда — откуда такая ярость? Ведь повод был не такой значительный, чтоб так яриться... Так что они все то сотворили спьяну? Но нет, скорее, они для того и выпили, а выпили, чтоб такое сотворить. Или так выливалась накопившаяся за годы — еще с тех пор как выгоняли их собственных домов и выгружали в пустой заснеженной степи — затаенная ненависть к начальству? Но ведь большая часть местных начальников была того же происхождения и прошла через те же испытания. Или определяли их поведение не поводы, а причины, и в тот момент им вдруг стало неважно, кто и в чем виноват и через что прошел, перед ними все они были представителями той чугунной силы, которая перекорежила их жизнь, заставила умереть страшной, нечеловеческой смертью их родных и близких, столько раз издевалась над ними, а теперь вдобавок еще насчет зарплаты так нагло обманула.

К сожалению, Пушкин прав — не приведи Господь увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Да — несмотря на все возражения — бессмысленный тоже. Бессмысленный не значит беспричинный — причин всегда хватало. Бессмысленными эти бунты бывали потому, что

чаще всего их основной, если хотите, задачей, было стремление выразить чувства, а не достигнуть определенной разумной цели. Ведь и отец и сын прекрасно понимали, что непосредственно сейчас они зарплату не получают, сколько бы ни буйствовали — ибо денег этих на шахте нет. В том же, что они ее получают через несколько дней, вообще никто не сомневался — не было вопроса. Так зачем было табуретки ломать?

Конец этой истории так же нелеп, как и она сама. Естественно, вызвали усиленный наряд милиции (обычный бы не справился), бунтовщиков скрутили и увезли в отделение. Им грозил суд и тюрьма — за злостное хулиганство. Все это было логично, но никто из шахтеров не только этого не хотел (они все, и я в том числе, своим товарищам сочувствовали), но и в такой исход конфликта не верил. И, к счастью, шахтеры оказались правы — дня через два обоих нарушителей порядка выпустили. И не по инициативе милиции, а по просьбе тех, кто милицию вызывал. И не от внезапной вспышки гуманности, а от железной необходимости — надо было и дальше «давать стране угля», а без обрушения кровли в выработанном пространстве (которое, пока они сидели, не перестало расширяться) это было невозможно. Вот и выручили.

Я был вполне удовлетворен и о попрании закона не страдал. Хорошие люди остались на свободе, и мне этого было достаточно. Правовые соображения по этому поводу мне тогда и в голову не приходили. Отчасти по внушенному большевизмом правовому нигилизму — убеждению, что право только инструмент в руках передовой партии. А то, что теперь оно стало личным инструментом Сталина — я так тогда не формулировал, но так к этому относился — никак не стимулировало моего интереса к правовым критериям. Но дело не только в этом — соображения о законности или незаконности чего бы то ни было не могли мне прийти в голову просто потому, что в своей жизненной практике я с законностью как с фактором не сталкивался, не ощущал на себе его воздействия. Сталкивался с тем, что любые деяния власти, чуждые часто не только справедливости, но и смыслу, оформлялись языком юридических формул, но относиться к ним серьезно давно перестал... Судя по всему, у этих «хулиганов» выработалось к тогдашнему праву такое же отношение.

Впрочем, хулиганства их я не видел — знаю только, что оно было ответом на обиду, что сначала все-таки обидели их, а не они. И не хочу сейчас в этом разбираться — тем более применять к этому правовые критерии, которые тогда или не действовали вообще, или действовали только выборочно (что, на мой взгляд, одно и то же). И думаю я сейчас не о юридических нормах, а об этих «хулиганах». В обычной жизни, на своем весьма необычном рабочем месте, рядом с которым я их только и видел, это были спокойные, разумные, доброжелательные люди — такими и запомнились.

Вообще, запомнились они мне если не лучше, то как-то персональней других — вероятно, из-за своей экстремальной даже для шахты специальности. Она их выделяла. А больше я помню общую атмосферу. Ведь работал я на шахте всего недель шесть — восемь, везде, где появлялся, общался сразу со многими и в то же время ни с кем вместе не работал весь рабочий день. Встречали меня, кстати, всегда дружелюбно и весело — шутками-прибаутками и, конечно, розыгрышами... Впрочем, розыгрыши эти не были для меня неожиданностью — ими всегда «угощали» студентов. Но и студенты знали об этом от своих старших товарищей и были готовы к обороне. Я тоже. И номер не проходил. Обычно это происходило так. Почему-то остановился конвейер, шахтеры сидят кружком, «тормозят» (то есть едят принесенные из дому в холщовых мешочках «тормозки» — столовых при подземных цехах не бывает), просто так отдыхают и попутно травят баланду — рассказывают разные истории, в основном шахтерские слушают, комментируют. И я сажусь с ними, принимаю участие в беседе. Обстановка самая мирная. Но внезапно все меняется. Все мгновенно вскакивают и целеустремленно бросаются в разные стороны — ты остаешься один... А ты ведь находишься в ненормальных условиях, под землей, в шахте, «в тылу у природы», как я однажды выразился. А природа не любит, чтоб ей заходили в тыл, и здесь от нее всегда можно ждать любых непредвиденных пакостей. А ребята — народ опытный, знающий. И если они так поспешно вскочили, надо быстрее улепетывать отсюда и тебе. На это и рассчитывала теплая компания, что ты в панике вскочишь и замечешься, не зная, куда бежать. То-то смеху было бы! Но ты, обогащенный

опытом нескольких поколений студентов, остаешься на месте, и все, посмеиваясь, возвращаются. Не вышло так не вышло — все равно потешились. Но однажды я чуть не переборщил в хладнокровии. И когда все вскочили, а я остался на месте, я вдруг услышал:

— Не-не, Наум!.. Сейчас не для смеха... Иди быстрее сюда...

Никакой враждебности шахтеров к студентам — ее и в помине не было, и розыгрыши эти были безобидны. И применялись они не только к студентам — обрушивались на любого новичка, впервые оказавшегося под землей. Да и не только на них — эксплуатировалась любая наивность... Мне с удовольствием рассказывали, как однажды разыграли девушку-мотористку. Была такая странная и, прямо скажем, ненужная профессия в лаге. Функция мотористки заключалась в том, чтобы нажатием на кнопку пускателя по команде бригадира включать и выключать конвейер. Это мог походя делать сам бригадир или любой работяга, оказавшийся рядом с пускателем. Но почему-то в штатном расписании числилась такая должность («едина», как тогда обозначалось). Но это к слову. Нас здесь интересует сама мотористка, а не ее функции. Отмечу только, что ввиду странности ее функций они часто использовались как девушки на побегушках...

Однажды на шахте вдруг остановились все механизмы, в том числе и конвейер. Работа прекратилась.

— Почему стоим? — спросила молоденькая мотористка.

— Да фазы нет, — ответили ей с досадой и вполне серьезно. (Фаза — одна из составляющих трехфазного переменного тока, без которой электродвигатели не работают.)

— Да куда ж она девалась? — удивилась девушка, и слушающие шахтеры встрепенулись — почувствовали открывающиеся возможности.

— Да вот захватить забыли из кладовой и теперь кукуем, — ответил кто-то с наигранной досадой...

— Так послать кого-нибудь надо, — проявила догадливость девчонка.

— Да кого пошлешь? Никто не хочет пехом на-гора за ней переть, — грустно ответил ей бригадир. — Из-за этой фазы ведь и подъемник не работает.

— Давайте я сбегаю, — благородно предложила мотористка.

— А дотащишь? — усомнился кто-то. — Она ведь тяжелая.

— Да вы что! — рассердилась девушка. — Конечно, дотащи! Вы не смотрите, что я маленькая — я крепкая. Ну, я пошла.

И направилась вверх, к вентиляционному штреку. Успех, кажется, был полный, представление состоялось, но скучающим от вынужденного безделья шахтерам и этого было мало, хотелось продлить удовольствие.

— Манька, ты куда так собралась? — остановил ее голос бригадира...

— Как куда? — возмутилась Манька, горя желанием быть по-настоящему полезной. — На-гора, за фазой!.. Стоим же!.

— За фазой?! — «удивился» бригадир. — А в чем же ты ее понесешь? В руках, что ли?

— А в чем надо?

— Ну возьми хоть ведро.

— Давайте. Целое принести?

— Да нет, хватит и полведерка... Тяжела больно. Так и скажи кладовщику: «Налей быстрее полведра фазы, а то стоим!»

И девушка пошла с ведром за фазой, доставив двойное удовольствие своим товарищам по бригаде — и тем, что уже произошло на их глазах, и предвкушением того, что должно произойти наверху, когда туда явится Манька с ведром требовать налить ей фазы.

Что можно сказать о такой потехе? Конечно, заставлять наивную девчонку топать зазря взад-вперед по людскому ходу (по наклонному стволу) — дело не рыцарское. Но в целом розыгрыши были безобидными и не имели целью кого-либо обидеть или унижить. Ну, посмеялись над человеком, впервые попавшим в шахту, что он пока не знает, чего надо, а чего не надо здесь бояться. Или не постиг еще, что такое переменный ток и его фазы — так ли уж это обидно? В конце концов все через это прошли, и ничего — целы остались, и отношений это ни у кого ни с кем не испортило.

Но столкнулся я и с некой тонкостью, с которой до этого нигде, даже в Чумакове, не сталкивался. Или сталкивался, но не сознавал. «Тонкость» проста — при всей простоте отношений окружающие *требовательно* видели во мне человека иной культурной среды. Выявилось это так. Как

уже здесь говорилось, подшучивать друг над другом шахтеры любили, всяких шуток-подначек, по существу, как уже говорилось, безобидных, в шахте было сколько угодно. Но это никак не исключает того, что эмпирически они могли быть и обидными, и довольно грубыми — в «гимназиях-прогимназиях» здесь никто не воспитывался. Естественно, объектом таких подначек иногда бывал и я. И отвечал соответственно, считая, что это в порядке вещей, и не очень задумываясь над этим. И когда однажды один сравнительно пожилой (по сравнению со мной тогдашним) шахтер допустил в отношении меня нечто такое (в чем было дело, не помню), я ему привычно ответил в той же тональности и считал инцидент исчерпанным. Действительно, к конфликтным отношениям такие столкновения обычно не приводили. Не грозил никакими последствиями и этот эпизод. И он бы давно забылся, если бы...

Если бы не случайно оказавшийся свидетелем этой сцены молодой человек лет тридцати, тоже простой шахтер. Я его совсем не помню, помню только, что лицо его было простым и озабоченным, добрым. Но слова его я запомнил на всю жизнь.

— Ты неправ, Наум! — повернулся он ко мне. — Конечно, он тебя ни за что облаял. Но отвечать ему тем же ты не должен был. Ты пойми... Ведь этот работяга уже пожилой, а что он видел? С ним ведь никто как с человеком не разговаривает — все только матюкают. И ты туда же... А ты ведь все-таки другой, и он это знает. Если он еще раз начнет выкобениваться, ты ему вежливо — на «вы», обязательно на «вы» скажи: «Зачем вы так себя ведете? Вы ведь взрослый серьезный человек. Стыдно вам так себя вести». И вот увидишь — он смутится, но ему будет приятно, что ты его человеком считаешь. И, будь уверен, больше он тебе грубить не будет. Он сам, конечно, матерится, но когда материшься ты, ему кажется, ты считаешь, что он другого разговора вообще понять неспособен.

Слова эти подтвердились буквально. Когда тот же работяга еще раз попытался мне нахамить, я поступил так, как посоветовал этот человек, и реакция была точно такой, как он предсказал.

Повторяю, я не запомнил его лица, но слова эти не только остались во мне навсегда, но я навсегда остался ему

за них благодарен. И даже не потому, что его советы мне уж так пригодились для общения в шахте. Меня там больше никто не обижал, и я ни на кого не огрызался, никого не увещевал. Да и проработал я там недолго. Благодарность моя имеет и более общий смысл... Этот «простой» человек открыл мне нечто такое, чего я не знал. Я понял, что по каким-то причинам (вряд ли я им говорил о своей причастности к литературе) меня, как бы я себя ни вел, какими бы простыми ни были мои отношения с окружающими, все равно воспринимают как представителя иного, в каком-то смысле более высокого круга. И могли с повышенной остротой воспринимать нюансы моего поведения, находя в нем симптомы моего подлинного — уважительного или неуважительного — отношения к ним. Подчеркиваю, «могли» — это не значит, что только так и воспринимали. Я, например, и до шахты, и в шахте, и после нее на такое почти не наткнулся — во мне никакого высокомерия не только нет, но обычно и не подозревается. Но эти поразившие меня слова открыли мне нечто еще более важное — психологическую униженность простого человека. Я с этим столкнулся впервые (у симских инструментальщиков, создававших свою персональную незаменимость и свое мастерство, таких комплексов быть не могло). И то, что это предполагалось возможным даже у шахтеров, которые тогда зарабатывали больше, чем когда-либо многие люди моего круга (причем предполагалось человеком, хорошо знавшим эту среду), — меня потрясло... Я почувствовал, что, несмотря на высокий пропагандный статус «советского простого человека», он при любой зарплате чувствует свою униженность. Уже потом я сформулировал для себя, что советское государство — а теперь и «освободившиеся его ученики и наследники» — относилось к нему даже не как к быдлу (то есть как к чему-то все-таки живому), но как к материальной массе, как, допустим, к замазке, когда нужно утеплить оконные стекла, только иногда еще более дешевой. Но это я сформулировал намного позже, но что-то почувствовал и тогда. И тогда я понял, что в моем поведении, когда я оказываюсь не в своей среде, не должно быть ничего такого, что может быть принято за неуважение или пренебрежение. Ничего такого в моем отношении к людям и до того не было даже в помине, но надо, чтоб твое поведение и случайно так истолковать не могли.

В связи с этим встает вопрос об употреблении мата. Я признаю, что эта дурная привычка, к сожалению, есть и у меня, вошла, как говорится, в плоть и кровь. Но даю я ей ход только в частных отношениях, когда люди — пусть даже самые простые — меня хорошо знают, чувствуют и неправильно не истолкуют. «Свойский» мат или нечто подобное с трибуны или сцены в устах «товарища из Центра» (или члена Союза писателей, артиста, лектора, когда те выступали на периферии и просто на предприятиях) воспринимается именно так. Или только воспринимался раньше? Если это так, никого с этим не поздравляю. Это победа хаоса, а не внутренней свободы личности или высокого вкуса.

Не знаю, верил ли открывший мне глаза на эту проблему «простой человек» в Бога — никаких разговоров на религиозные темы я в шахте вообще не слышал, — но, как я теперь понимаю, сознание его было религиозным. Так или иначе, он укрепил во мне здравый смысл и совесть. Спасибо ему.

Я вполне допускаю, что среди шахтеров были и верующие. Особенно среди немцев. Ведь это были немцы Поволжья, потомки религиозных диссидентов, людей в вере крепких — они потому и оказались в России, что на родине их преследовали за религию... Тем не менее разговоров о Боге я в шахте действительно не слышал, но зато разговоров о нечистой силе сколько угодно. Правда, не вообще, а о подземном ее варианте. Началось это в один из первых дней моей работы. Однажды, после безуспешной попытки меня разыграть, кто-то вдруг спросил меня:

— Наум, вот ты один ходишь по выработкам — неужто не страшно?

— А разве там опасней, чем в лаве? — не понял я.

— Не в том дело-то... А что, если хозяина шахты встретишь?

Вопрос прозвучал для меня странно. Термином «хозяин» в те времена именовали глав всех существенных предприятий и учреждений (по аналогии со Сталиным, которого за глаза так именовали в высших и средних эшелонах власти), я решил, что речь идет о начальнике шахты, который время от времени лично обходил подземные участки. Удивился:

— А чего мне его бояться? Что он мне может сказать? Я ведь не болтаюсь без дела. Я ведь обязан ходить с участка на участок... — удивился я.

— Ты что? Думаешь, мы про Никитина? Мы о настоящем хозяине шахты. Он тут бродит иногда...

Поначалу мне показалось, что меня пугают призраком дореволюционного владельца шахты, но быстро опомнился — такого быть не могло, ведь шахта построена после революции. Оказалось, что это нечто вроде шахтного домового или черта. Естественно, я и это принял за розыгрыш. Но оказалось — не тут-то было. Те, кто прислушивался к разговору, скоро обо мне вообще забыли — стали напоминать друг другу известные им всем достоверные истории, уточнять подробности, спорить о деталях. Обычно этот «хозяин» поджидал одиночек на заброшенных выработках, в крайнем случае на вентиляционном штреке — там, где люди ходят редко, — и пугал их. Я не помню, чтобы кому-нибудь он причинил реальный вред, но пугал сильно, изощренно, торжествуя. Точно я запомнил только рассказ о какой-то мотористке или взрывнице, — кажется, они ее называли Веркой. Верке почему-то понадобилось пройти по вентиляционному штреку — спешила, видимо, куда-то... Шла и вдруг на какой-то балке потолочного крепления сбоку ее отвратительным голосом поприветствовало что-то мохнатое и страшное, хотя и не очень крупное. Как это существо могло усидеть на потолочной балке — не знаю. Вцепившись когтями, как кошка? Но ведь и кошка в таком положении долго не усидит. Но этот вопрос никого не занимал — потустороннее существо в любом положении удержится. Верка, естественно, бросилась бежать к людскому ходу, к отслужившему шахтному двору. Но хозяин шахты прыгнул ей на плечи и вцепился в волосы, а главное, отвратительно хохотал за спиной вконец перепуганной Верки. Только перед самым людским ходом он отпустил Веркины волосы и, крикнув на прощание: «Спасибо, прокатился!» — спрыгнул наконец с Веркиных плеч.

Этим рассказам шахтеры, мало сказать, верили, они воспринимали их как нечто всем известное, как очевидность, как неотъемлемую хотя и таящуюся часть их жизни и быта — обстановки, в котором они жили. А тому, что большинству из них этот хозяин не встретился, тоже было объяснение — им почти не приходилось ходить по шахте в одиночку. Видимо, у этих людей, в основном крестьянских детей, в неестественных подземных условиях подспудно

вырабатывалось ощущение, что они зашли в чьи-то чужие кладовые, у которых есть их подземный потусторонний хозяин («подземный царь?»), и грабят их, что не может не пройти безнаказанно. Этот хозяин помешать в этом людям бессилён, но мстит как умеет — в основном одиночкам. Это ощущение бытует на уровне подсознания, а не сознания. Если бы кому-либо из рассказчиков этих историй приписали такой образ мыслей, он обиделся бы: «Ты что, меня темным дураком считаешь?» Но такое подсознательное ощущение имело место, и оно живо откликается на такие рассказы. Подобные рассказы бытуют среди всех, чья жизнь и работа связаны с властью стихии, которая никогда не бывает покоренной до конца. Например, среди моряков.

Что это — выдумки? Нет, эти рассказы правдивы во всех деталях. Конечно, я не верю, что Верке действительно встретился хозяин шахты собственной персоной, но я абсолютно уверен, что она его действительно *видела* и что, когда она бежала по штреку к людскому ходку, действительно ощущала его вес на своих плечах и слышала его торжествующий хохот за своей спиной. Она ничего не выдумала, с ней это было. Другое дело, были ли для этого основания вне ее, действительно ли *существовало* то, что она *видела*.

Остальных рассказов о «хозяине шахты» я не помню, но образ этого мифического существа везде один и тот же.

Шахта вообще располагает к видениям. Уже примерно через год после этой практики встретил я в Новом городе своего приятеля и бывшего насадчика (заместителя Божкова) Аркадия, надежного и доброго человека, о котором я и теперь не могу вспомнить без теплоты в сердце. Но для того, о чем я сейчас рассказываю, важно только то, что речь идет о человеке совсем не темном, разумном и спокойном, совершенно не склонном к экзальтации. Зашли в ресторан, выпили по рюмке, поговорили, повспоминали о том о сем. И вдруг среди всего прочего я услышал:

— А знаешь, Наум, что со мной было? Ты, наверно, не поверишь. Я бы и сам не поверил, я над этими шахтерскими байками всегда смеялся, а вот случилось. Недавно. До сих пор в себя никак прийти не могу. Ну ладно — давай по порядку. Понимаешь, осматривал я штрек на третьем горизонте — состояние крепи проверял. И вдруг вижу, кто-то идет — прямо мне навстречу. Идет, лампочка на каске све-

тится, покачивается, как всегда при ходьбе. Я точно знаю, что тут никого не может быть, делать тут никому кроме меня нечего. Кто ж это может быть? Всмотриваюсь получше и вдруг глазам не верю: это мой друг — его завалило в шахте три года назад. Как раз где-то поблизости. Идет. Точно такой, как был — все на нем аккуратно пригнано. Прошел мимо меня, метрах в двух. На меня даже и не глянул. Потом повернул вверх на людской ходок и скрылся. Я осветил под ноги — следы остались. Как хочешь, так понимай, а меня холодный пот прошиб...

Такое вот происшествие. Как его понимать, я до конца и теперь не знаю. Понимаю, что был там Аркадий один, знал, что тремя годами раньше где-то здесь погиб его друг. Возможно, он об этом и не думал, но где-то в подсознании помнил, жило это в нем. И вышел этот его друг не из-под какого-нибудь завала, а из глубины подкорки, из самого Аркадия — такие вещи часто случаются независимо от сознания и воли человека. И ведут себя эти призраки тоже независимо от его воли; как герои настоящих художественных произведений независимо от воли автора. Да и в сновидениях тоже.

Кстати, похожий, но лишенный драматизма случай произошел и со мной. И отнюдь не в шахте, а через тридцать семь лет после нее — в Москве. И не тогда, когда я в ней жил, а когда впервые, после пятнадцати лет эмиграции, туда приехал. После одного из моих выступлений, когда я, окруженный людьми, вышел из зала в холл, там вдруг передо мной возник мой ныне покойный, а тогда еще полный сил товарищ, тоже эмигрант, Сергей Мюге, о котором я точно знал, что он сейчас в Нью-Йорке. Однако он был здесь и стоял передо мной в своем обычном зимнем облачении, преградив мне дорогу, и торжествующе покачивался на носках. При этом он хитро улыбался, как человек, очень довольный своей проделкой — тем, что я остолбенел от неожиданности. А попробуй не остолбеней — я, конечно, знал, что он очень любил такого рода проделки, а эта была как бы из его репертуара (что усиливало впечатление достоверности от этой картины), но все-таки пересечь океан только для того, чтобы на недолгий срок вызвать мое замешательство, — это было слишком даже для Сережи. Я не успел и слова вымолвить, как меня кто-то

отвлек вопросом. Отвечая, я на секунду перевел взгляд на того, кому отвечал. А когда опять повернулся к Сереже, того уже не было, испарился. Общие знакомые, у которых я наводил справки, сказали мне, что Сережа действительно в Москву приезжал, но недели за три до моего появления улетел обратно (это я и сам знал, потому и поразился), и, что главное, сейчас его в Москве и в России нет. Последнее уничтожало всякие сомнения. Потом эту информацию подтвердили и мои друзья-эмигранты, да и сам Мюге. Да что говорить! Не такой он был человек, чтобы, приехав в Москву, засекретить себя от друзей ради какой-то проделки или хранить ее в тайне спустя срок. Это ведь не смешно и не весело. И так достоверно и то, что Сергей Мюге в тот день был в Штатах, и то, что я его в этот день видел в Москве. В людном светлом холле, а не в сыром заброшенном штреке. Да, я был в те дни очень усталым, мог на секунду уснуть и увидеть все это во сне. То же самое могло случиться с Аркадием в подземелье, само пребывание в котором — дополнительная нагрузка для шахтера, дополнительный фактор усталости, даже если он этого не признает. А Аркадия еще окружали мрак и одиночество. Я ведь тоже ходил один по выработкам, но выработки эти были хоть и малолюдные, но вполне обитаемые — функционирующие, — совсем другое самоощущение.

Тут впору вспомнить Гамлета: «На свете много есть такого, друг Горацио, что вашей философии не снилось». Конечно, в жизни есть много необъясненного и необъяснимого. И может быть, я тоже со своей философией здесь нахожусь в положении друга Горацио, и когда-нибудь откроется нечто такое, что опрокинет все мои построения. Но пока это не произошло, мне приходится оставаться при своей философии — возможно, и куцей (но, возможно, и нет).

Однако потусторонняя тематика меня тогда мало занимала. Впрочем, как, несмотря на все доверие к этим страшным историям, и самих шахтеров. Да и рассказывались эти истории только изредка, во время перекуров — в остальное время им было не до того. Употребляю я здесь термин «перекур» только по аналогии. В шахте никто не курил — было строго запрещено, да и никто сам себе не враг, — но табак употребляли, закладывали его за щеку и посасывали — называлось это «насвай». Интересовали меня не эти истории, а сами люди — их взаимоотношения и восприятие жизни.

Начну с обобщения. По всем своим проявлениям это были обычные русские люди — даже если это были немцы или кто другой. Конечно, условия работы и положения накладывали на них свой отпечаток. Все-таки работа, как уже сказано здесь, «в тылу у природы» и связанное с этим напряжение и все-таки нигде в другом месте человек, практически не имеющий никакого образования (вспомните парня, пораженного тем, что при хорошем зрении очки только мешают видеть) и весьма скромной квалификации, только за счет физических сил согласившийся часть жизни проводить под землей и подвергать ее опасности (навалоотбойщики, помощники машиниста комбайна), может работать так много. Разговоров на общественные темы, несмотря на то что коллектив состоял из «контингентов», я не помню. Другое дело, что ко мне относились хорошо еще и потому, что я тоже «подвергался», но это работали чисто человеческие факторы — понимание и сочувствие. А может, и попросту опасались высказываться принародно — «контингенты» народ пуганый. Впрочем, заслуживать у них хорошее отношение и не надо было — в принципе они априори относились ко всем, кто появлялся под землей, хорошо, заслужить у них надо было отношение плохое. На моей памяти его заслужил только один человек — «помглавного» (помощник главного инженера) Щеглов.

Нет, это не было проявлением затаенной ненависти к начальству вообще. Кстати, к шахтному начальству шахтеры относились скорее индифферентно, чем враждебно — случай с «бунтом» посадчиков имел причиной суперлокальное раздражение, даже если в нем выразилось накипевшее за все годы сталинских пятилеток... В конце концов у шахтеров с этим начальством были общие интересы — побольше добыть угля и избежать аварий. От этого зависел заработок шахтеров, и так немалый, но существенно увеличивавшийся от перевыполнения нормы, но также и положение начальства (в том числе и материальное). Короче, антагонизма не было.

Кстати, и «помглавных» на шахте было как минимум двое. Возможно, по два на каждую смену, но я в этом не уверен — я знаю двоих. Вторым был Александр Разуваев, которого шахтеры называли запросто Саша, он был из местных. И которого очень уважали за то, что он был трудяга.

Его специализацией была расшивка узких мест, то и дело возникавших при добыче угля. То «забурится» (сойдет с рельс) вагонетка, полная угля, то конвейер станет. То еще что-нибудь — в устранение всего этого он вкладывал не только свою распорядительность, но и личное участие. Его распоряжения в глазах шахтеров имели смысл и были на пользу делу, и их охотно выполняли.

Другое дело Щеглов. Его «специализацией» — на что-нибудь другое он вряд ли был способен — была «трудовая дисциплина» — следить за тем, чтоб шахтеры не спали, и вообще быть погонялой. Прежде всего, это было нелепо. Даже если исходить из самых эксплуататорских побуждений, погоняла в шахте был не нужен. Шахтеры от работы, как уже говорилось, не отлынивали, и кричать в лаве «Давай-давай!» было не с чего. Однако Щеглов, оправдывая должность, орал... А насчет побудки придремавших — тоже странность: ведь заработок у бригады в лаве — общий. И если кто-то из бригадников не участвует в работе, не валит лопатой уголь на транспортер, значит его работу выполняют другие, а он будет получать за это наравне с ними, то есть за их счет — кому это понравится и кто на это осмелится? Желаящим ездить в рай на чужом горбу шахтеры вовсе не потакали.

Вспоминается мне в связи с этим один случай — правда, не в лаве, а на проходке. В одной из выработок работали два проходчика — по моей классификации, дети раскулаченных. Сильные, складные. Неторопливые. Все время работали — даже разговаривая со мной. Мне они о своих делах не говорили, но однажды, когда я к ним пришел, я застал у них начальника участка. И узнал, что они очень недовольны своими сменщиками, вместе с которыми составляли то, что тогда называлось «комплексная бригада». Это изобретение было тогда последним криком официальной моды, очередная «передовая форма организации труда». Очередная панацея от всех бед, внедряемая и поощряемая свыше. Заключалась она в том, что заработок выписывался на всю бригаду (на все смены), так что работа передавалась сменами из рук в руки и ни на секунду не прекращалась. Замысел не такой уж глупый, но он требовал от всех членов бригады одинаковой квалификации, работоспособности и добросовестности. Правда, и при этом под-

стерегают опасности, одна из которых реализовалась потом уже упоминаясь взрывом на этой же шахте. Но там люди слишком спешили побольше успеть, наши же проходчики столкнулись совсем с другим. Выработка записывалась на обе смены, а придя на смену, они заставляли забой почти таким же, как оставили, ничуть не продвинувшись. По стечению обстоятельств меня в тот день попросили отдежурить вторую упряжку, и, придя в другую смену, в тот же забой, я увидел и их собригадника. Он лениво отбросил пару лопат, а потом разлегся на горке угля и доверительно сообщил мне: «Что-то неохота сегодня работать». Потом зевнул. Похоже, вчера он был в том же состоянии. Но проходчики с этим мириться не стали и попросили эту комплексность с ним разрушить. Это на проходке, а в лаве, где все друг у друга на виду, такое «настроенчество» просто невозможно.

Поспать в лаве (то есть в выработанном пространстве, рядом) можно было только с согласия товарищей, чем особенно не злоупотребишь... Да и придремывали в основном, когда производственная обстановка позволяла, а оценить эту обстановку Щеглов был органически не в состоянии. И погонял — грубо, по-хамски, бессмысленно. И его терпеть не могли... И обошлось ему это дорого.

Однажды, когда я пришел в лаву, меня предупредили:

— Слышь, Наум. Только молчи! Там, в выработанном, Щеглов дрыхнет. Сам уснул, падла!.. Ну, ничего... Ребята ему тихо лампочку отрезали и в каску нассали (кажется, этим проделки не исчерпывались, но больше я не помню). Будет знать! Сейчас проснется, увидишь кино...

Через несколько минут действительно началось «кино». Прежде всего еще из выработанного пространства, послышался яростный и несколько обиженный мат Щеглова. Потом появился он сам, но без каски и лампочки, весь какой-то жалкий, растерянный и как бы стесненный в движениях из-за неуверенности в доброкачественном состоянии и всего остального, что было на нем.

— Гады!.. Бляди!.. Сволочи! — кричал он, но не объяснял, в чем дело, на что он, собственно, сердится... Да и что он мог объяснить? Ведь такое над ним — над главным надсмотрщиком за тем, чтоб люди не дремали, — можно было проделать, только когда он сам нарушил трудовую дисциплину.

лину таким же образом. Шахтеры это понимали и под аккомпанемент его ругани проявляли небывалое усердие в труде, а его возмущения как бы не замечали, делали вид, что это обычный щегловский «разнос», как всегда не по делу, а поскольку ни к кому конкретно он на этот раз не вяжется, то никто и не отвечает. Короче, никто и не догадывается, что с ним произошло. Надо ли добавлять, что ему в его беде никто не сочувствовал?

Не спорю, проделка эта злая, жестокая. Конечно, она резко отличается от обычных шахтерских подтруниваний и розыгрышей. Кроме всего прочего, она подводила незадачливого борца за дисциплину под меч административной немезиды, удар которой вскоре и последовал. В чем он выразился, сейчас уже точно не помню, но помню, что был он чувствителен. Шахтеры в принципе не любили подводить под административный меч кого бы то ни было, а тут сделали это с удовольствием — такое надо было заслужить. И Щеглов это заслуживал — упорно и старательно. И достарался. Виноват в этом был его характер или характер его функций (если он не сам свел свои обязанности к этим функциям) — не знаю.

Но я абсолютно убежден, что если бы в выработанном пространстве уснул кто-нибудь другой из «надзоров» — Разуваев или даже я, — ничего подобного бы не произошло. Наоборот, еще предупредили бы о приближении более высокого начальства, если бы такая угроза возникла. Я в этом абсолютно убежден, хотя случая проверить это не было. Разуваев спускался в шахту не для того, чтобы спать, да и я не помню, чтобы я когда-либо пристраивался где-нибудь прикорнуть — сознавал ответственность (вдруг недосмотришь, и все взорвется), да и просто мне было интересно. И не так долго я там проработал. Но и на старуху бывает проруха — если бы я проявил такую слабость, то мог бы себя чувствовать в полной безопасности — меня бы под монастырь не подвели.

Практически это почти все, что я помню о шахте. Осталась еще только одна тема — женщины в шахте. Нет, не противоестественность использования женщин на подземных работах — тем более что это после смерти Сталина было запрещено, а о женщине как таковой, так сказать, о взаимоотношениях полов — в шахте, точнее, в лаве. В сущ-

ности, этой стороны жизни я в шахте не заметил. Несмотря на наличие под боком «удобств» — множества «альковов» в выработанном пространстве и некоторое количество наивных девушек-мотористок. Проблемы этой не было — к женщинам не приставали. Но женский труд под землей еще вполне допускался, женщины в шахте были, и значит, женские проблемы того времени в какой-то степени тоже ощущались... Конечно, и у моих газомерщиц тоже, но о них я уже говорил. Газомерщицы по сравнению с теми, о которых я хочу рассказать сейчас, были барышнями. Нелегкие женские проблемы того времени, конечно, задевали и занимали и их, но проявлялось это так же, как и у остальных городских девиц. Сейчас же я говорю о женщинах в лаве, причем о женщинах, воспитанных в семьях, вырванных из деревни, но не до конца затронутых городской цивилизацией. И все они работали на современном предприятии — шахте и все же оставались женщинами своей среды. О том, как эта их психология проявлялась в сложных условиях шахты, об их восприятии себя самих и жизни я и хочу сейчас немного поговорить.

С одной из них было совсем худо — она даже работала навалотбойщицей. Шахтеры, ее товарищи, относились к ней безжалостно. Нет, не как к товарищу по работе — тут ее ни в чем не ущемляли и не притесняли. Безжалостно они относились к ней именно и только как к женщине... Ее никто не трогал руками — изгалялись языком. И именно к тому, как это делалось, потом, когда вспоминал об этом, я относил слова поэта Евгения Винокурова: «Ужасней простоты/ Нет ничего на белом свете». Никчемность и непривлекательность ее как женщины были предметом самых изощренных, острых и бесстыдно откровенных шуток. Она и впрямь не была ни красивой, ни привлекательной. И не столько из-за своих физических качеств — она была не только крепка, но и достаточно стройна, если взглядеться, — сколько из-за общего впечатления, которое она производила. Из-за собственного самоощущения и поведения — она была комком убогого, не верящего в себя самоутверждения. По-видимому, то, что она работала рядом с ними на этой одной из самых тяжелых мужских работ, шахтеров не умиляло, а раздражало. И действительно это выглядело противоестественно... Но кто ее знает, какая нужда загнала ее в

шахту на такую работу, какой воз она везла? Не из феминизма же она старалась.

От шахтерских подзуживаний она защищалась как умела, а умела плохо, нелепо. Что делать — умна она, судя по всему, тоже не была (или ее забитость заглушала ее ум), но кто сказал, что жить на земле имеют право только умные? Ее попытки защититься только подзадоривали остальных. Ее утверждение, что она замужем, вызывало хохот — дескать, кто на такой женится. Рыцарственным отношением к женщине тут вообще не пахло. Приводило это иногда к сценам безобразным... Запомнился мне один страшный разговор во время «перекура». Он не совсем приличен, но приходится этим пренебречь, иначе не передать всего, что за ним встает, всей меры забитости этой женщины, убогости ее мира.

Она на что-то разъярилась, стала запальчиво кричать, и кто-то по ней резанул:

— Тебя никто не *ебет*, вот ты и злобишься.

Но страшно не это, страшен ее ответ.

— Вы уж тут как хотите, — между делом и, как ей показалось, гордо объявила она, — а меня муж *ебет*.

И пошла что-то дальше молотить, развивая предыдущую тему.

Да, я сторонник простоты. И в жизни, и в поэзии. Но признаю и правдивость слов Винокурова — бывают на свете обстоятельства, когда — «ужасней простоты/ Нет ничего на белом свете». Все-таки некоторые романтики должны думать и представлять, что они имеют в виду, когда требуют «освобождения от цивилизации».

Вспоминается мне еще одна женщина, скорее девушка, в лаве. Было ей лет восемнадцать, а может, и шестнадцать, и работала она, кажется, мотористкой. Воспоминание это гораздо более приятное, но тоже располагающее к тревожным размышлениям. Хотя ни с ней, ни в ее душе не творилось на моих глазах ничего дурного, и сама она была очень привлекательной. Даже в шахтерской робе, даже в ватнике, в котором она ходила на поверхности. Она была вполне уверена в обаянии своей юной женственности и со мной, например, заговорила первая. Не думаю, чтоб для завлекательства, а просто ей было любопытно. Интриговало ее мое невероятное, по ее представлениям, «образование» — имен-

но образование: десять классов, в институте даже учился, а теперь, кажется, в техникуме, — а не образованность, обремененность знаниями... Так получилось, что мы шли домой вместе — я, она и юный шахтер, почти мальчик, которому она нравилась, похоже, он был в нее даже влюблен, и у нее с ним намечался или был роман. По дороге мне само собой был задан вопрос о моем пресловутом образовании, и высокий его статус был воспринят как фантастическое достижение. Однако про себя она мне без тени смущения сообщила, что учиться или читать книги ей плохо дается — видимо, не ее ума дело, да и неинтересно. Другое дело — прибрать, сготовить, пришить — тут она и любит, и мастерица. Должен сказать, что, хотя я не пробовал с ней заводить шуры-муры (слишком разного мы с ней ждали от жизни), но эта *L'enfant de la nature* мне тоже нравилась — уж очень сильно было в ней женское начало, я бы даже сказал, женская самодостаточность. Я и теперь вспоминаю ее с нежностью. Но не этим мимолетным намеком на чувство я хотел поделиться с читателем, а тревожными размышлениями и о ней, и о нас с вами. Лучше ли и достойней ли мы стали от того, что такие женщины, не увлекающиеся Шекспиром и не ценящие слегка Сен-Мара (Пушкин), но могущие и готовые легко и без чувства обделенности «прибрать, постирать, пришить, сготовить», то есть сделать жизнь терпимой и уютной, стали нам не нужны. И какая же она после этого *L'enfant de la nature* — разве возможна без этого цивилизация? Вопрос не столь прост. Я ведь и сам не смог бы долго жить с такой женщиной, как она ни прекрасна. Дело, конечно, не в ее необразованности, дело в том, что она самодостаточна на своем уровне и другого не хочет. А сохранился ли тот уклад, где она была бы более чем на месте?.. И в той отнюдь не патриархальной среде, где она жила, смогла ли она найти себе пару, чтоб кто-то не употребил во зло и не попользовался ее уверенностью в своей силе и ценности и не обманул ее потом или не стал пропивать все, что она добывала?.. Она была самодостаточной женщиной, а много ли воспитал Сталин самодостаточных и ответственных мужчин?

Хорошо бы, если б эта девушка нашла себе пару, хорошо бы, они поженились с тем шахтером, фактически мальчиком, с которым мы тогда вместе шли с шахты. Дошли до

какого-то перекрестка и расстались. Они повернули к какому-то шахтерскому поселку, где она жила в хибарке с матерью (отец у нее погиб — не помню только теперь, на фронте или в шахте). Что стало дальше с этим чудесным существом — не знаю! А тогда все было просто — они повернули в поселок, а я продолжил свой ежедневный путь к трамвайной остановке «Двадцатая шахта». Больше я с ними вместе не ходил, да скоро и практика моя кончилась.

Я забыл сказать, что всю практику я продолжал жить в общежитии, куда и откуда добирался на трамвае. Доезжал до двадцатой шахты и оттуда шел пешком минут двадцать. Иногда обедал в столовой на двадцатой основной (была еще и бис), что мне очень импонировало...

Однажды, правда, произошел казус. Поднявшись на-гора в день зарплаты, мы обнаружили, что в душевой нет горячей воды. Причина была простой — банщик, получив зарплату, запил. А ведь подземным надо было умыться обязательно, хотя бы чтоб переодеться в чистое. Так сказать, в цивильное. А теперь это сделать было невозможно... Шахтеры по этому поводу не очень матерились, отнеслись к происшедшему с пониманием. Но они жили рядом, могли дойти до дома чумазыми, и там умыться и переодеться. А каково было мне? Кажется, вышел из положения, умывшись кое-как холодной водой, хоть мыло с ней плохо мылилось. Но «с пониманием» в тот день я к банщику не относился...

Это случай хотя и досадный, но частный. И к тому же больше комичный, чем иной. И в воспоминании моем о моей подземной практике он только малый штрих, дополнительная краска. Хотя отнюдь не только этой краской окрашены мои впечатления о шахте. Практика кончилась, но что-то ведь осталось от нее в душе ценное — помимо некоторого технического опыта, который несколько расширил мой общий кругозор, хотя конкретно мне так никогда и не пригодился. Что-то мне открылось новое в людях, в стране, в народе. Okрепла моя связь с людьми. И что греха таить — нравилось мне ощущать себя хоть и липовым, но шахтером, членом этого могучего трудового братства. Не так это смешно, как сегодня некоторым может показаться. Себя я при этом не терял и не собирался терять.

Думаю, что кое-что из пережитого тогда отлилось в следующем, так никогда за все эти годы и недоработанном стихотворении. Поэтому я публикую его только здесь.

Ничего такого нету
Удивительного в том,
Что останусь я поэтом,
Не стану горняком.

Буду жить, в стихи ударяюсь,
Стоять, на чем стою...
А когда настанет старость,
Вспомню молодость свою.

И захочется мне снова
После смены в год иной
Распивать чай в столовой
На двадцатой основной.

Об измене думать горько,
Вспоминать и ревновать...
А потом, надев спецовку,
Все мирское забывать,

Забывать, что буду завтра
Без тебя на свете жить,
И сливаться с ритмом шахты —
Думать, действовать. Спешить.

Прошу прощения у читателя за «Буду жить, в стихи ударяюсь», но я из-за этого привожу эти стихи только здесь — не как стихи, а как факт биографии.

Карагандинская жизнь

Рассказывая о техникуме и шахте, я забыл рассказать о том, что к этому времени я уже приобщился к местной литературной жизни. Приобщился не столько творчеством, сколько профессионально: что никак не было моей победой, а победой моего малодушия.

Начну по порядку. Мне уже было 26 лет, я считал себя поэтом, был «широко известен в узких кругах» (слова Бориса Слуцкого, сказанные не обо мне), а между тем ни одна моя строка не была напечатана нигде, ни разу. Причины, конечно, были понятны, но закрадывалось мелкое подозрение: а не утешаю ли я себя тем, что это по политической непроходимости, не печатались ведь и мои лирические и иные стихи? Даже в просвещенном журнале «Знамя»... Конечно, и они не вписываются в образ счастливо-

бездумного человека сталинской эпохи, для которого все вопросы бытия решены (кроме фронтовых переживаний, но и эту тему к тому времени прикрыли), но опять-таки, может, это я себя только обманываю этим, а просто мои стихи не достигают некой (правда, мне непонятной) профессиональной кондиции. Меня это исподволь мучило. И однажды я соблазнился — решил себя попробовать. Это было перед Новым годом — не помню только, 1952-м или 1953-м. Но я уже был в камуфляже — то есть в горной форме, что несколько облегчало мою задачу. Короче, я сел и написал новогодние лирические стихи. Они так и назывались — «Новогодний снег». Было в нем легкое описание заснеженной Караганды, помню, что там упоминались девушки, спешащие «сквозь ветер», и «живая деталь», касающаяся этих девушек — «Под мышкой с туфлями пакетик / А сами в валенках пока». Короче, все как в лучших домах. С этим я и предстал перед заведующей соответствующим отделом газеты «Комсомолец Караганды» незабвенной Ирой Лиховской. Потом мы были друзьями — и с этой замечательной благородной женщиной и с ее мужем Юрой, — но тогда мы были совершенно незнакомы. И я рассматривал свой визит в редакцию, где скоро со всеми подружился, как проникновение в стан врага.

И ведь знал я, кто обычно работает в редакциях, что в основном народ это живой, любопытный и расположенный к людям. Но ведь знал я и то, что *noblesse oblige*, что они по должности обязаны были стоять на страже псевдоидеологии и следить, чтоб кто-нибудь «не тот» (например, я) случайно не просочился на страницы нашей советской печати — был тогда в ходу такой термин: «просочиться». Ошибка моя была в том, что это второе мое «знание» заслонило в тот момент в моих глазах первое. Это нехорошо, но, с другой стороны, именно с этой стороны мне грозила опасность (потом она даже сработала — на время).

Так что в стане врага я, как и большинство тогдашних «врагов», чувствовал себя только в том смысле, что опасался. И в то же время меня туда манило, как в свой мир. Я ведь не мог не помнить, что мои друзья в Москве, да и я сам до ареста, были не более свободны, чем ребята из карагандинской редакции. Конечно, теперь я больше знал о сути строя. Но ведь и тогда понимал немало. Правда, с ка-

кого-то момента стал это «искренне» оправдывать. Что ж, и эти ребята тоже искренне оправдывают. Не столь глубоко-думно, как я? Но ведь и в Москве далеко не все это делали столь глубокодумно, что не мешало им быть хорошими и любимыми мной людьми. Не помню, с этими ли мыслями я шел тогда в редакцию, но шел, все это зная и чувствуя — для чистоплюйского презрения у меня не было никаких оснований — меня тянуло в свою среду. Я ведь и сам тогда еще не был принципиальным противником строя, только критиком сталинских порядков и лжи, но против пафоса строительства и труда никак не возражал.

Тем не менее мне сейчас следовало быть настороже — мы все были поставлены в такое положение, в котором изначально были запутаны все человеческие коллизии, и самые добропорядочные и потенциально нужные друг другу люди могли оказаться друг для друга опасными: я для них, имея задачу просочиться, они для меня — обязанностью не дать мне это сделать. Все это вместе и составляло фантазмагорию сталинщины. Как видите, хотя оснований для презрения к моим будущим собеседникам у меня не было, основания опасаться их все-таки были.

Но не идти уже не мог. Малодушие это или не малодушие — было мне уже невыносимо и дальше оставаться выше своего непечатанья, надо было себя проверить. И куда мне было деваться — стихотворение-то «по случаю» я уже написал, а оно не имело для меня никакого смысла, помимо того, чтобы быть напечатанным.

Редакция помещалась в небольшом одноэтажном доме в Большой Михайловке, рядом с Новым городом, вход был со двора. Я решительно толкнул входную дверь, прошел через тамбур и оказался в комнате, где сидело несколько молодых мужчин и женщин. С наигранной робостью человека, впервые попавшего в столь высокие и таинственные сферы (где, подумать только, *печатают газету!*), я спросил, кому здесь можно показать стихи. Меня направили к художавой женщине с добрым лицом — так я впервые познакомился с Ирой Лиховской, которая, собственно, вернула меня если не в литературу, то все-таки к какому-то подобию профессионального общения.

Но все это было впереди. Пока же она — похоже, она сидела в другой, отдельной комнате — углубилась в чтение

стихов очередного графомана, «чайника», как потом говорили в Москве... Естественно, без особой охоты, кому такое может понравиться — но добросовестно, как требовала должность. Я сидел с невинным видом. В том, что стихи должны ее удивить, я не сомневался. Стихи эти все же были на столичном уровне — в журналах тогда за случайными исключениями печатали не более существенные. И ей эти стихи понравились. Кстати, я тогда не понимал, что мне повезло — ошалевшие от малограмотного «самотека», а часто и сами не сильно разбирающиеся в предмете редакционные работники, не вникая, отметили все, что их отвлекало от дела с порога — да и чего можно было ждать от какого-то студента техникума! Но Ира разницу увидела.

— Стихи хорошие, — улыбнулась она и спросила (вполне, впрочем, утвердительно): — Вы, наверно, давно пишете?

Этот простодушно заданный вопрос был для меня, как понимает читатель, наиболее опасен, за ним неминуемо последовали бы другие. Но я оказался «на высоте» — не вышел из образа, ответил в духе принятой роли уверенно и даже хвастливо:

— Давно!.. Года два, не меньше (*а я уже три года отси- дел в связи с тем, что писал!*)

Ира приняла эту браваду за чистую монету, точнее просто не задумалась над моим ответом.

— Хорошо! — заключила она разговор. — Сейчас покажу редактору.

И вышла. Пока все шло по плану. Но торжествовать было рано. Минут через пять-семь Ира вернулась смущенная и сказала, что редактору стихи тоже понравились, но он сказал, что они больше подходят для литературного журнала, а газете в новогодний номер нужны другие — с итогами года, то есть воспевающие наши достижения за отчетный год. Вот такой вышел абшид — перестарался. Но с выводом, что редактор этот был бюрократическим тупицей, не торопитесь. О нем — потом, и все с ним сложней. Я не был польщен (сам эти стихи я ни в грош не ставил), но был ошарашен. Выходило, что и здесь я зря старался. Но решившись ступить на путь греха, сходить с него не солоно хлебавши было уж совсем нелепо. И я спросил — уже деловым тоном:

— А к какому времени вам нужны «итоги»?

Этим вопросом я неосторожно выказывал некоторое знакомство с редакционной «кухней», несколько неожиданное в устах неофита. Но Ира не удивилась, даже не заметила этого — ее огорчала нереальность моего намерения.

— Да что вы? — ужаснулась она. — Теперь уже поздно. Завтра в час дня — крайний срок. Самый крайний. Нереально...

— Ничего, я попробую, — ответил я скромно, не видя при этом в своем намерении ничего несбыточного. И вообще особенно трудного. Оно, конечно, требовало определенного уровня квалификации, но на самом деле исполнение его сложности не представляло. И я приступил к этому исполнению немедленно — как только это стало возможно. То есть когда на ночь глядя общежитие затихло. Но и тогда не в нашей комнате, где я бы мешал ребятам спать, а, так сказать, в холле, за столом дежурного при входе в общежитие. Требуемые стихи про «итоги», «летопись наших побед», я написал часа за два — чеканным напряженным стихом, я бы сказал, «наровчатовским ямбом», хорошо подходившим к случаю (что Наровчатова, разумеется, никак не компрометирует — профанировать можно кого угодно). Стихи излучали пафосную уверенность.

Наверное, помогал мне в этой имитации (как и во многих последующих) опыт моей предрестной «сталинистской» настроенности. Я отчасти выражал как бы самого себя, но такого, каким я был когда-то... Но это уже технико-психологические уловки, к творчеству отношения не имевшие и мной за творчество не принимавшиеся. Но пока речь идет о первом моем опусе такого рода... Так или иначе, назавтра, часов в 11—12, я отнес его в редакцию, он был принят, и на следующий день стихотворение было напечатано.

На ребят из нашей комнаты это произвело оглушающее, почти шоковое впечатление. Конечно, не само стихотворение, а то, что это чудо произошло буквально на их глазах, что они были свидетелями всего процесса. На их глазах стихотворение, так сказать, замысливалось, писалось и написалось ручкой, а теперь обрело форму печатного слова. Велико еще было тогда в стране уважение к такому слову.

Так началась моя локальная литературная деятельность. Правда, перед публикацией неожиданно опять возник вопрос о псевдониме. Возник он вовсе не как условие публика-

ции. От меня никто его не требовал, а сам я после издевательского раскрытия скобок во время антикосмополитской кампании и слышать о нем не хотел и вполне уверенно собирался подписать этот опус своим подлинным именем. И я бы, конечно, сделал это, если бы случайно не встретил на улице Соломона Ефимовича. Услышав от меня о моем «успехе», он тут же осведомился, как я собираюсь подписываться. Мой ответ его ужаснул. Он потребовал, чтобы я ни в коем случае этого не делал, а обязательно взял псевдоним. Но не для того, чтобы скрыть еврейское происхождение («Подписывайтесь как угодно, хоть Рабинович!» — кричал он), а для того, чтобы не напоминать о себе как таковом московским гэбистам. Это было разумно, и я внял его увещеваниям. Псевдоним себе выбрал, конечно, не «Рабинович», что в качестве псевдонима выглядело бы нелепым вызовом и как раз привлекло бы ко мне внимание — пусть не в Москве, а здесь, что было не менее опасно, — а нейтральный: Н.Мальвин. Этот странный псевдоним сопровождал меня до самого конца моего пребывания в Караганде. С этого момента моя локальная «литературная» известность начала расти как снежный ком. Конечно, она не имела никакого отношения к той известности, которая у меня была потом (и даже к той, которая была у меня в Москве до ареста), но все же я обрел некоторую профессиональную уверенность, что, наверное, тоже нелишне. Хотя широко применяемый и многое нивелирующий термин «профессионал» я давно уже очень не люблю. Конечно, профессиональные навыки необходимы в каждом деле, но применительно к литературе А.Т.Твардовский однажды вполне справедливо назвал их «малыми секретами ремесла». Отрицать их необходимость нелепо, но в двадцатом веке ими весьма часто пытались подменить большие тайны творчества. По разным причинам. Прежде всего потому, что эти тайны вообще менее уловимы, то есть менее доступны для освоения. Можно их и не заметить — заниматься всю жизнь литературой, и не подозревая об их существовании. А уж в такие эпохи, как описываемая, мало что к этому постижению и располагает. Ибо так или иначе это постижение «больших тайн» связано с проявлением самосознания, а такое не поощрялось ни в какой форме. И многие, даже неглупые люди занимались сакрализацией этих малых секретов, стрем-

лением представить их даже перед самим собой большими и главными, а себя без тягостного риска причастными к высокому. На сакрализации этих секретов жила почти вся тогдашняя «лучшая» литература. Если встречалось в каком-либо произведении что-либо слишком свое, даже если оно и не пахло крамолой, это чаще всего инстинктивно вычеркивалось «чуткими к времени» редакторами, выполнявшими роль цензоров. Стихи, которые я тогда писал и печатал, были реализацией (и малодушным доказательством мне самому) моего овладения этими «малыми секретами». То есть, как я и теперь полагаю, были на уровне этой тогдашней «хорошей» литературы (об исключениях вроде Твардовского или даже Симонова я не говорю, да и они были больше связаны с войной), но сакрализации я никакой не допускал. Мысленно составляя для себя в декабре список написанного за год, такую свою печатную продукцию я просто не учитывал. Она была фактом моей биографии, а не творчества. Мне надо было получить доказательство, что я умею. И я их получил. В основном такие стихи были нейтральны по отношению к тому, что я думал, просто в них для меня (а значит, и для других) не было никакой необходимости. Но однажды (уже в «Социалистической Караганде») я зарифмовал речь Сталина на XIX съезде КПСС, отнесся к этому как к экзерсису — прельстила сложность задачи. Цинизм все это? Не знаю. Но мимикрия точно. Но какой был у меня выбор? «Искренне» приспособливать свой внутренний мир к допускаемым нормам было бы хуже — это значило бы потерять самого себя. Цинизм в этом случае был спасительным, антисептическим снадобьем. Я ведь не мог перестать знать и понимать то, что узнал и понял, и все-таки, как почти все молодые люди, нуждался в самоутверждении.

С началом моей «литературной» деятельности круг моих знакомств стал стремительно расти... Конечно, за счет работников редакций двух русских газет, вышедших в Караганде (кроме «Комсомольца Караганды», естественно, была еще и партийная «Социалистическая Караганда», до которой слух обо мне дошел довольно скоро — об этом чуть ниже). Но не только за счет газетчиков. Не в последнюю очередь и за счет молодежи, пробующей свои силы в писательстве, — Ира Лиховская предложила мне посещать лит-

объединение при редакции. Строго говоря, мне нечего было там делать, но, как бы то ни было, собирающихся там объединял интерес к литературе, и я, соскучившись по литературному общению, согласился. Особых впечатлений от посещений у меня не осталось. Помню только, что выступил на первом же собрании и, так сказать, сразу проявил компетентность... Благо стихи в этот вечер читал Петр Гриднев, человек, явно не лишенный поэтической жилки, и было на чем свою застоявшуюся компетентность проявить. С Гридневым — он тогда работал главным бухгалтером областного треста (или управления) совхозов — мы почти сразу подружились. Нас связывала не только любовь к поэзии, но и общее «преступное» прошлое — он отсидел срок по статье 58/10. Может показаться странным, что это не только не помешало занятию им сравнительно высокой должности (впрочем, в Караганде, как уже отмечалось, и не такое бывало), но и не препятствовало появлению его имени в печати. Последнее могло быть только, если его прошлое не было известно окружающим. Так оно и было. Сейчас мне кажется, что ему удалось не только скрыть свое прошлое, но и каким-то хитрым образом даже получить «чистый» паспорт — то есть без коварной приписки к ответу на вопрос: «На основании каких документов выдан паспорт», гласящей «...и статьи 39 (или 38, как у меня) положения о паспортах». Это была каинова печать, удостоверение о жестком ограничении прав. Увидев эту «невинную» приписку, каждый милиционер и каждый кадровик знали, с кем имеет дело и куда его предъявителя не следует «пущать». Так вот этой каиновой печати в Петинем паспорте не было. Но он все равно благоразумно поселился в Караганде, где на общем фоне он вряд ли мог вызвать интерес «компетентных» органов. Дружба моя с Петей Гридневым продолжалась до самой моей эмиграции, он навещал меня и в Москве. Правда, тут же погружался в чтение самиздата и тамиздата, которого у меня всегда было много.

Познакомился я в литобъединении и тоже подружился с человеком по фамилии, похожей на Бальтерманц. Он работал где-то диспетчером. Писателем он не только не был, но даже не ощущал себя. Однако был при этом способным очеркистом. Примерно в это время, то есть году в 1952-м, еще при Сталине, он написал и напечатал разоблачитель-

ный материал о каком-то офицере МГБ — разумеется, не о его делах по службе, а о его «недостойном члена партии, офицера и чекиста» поведении в быту. В чем заключалось это «поведение», я теперь уже не помню, но помню, что оно было уж каким-то очень гнусным. Но дело не в этом — отрицательные материалы о работниках МГБ тогда вообще не допускались. Еще строже, чем о партийных функционерах. В любой момент эта публикация могла быть выдана начальством этого офицера за «попытку дискредитации наших славных органов» и дорого обойтись и автору, и редактору (согласитесь, этот эпизод кое-что говорит и о редакторе). Но обошлось. Газета в рубрике «По следам наших выступлений» напечатала ответ, что факты подтвердились и меры приняты. Как будто речь шла о рядовом советском учреждении. Видно, уж очень гнусен был этот офицер и в глазах своих сослуживцев.

С этим «Бальтерманцем» отношения у нас были не очень тесные, но вполне доверительные. И мое доверие ничем и никогда не было обмануто. Но оно послужило причиной того, что однажды, придя к нему в гости, я попал в очень затруднительное, чтоб не сказать рискованное, положение. Он познакомил меня со своей соседкой, инженером, киевлянкой, украинкой, обаятельной и сильной женщиной, успешно делавшей вполне достойную карьеру. Она была немногим старше меня, но в то время была уже главным инженером не то какой-то крупной шахты, не то даже целого треста и, судя по всему, с работой вполне справлялась... Не было в ней и тени антисемитизма, который тогда в аппарате понемногу становился критерием идеологической выдержанности. Все это способствовало тому, что я потерял бдительность. И стал рассказывать все, что знал — о жизни, о том, как Сталин узурпировал революцию и уничтожил настоящих революционеров-коммунистов, по общему тогдашнему убеждению многих — цвет человечества. Констатации мои были правильны, понимание произошедшего с Россией и система ценностей, с точки зрения сегодняшнего моего восприятия — идиотскими, но в тогдашних обстоятельствах и то и другое было не только серьезным приближением к пониманию реальности, но в связи с этим и крайним и жестоко наказуемым вольнодумством, а и просто, узнав все это, человек терял гармоничные вза-

имоотношения с окружающим. И она оказала мне бешеное, я бы даже сказал, свирепое сопротивление. Так что, уйдя, я стал бояться, что она донесет. Просто из иррационального страха — вдруг узнают, что она слышала такое и не донесла. Хотя «узнать» было неоткуда — Бальтерманцу она доверяла, а мне на себя доносить тоже вроде не было смысла... Да ведь страх сильнее логики. Но она не донесла. Только взамен потребовала (как дня через два сообщил мне Бальтерманц), чтоб я больше никогда не появлялся в их квартире. Через несколько месяцев умер Сталин, но эту женщину я больше никогда не видел. Да и Бальтерманца скоро потерял из виду: такова жизнь — закрутила, хотя ничего против него никогда не имел. И к этой женщине никакого зла никогда не питал и не питаю. Подлости она не совершила, а остальное — ее дело! И чем дальше, тем больше я уверен, что главным, что определяло ее поведение, была не боязнь наказания и неприятностей. Просто в те годы даже в глубине души было страшно приближаться к истине, сущность которой если не знали, то подозревали почти все!

Из членов этого объединения мне надо отметить Михаила Бродского, с которым я тоже поддерживал отношения и после Караганды... Потом он тоже учился в нашем техникуме. Он обожал все, связанное с литературной деятельностью, и был в этом очень трогателен. Попал он в эти места еще до войны — его отец был сослан не то в Щучинск, не то в Каркаралинск и там забыт, что спасло его от ГУЛАГа или даже от пули. В Караганде все было связано с историей.

Но я отвлекся от разговора о своем первом «выходе в свет». Остановился я на том, что проявил компетентность при разборе стихов Петра Гриднева. Эта компетентность была замечена всеми присутствующими. И хотя я отнюдь не преувеличивал масштабы этого «достижения», оно пошло мне на пользу. Я снова был в своем образе, в своей силе и летел домой в общежитие как на крыльях. Перемена во мне была замечена всеми. И неудивительно. Ведь вообще, несмотря на то что в техникуме ко мне относились хорошо, все равно необходимость все время вести не свою жизнь меня подавляла, и обычно я, несмотря на свои двадцать семь лет, выглядел вялым стариком (фотографии сохранились), а тут это как рукой сняло. Я побывал там, где меня воспринима-

ли адекватно моему представлению о себе. Я как бы побывал хоть недалеко, но все же за шлагбаумом, перегородившим мои пути.

Однако вернемся к сюжету. Хоть уже говорил, что слух обо мне дошел и до главной, то есть партийной газеты (об этом чуть позже), но сначала я, естественно, подвизался в комсомольской, которая меня «открыла». И очень скоро познакомился и как-то даже подружился с ее редактором — с тем самым, который не пропустил мое «лирическое» стихотворение. Я многим обязан этому человеку... Но вот беда, — фамилию его я хорошо помню — Гусев, а вот имя-отчество я, к стыду своему, забыл. Кажется, Виктор Владимирович, но уверенности нет. А ведь обращался я к нему именно по имени-отчеству! Видимо, в дальнейшем, рассказывая о нем, мне придется имени-отчества избегать. С самого начала этот человек принимал во мне живейшее участие. И что самое главное, это продолжалось и тогда, когда мое «преступное прошлое» внезапно (по моей же глупости) обнаружилось. То есть обнаружилось, что я его коварно обманул.

Этому предшествовало следующее. Некоторое время я ограничивал свою деятельность «Комсомольцем Караганды», а в «Социалистическую Караганду» и не совался. Но в редакцию был назначен новый редактор, Федор Федорович Боярский, личность яркая и интересная, о которой я еще буду говорить... Пока же для нас важно только то, что он решил устроить нечто вроде смотра сил местной литературной самодеятельности, и вместе с другими был на этот смотр приглашен и я... Так я впервые попал в редакцию этой газеты, стал там печататься и стал как бы своим. Это меня и подвело.

Однажды с одним из работников этой газеты, личностью нравственно весьма колоритной, мы зашли в гостиничный ресторан — один из двух в Новом городе, посидели, выпили, возник сердечный разговор, и я разоткровенничался, рассказал о себе. На другое утро он не преминул сообщить эту важную новость редактору. Думаю, что и редактор, насколько я его потом узнал, скорее всего, и сам об этом догадывался — да и как еще объяснить мое появление в Караганде, да еще в Горном техникуме? Догадывался, но не доискивался и доискиваться бы не стал. Но раз

поступил сигнал, не оставалось ничего другого, кроме как «проявить бдительность». И меня от печатания отлучили... Не помню, чтоб я очень из-за этого страдал — то, что оно должно было мне дать, оно уже дало. А то, что это печатание и краем не задело моего подлинного творчества, так это и не планировалось. Да и продлилось мое отлучение недолго — через несколько месяцев нашими молитвами (помните тост: «каб сдох»?) Сталин под облегченный вздох своих соратников умер.

Но несколько месяцев при тоталитаризме только издали кажутся малым сроком, а когда находишься внутри них, они тянутся долго. Ибо каждый день, если не так повернешься, может оказаться для тебя роковым. Тем не менее Ира Лиховская, когда я к ней пришел, встретила меня очень приветливо, а когда я ей открыл свой секрет Полишинеля, сказала, что давно это знает. И более того, сказала, что меня хочет видеть редактор. И редактор — все-таки лицо номенклатурное и ничуть не оппозиционер — принял меня, как всегда. Посочувствовал и сказал, что теперь, к сожалению, газета моих стихов печатать не сможет, но чтоб я не прекращал своего сотрудничества с ней — сатирические стихи, подписи под карикатурами и т.п. газета все-таки будет, — просто мне придется найти другой псевдоним. Это было мужественное решение. Ведь кроме того, что я был «в прошлом репрессированным», то есть человеком, по отношению к которому следует проявлять повышенную бдительность, я был еще евреем, что тогда, в преддверии «дела врачей», усугубило бы положение Гусева, если бы «все раскрылось». Покрывать такого, дважды клейменного, человека номенклатурному лицу было противопоказано, грозило бедами.

Повторяю — через несколько месяцев проблема эта перестала существовать, опасность миновала, но кто знал, что так будет? Впереди был мрак, и просвета не было видно... Конечно, ощущение Ольги Львовны, что такое состояние общества идет к концу, потому что все находятся в противоестественных положениях и позах, как приткнувшиеся на вокзале, и долго так продолжаться не может, было верным. Могу даже предположить, что так ощущали многие, но не все это сознавали. Но чувствовать противоестественную духоту еще не значит знать, что она кончится,

тем более скоро. Да и сама Ольга не предполагала, что сроки столь близки. А Гусев, приходя мне на помощь, и не думал о таких материях. Он мог из-за этого все потерять в любой из оставшихся дней. Тем более что он, как и все мы, не мог знать, что они — «оставшиеся». И все же так поступил. И я никогда этого не забуду. Причудливо проявлялось и мужество в те патологические годы.

Конечно, меня, и его, и многих других сближала вера в настоящий коммунизм, в нечто подлинное — по мнению одних, поправное, по мнению других, усложненное, — что лежало или должно было лежать в основе нашей жизни. И от этого — подспудная симпатия к невинно пострадавшим за это, может, даже сохранившим это в чистоте. От этого тогда не были свободны многие, в том числе, по старой памяти, некоторые номенклатурные, в ком сохранилась память о собственной духовности — других ее форм и они не знали. Так или иначе, а решился смягчить мое положение один Гусев. И я продолжал сотрудничать в газете даже после начала истерической антисемитской кампании по поводу «дела врачей».

Я подошел к этому эпизоду нашей истории и моей жизни. Но говорить здесь о самом этом «деле» нет нужды — об этом написано достаточно свидетельств и исследований. Возможно, близятся времена, когда эти свидетельства и исследования поставят под сомнение — человечество дичает, — но если это произойдет, я не завидую тем, кто будет тогда жить, каким бы ни было их этническое происхождение. Но пока не наступили эти времена, помолимся за то, чтобы этого не случилось и дальше, но доказывать ничего не будем. Это и так ясно. Я же буду касаться этого «дела» только в связи с пережитым лично мной.

Я хорошо помню 13 января 1953 года — день, когда было опубликовано официальное сообщение о раскрытии преступлений банды гнусных врачей-отравителей. Согласно сообщению, банда эта состояла в основном из евреев. Все они были агентами еврейской националистической сионистской организации «Джойнт», которая является филиалом американской разведки. По-видимому, я услышал это сообщение дома по репродуктору или в чьем-то пересказе. Во всяком случае, когда я вышел из дома (я тогда уже был женат и жил на квартире в Большой Михайловке; хотя для

удобства занятий сохранял свое место в общежитии), я уже знал об этом и спешил в город, где у редакции «Социалистической Караганды» стоял стенд с этой газетой — чтобы самому увидеть и убедиться в свершившемся. У стенда уже кто-то стоял. Когда я подошел, он повернулся ко мне лицом (лицо оказалось еврейским), ничего не сказал и опять погрузился в чтение. Я сделал то же самое. Ничего не сказал: говорить с незнакомыми было опасно, да и что было говорить? И так или иначе я убедился, все подтвердилось. Конечно, не то, что врачи — отравители, а что такое сообщение — свершившийся факт. Кроме того, я узнал еще одну подробность: что лучший еврейский актер и режиссер Солломон Михоэлс — американский шпион, агент этого самого «Джойнта». Это озадачивало. Не так давно Михоэлс был убит неизвестными злоумышленниками и похоронен с почетом и уважением — как подобает. О странностях, связанных с этими похоронами, и о том, что семья его все это время жила под гэбистским «колпаком», другими словами, что его убило ГБ по приказу Сталина, я, конечно, тогда ничего не знал. Михоэлс, согласно сообщению, передавал инструкции «Джойнта» (кого когда умерщвлять) своему брату, профессору Вовси, для исполнения. И тот распределял роли и исполнял. Вот как все было просто...

Я был потрясен и подавлен, но не удивлен. Вопрос о том, верить мне всей этой чуши или нет, предо мной ни на миг не вставал. И не только потому, что верить подобным разоблачениям я уже давно разучился, и не только потому, что все было шито белыми нитками и выглядело фантастически неправдоподобно (из-за чего часто еще больше действовало на простодушное воображение, но это другая тема). Не только. Кроме всего этого, я был еще лучше, чем многие окружающие, подготовлен к тому, что сейчас происходило. Я сравнительно давно понимал, да и просто знал, что Сталин подбирается если не точно к этому, то к чему-то подобному — к какому-то антисемитскому взрыву. Сначала испытал борьбу с космополитизмом, но широкие массы дела театральных или иных критиков не волновали. Потом взялся круче — дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), к которому присобачили работников Автозавода имени Сталина (потом Лихачева). Поползли гнусные слушки. Они поражали своей сказочной фантастичностью, но

дело касалось высокой политики, заоблачных сфер (присвоение и передача Америке Крыма). Тут можно было поразиться наглости, матюкнуться, но никак не взволноваться, ибо вообразить себе это было невозможно. Дошли, если помните, эти слухи и до моего калужского квартирохозяина Леши, но он поражался только глупости тех, кто взялся за такое дело, чем был задет. Дело провалилось. То есть кончилось тайным приговором и расстрелами невинных, но пропагандистского значения не имело — дальше слухов дело не пошло. Но работа шла, и давление нагнеталось... Процент евреев среди арестованных по политическим статьям непрерывно рос. В основном это были видные представители интеллигенции — среди высокой бюрократии их уже почти не было. И по другим статьям еврею загреметь при прочих равных было тогда проще — еврейское происхождение стало отягчающим обстоятельством. В последнее мое пребывание в Москве заговорили об арестах среди видных профессоров-врачей. Это было странно — таких людей обычно не трогали. Разве что под сурдинку в общем порядке, независимо от профессии. Или для других целей (профессора Плетнев и Ленин на бухаринском процессе), а тут вроде сеть специально натянули для них. Непонятно было, к чему это... Теперь разъяснилось...

Я купил газету и зашел в общежитие. Наша комната бурлила от возмущения. «Вот гады! Чего им было мало! Смотри, что делали!» И такое: «А высылают немцев — вот кого надо высылать». И тут произошло то, о чем я уже писал. Я сказал:

— Ребята, все это неправда. Я знаю. К этому давно шло.

В комнате в тот момент было человек десять или чуть больше — были не только мои товарищи по комнате, но и зашедшие к ним по каким-то делам. Говорить такое при таком стечении народа было крайне опасно. Но я в тот момент был слишком оскорблен, взволнован, чтоб думать об этом. Да и что меня могло теперь спасти? — мне теперь было все равно.

Ребята замолчали. Не думаю, что со мной согласились, но я почувствовал, что мне сочувствуют. Не моим словам, а моей беде, которой для них объяснялись мои слова. Ведь они понимали, что я (в отличие от этих извергов) никого не отравлял, не имел никаких дел с этим таинственным и

зловещим «Джойнтом»*, но под сурдинку могу и пострадать. А как страдают под сурдинку большинство, если не все, кто слышал мои слова, знали. И как я уже писал, никто — несмотря на возмущение «убийцами в белых халатах», не донес все эти долгих 82 дня — от 13 января до 4 апреля, когда было объявлено, что врачи невиновны.

А дни были долгими — даже в Караганде, где народ жил «грамотный», многим словам знавший цену. Надо сказать, что на этот раз великий провокатор попал в точку. Можно вовсе не быть антисемитом, но если тебе официально сообщают, что доктор, которому ты доверяешь, может оказаться отравителем, — взвоешь... Да и каким надо быть гадом, какую ненависть к людям или к народу надо питать, чтоб, будучи врачом, травить людей! Естественно, что ребята возмущались. Между тем хулу возводили на все врачебное сословие. Врачам-евреям стало работать просто невмоготу — больные боялись принимать назначенные им лекарства. Но в списке отравителей значились и русские фамилии — Виноградов, Егоров, Майоров, Василенко (они, в отличие от врачей-евреев работали не на американскую разведку, а на английскую). Я считал, что их употребляли исключительно для камуфляжа — дескать, мы боремся не с евреями, а с подлецами вообще — такие безжалостные камуфляжи были вполне в духе «сталинской заботы о людях». Но, как потом я узнал, все было наоборот. Именно с этих людей, вызвавших по разным причинам гнев и подозрения Сталина (его не устраивал неутешительный диагноз), МГБ и занялось врачами. Просто потом, в духе того времени и намерений Сталина, евреев присоединил и придал всему «делу» антиеврейский характер догадливый Рюмин — знал, что вождь копает в этом направлении. Но приводило это к тому, что люди иногда относились с подозрением и к врачам вообще — пациенту все равно, американским или английским шпионом окажется врач, который его погубит. Но истерия, ежедневно и ежечасно раздуваемая газетами и радио, была прежде всего антисемитской, и

* По иронии судьбы дела с этим «Джойнтом» я все-таки имел. В начале эмиграции. «Джойнт», естественно, не филиал ЦРУ, а благотворительная еврейская организация. Кстати, даже не сионистская, ибо помогает евреям, которые НЕ едут в Израиль, сиречь в Сион. В частности, она опекала нас в Вене и в Риме — давала деньги на пропитание и жилье.

страшнее всего было в те дни быть врачом-евреем. Я это испытал на себе, хотя и не имел никакого отношения к медицине.

Имела отношение к медицине моя первая жена, Валентина Голяк — она была врачом. Основной ее должностью была — заведующая лабораторией, но по совместительству на полставки она работала в круглосуточных яслях. И не в простых, а куда из больниц привозили младенцев после дизентерии, то есть ослабленных болезнью и восприимчивых к инфекции. Младенца, о котором пойдет речь, привезли под вечер, когда Валя уже ушла, и в состоянии, в котором выписывать его из больницы, по-видимому, было преждевременно. Во всяком случае, почти сразу после прибытия обнаружилось, что младенец серьезно заболевает, — дизентерия, уйдя, оставила осложнение, как потом показало вскрытие, в виде острой скоротечной пневмонии. К утру ребенок умер. Факт прискорбный, оставляющий горький осадок (с чем неизбежно связана работа любого врача), но никак не чреватый юридическими последствиями. Тем более что, по мнению компетентных врачей, случай с самого начала был безнадежным, а Валя вообще узнала об этом младенце и его смерти только на следующий день, когда пришла на работу. Узнать же об этом раньше она никак не могла — о такой привилегии, как телефон, рядовые врачи тогда и мечтать не могли. Ее никто ни в чем и не обвинял. Так что нам вроде оставалось только успокоиться и жить дальше. Дело это действительно никакого развития не получило... Но в каждой газете, в каждой радиопередаче шла травля — «разоблачали», «вытаскивали за ушко на солнышко» таких, как она, — и не с более вескими основаниями!

Например, в «Социалистической Караганде» появился фельетон «33 Поляковых». Написал его скромный милый человек, которого я знал и который всегда производил на меня приятное впечатление (фамилию его я забыл). Суть этого фельетона была нехитрой. В ОРСе одного из угольных трестов «окопалось» или «свило себе гнездо» (именно такие выражения тогда были в ходу) 33 еврея, связанных между собой родственными узами. Больше ничего о них не сообщалось. По форме это соответствовало ведущейся тогда «борьбе с семейственностью», но это не было даже фиговым листочком. Главное читалось между строк. ОРСы — отделы ра-

бочего снабжения — были созданы во время войны на оборонных и приравненных к ним предприятиях для закрытого снабжения. Они ведали всеми магазинами и столовыми в округе и, естественно, популярностью не пользовались. Расчет был на память об этой непопулярности и на устойчивый стереотип: «Люди работают, а евреи при торговле жируют». И то, что в описываемое время эти ОРСы превратились в обычные торговые организации, не меняло отношения к стереотипу, подстрекало. Я вовсе не утверждаю, что все эти «поляковы» были ангельски чисты (советская торговля — блудная дочь советской системы распределения, и чистые люди типа симского Михаила Сергеевича Быкова там встречались редко), но никаких махинаций фельетон не раскрывал. Доказательство их порочности компенсировал список экзотических имен типа Сруль (Израиль), Хаим и т.п., перемежаемый издевательскими комментариями. Забавно, что после отмены «дела врачей» Поляковы всем составом несколько дней подряд являлись в редакцию требовать сатисфакции. Сатисфакцию они получили, газета напечатала опровержение — оказалось, что большинство из них не только не Поляковы, но даже не родственники. А больше их ни в чем не обвиняли... Когда это произошло, незадачливый автор фельетона уехал из города — видимо, от стыда подальше. Не думаю, чтобы он был патологическим антисемитом, а просто журналистом сталинской эпохи — надо было написать фельетон «на тему», и написал, а материала не было — высосал из пальца. Кто ж его знал, что так повернется. Если бы не повернулось, никто бы и внимания на эту несурезицу не обратил. А он, как и мы, не знал, что так повернется, и сделал что требовалось.

Много ли в обстановке, когда такое «требовалось», то есть в обстановке травли, другими словами, внушаемой и раскручиваемой господствующей истерии, могло значить то, что Валина невиновность очевидна, установлена коллегами, и это зафиксировано? Факты в такой атмосфере не важны — из них вырывается только то, что можно использовать для нужного (то есть ложного) истолкования, для подтверждения внушаемого. А если что — можно ведь и саму авторитетную комиссию к ногтю.

Да что факты? — факты нам тоже подчиняются! У нас кругом факты. Вы разве возьметесь утверждать, что в яслях

не умер ребенок и что врачом в этих яслях не была еврейка? А если взглядеться поближе, обнаружишь, что не просто еврейка, а еще дочь расстрелянного врага народа и жена репрессированного — как же не отравительница! А то, что ребенка она в глаза не видела, что враг народа хоть и расстрелян, но врагом не был, а мужа тоже посадили ни за что — так это, во-первых, скучно, а во-вторых, наказуемо — враждебная пропаганда, лишнее доказательство справедливости обвинения...

Сейчас пронесло. Но пояись первый догадливый стукач, он такую конфетку бы мог из этого сделать, что областное управление МГБ, крайне тогда нуждавшееся во врачах-отравителях (дорога ложка к обеду), его бы в благодарность на курорт отправило. Но, слава Богу, ясли еще не были охвачены профилактической работой ГБ, и такого стукача на месте не оказалось. А ведь мог быть — если не в яслях, то в райздраве, — откуда нам было знать, что не будет. Могла еще выдать свое горе в форме казенного возмущения и мать ребенка — особенно если б ее кто-нибудь надоумил, — и тогда мы тоже тут же сгорели. Дошло бы до ГБ, и машина бы заработала — не остановишь. Но мать ребенка была матерью-одиночкой, ребенок был нежеланным, и главным ее чувством, почти не скрываемым, когда она узнала о своей потере, было чувство избавления. Писать жалобы и кляузничать по этому поводу ей и в голову не приходило. Но могло бы быть иначе. Могла этой матерью оказаться другая женщина, больше опечаленная потерей и при этом более восприимчивая к официальным внушениям. Ее ведь вполне могла осенить «догадливость», а отсюда искреннее возмущение и донос: а что же, молчать ей, если жиды загубили ее ребенка? Ведь точно — загубили и точно — жиды. Откуда нам было знать, что такого не будет?

Но в нашем случае — пронесло. Дней семьдесят из страшных восьмидесяти двух мы прожили без непосредственного страха за себя, несмотря на нагнетаемую истерию, гнет которой мы ощущали все это время, желающих быть душегубами в России было не так много. На моем пути они вообще не встретились. И это естественно — особенно если речь идет о Караганде, поскольку народ здесь, как я уже не раз тут отмечал, жил стреляный.

О техникуме я не говорю — в техникуме и ребята, и преподаватели были со мной в этом отношении очень так-

тичны, даже предупредительны. Я уже не говорю о Вите Берге, который, вернувшись из поездки домой в Осокаровку, отозвал меня в сторону и сказал:

— Знаешь, Наум, тебе надо изо всех сил держаться за техникум. Евреям сейчас будет очень плохо... Я был дома, что там творится!.. Не дай Бог! Держись за техникум, Наум!

Витя был человеком не только добрым, но и разумным, не очень поддающимся внушениям. Кроме того, он был взрослей других и осведомленней тоже — его жена была медиком, кажется врачом, и о вакханалии, творящейся в Осокаровке («а как рвенье дойдет до провинции...» — как пел Ю.Ким), он имел полную информацию... Да и те, кто этой информации не имел, все равно не переносили свое отношение к дальним злодеям на своих знакомых... Одно дело поверить, что где-то там, в Москве, кто-то таинственный с диковинной фамилией Вовси занимается всяким непотребством, а совсем другое — поверить тому, что этим занимается какая-нибудь с детства знакомая Фаня Львовна, неоднократно лечившая, а подчас, может, и спасавшая и тебя, и твоих близких... Да и про недавно знакомого такое представить было трудно. А тем более, насчет меня моим товарищам, живущим со мной рядом.

Мне приходилось слышать, что в других городах, в частности в Москве, обстановка была другой. Иногда такой, что родители-евреи (употребляю этот термин в чисто этническом смысле) опасались отпускать своих детей в школу: там их травили, а то и избивали. Возможно, такое случалось и в Караганде. Дети вообще иногда имеют склонность становиться стаей зверьков, а тут они, разделяя общее возмущение, получали возможность, чувствовали себя при этом выразителями праведного гнева... Но таких случаев в Караганде я не помню, видимо, не слышал о них. Да и далек я был тогда от школы.

Впрочем, если я скажу, что вся интеллигенция в этот навет не верила, я солгу. Большинство, в том числе и евреи, верили. Только традиционно (для советских кроликов) считали распространение немилостей за это на всех остальных евреев самоуправством местных властей. Слишком страшно было осознать, что все исходит от Сталина и ставит перед собой brutally антисемитские цели. Не следует забывать, что это противоречило советскому мировоззрению.

нию, а другого мировоззрения, другой основы жизни и порядка почти никто не знал. Это было бы крушением мира. Да и многим евреям приятнее было думать, что это акция против злодеев, а не против таких, как они.

Конечно, к моим нетехникумовским друзьям это не относилось. Ни Ольга, ни Вава, конечно, не верили в эту чушь ни на йоту и ни одной секунды. Это же относится к Недовесовым, к Ирине Ивановне, к Соломону Ефимовичу, Алику и еще кое к кому — в основном к прошедшим огонь, воду и медные трубы и узнававшим почерк Сталина, как милого по походке. Впрочем, и медные трубы не всегда спасали.

Была у Ольги приятельница по имени Гита, рядовая жертва тридцать седьмого. Во враги народа она угодила с поста секретаря, а то и просто члена парткома одной из киевских швейных фабрик. Женщина она была добрая, думаю, что во времена ее «комиссарства» среди швей она большого вреда не приносила — вероятно, наоборот, даже стремилась помочь чем могла работавшим там «пролетаркам». Впрочем, не знаю, вдруг она принимала участие в решении каких-либо общих технических вопросов — тогда не ручаюсь, все могло быть. Реальность в ее сознании всегда пасовала перед политическими абстракциями. Но вряд ли это сказывалось на ее отношении к «членам пролетарского коллектива». Но задолго до этого, в начале двадцатых, она, как ни странно это при ее местечковом кругозоре, расширенном учебниками политграмоты, была втянута в серьезную политическую деятельность — Гиту послали на партийную работу в Палестину — так сказать, «поднимать восстание в тылу». Это был период, когда руководство РКП(б) занималось стимулированием почему-то замешкавшейся и обманувшей все его расчеты мировой революции. Период этот можно было бы считать романтическим или наивным, если бы работа эта велась на партвзносы, но она велась за государственный счет, то есть в основном на средства, отнятые у беспартийных. Палестина не была ни единственным, ни главным объектом таких забот руководства РКП(б), скорее, попутной — совались куда могли. Но для Гиты это была высшая точка ее взлета. Там они вели борьбу с сионистами, стремившимися строить национальное государство, и вели работу среди наименее грамотных — она

их называла «иеминитами» и говорила, что они были аборигенами. Насколько точно это название, не знаю, ибо «иеминитами» называют выходцев из Йемена, а таких там тогда не было. Но ясно одно — «иеминиты» эти не были выходцами из Европы. Но стимуляция мировой революции не оправдала себя нигде, в Палестине тоже. И Гиту отозвали. И остались у нее в памяти сладкие воспоминания молодости, наполненной пафосом борьбы, которую она вела с врагами мировой революции — сионистами и их организациями в Палестине и застарелая неприязнь к их названиям. Поэтому известие о «деле врачей» она — уже отсидевшая много лет по облыжному обвинению и теперь после него получившая вечную ссылку — встретила если не с восторгом, то с удовлетворением. Она знала, что сионисты бывают, что они плохие, ибо выступали против нас. Что есть и «Джойнт», мы с ним тоже боролись — это тоже их агентура*. И поверить про них она могла всему — даже что они отравляют людей. Более того, когда я встретил ее 4 апреля и сказал ей, что врачи реабилитированы, она была огорчена:

— Как же так? Не может быть... Мы же с сионистами боролись.

Как будто из того, что она с ними боролась, следовало, что они могут массами отравлять людей. Впрочем, про врагов что ни говори и ни думай, все правда, все равно они преграждают дорогу к светлому будущему. То, что эти врачи были настолько же сионистами, насколько она сама была тем, в чем ее обвиняли, — ей в голову не приходило. Рассказ о ней говорит главным образом не о тогдашней свистопляске, о нашей истории — о простой душе, всесторонне ушибленной большевизмом и так никогда не оправившейся от этого. Таких было тогда не так мало, и отнюдь не только евреев. А ведь Гита была доброй женщиной.

Впрочем, в ее словах звучала не реакция на жизнь, а трубы ее молодости. Но вот жили-были четыре Валины подруги, молодых врача, недавно окончивших мединституты, жили вместе — им была на четверых выделена в качестве общежития одна комната в здании облздравотдела (тогда

* Последнее вообще странно. «Джойнт» не имеет никакого отношения к сионизму. Но, может, тогда имел — помогал иммигрантам материально, чем ублачивал классовое сознание? Не знаю.

это не воспринималось как лишение). По крайней мере две из них были еврейками. Никакие трубы ни в ком из них не звучали — во всяком случае, не больше, чем в большинстве их сверстников... Некоторые из них окончили московские институты, то есть учились у нынешних «отравителей», остальные — по их книгам. Ведь все эти отравители были светилами советской медицины.

Когда в один из черных дней середины января я зашел к ним в гости, я застал их тихими и растерянными.

— Что же нам делать? — спросила одна из них. — Ведь все это наши учителя. А если они вредители, и давно, значит, все их лекции и все наши учебники тоже вредительские. Как же нам лечить? Ничего не понимаю.

В ее словах не был никакой иронии, только растерянность и озабоченность. Остальные сочувственно молчали — их это тоже заботило. Нет, они не были слишком наивны. О некоторой дискриминации евреев они знали. А кто не знал, столкнулся при распределении. Может, и в Караганду кое-кто из них попал из-за этой дискриминации — из Москвы ведь она представлялась плохим распределением (хотя, помоему, таковым не была). Но это воспринималось ими как «перегиб», то есть самоуправство чиновников (обычное утешение советского человека в те годы), они, конечно, знали, что газеты и радио не всегда пишут правду, что не обо всем вообще можно писать — из политических соображений, а к таким соображениям у нас привыкли относиться уважительно. Короче, в целом они привыкли доверять своему правительству. И поверить в то, что есть какие-то сионисты, еврейские националисты, которые, как «националисты всех мастей», ведут себя плохо, им было несложно: так мы все были воспитаны. Но камнем преткновения вставала профессия. Если читатель помнит, у меня так тоже было — я соглашался подвести солидную базу под антикосмополитскую кампанию — помешало ясное представление о действующих лицах. Они не были столь решительны (или, может быть, столь идеологичны), как я. Поверить в то, из чего я изначально исходил, — что в таком правительственном сообщении все от начала и до конца ложь и что за всем этим стоит сам Сталин, они были не в состоянии. Это было слишком страшно.

Нет, они не боялись ни меня, ни друг друга. Представление о всеобщем стукачестве и недоверии людей друг к

другу вообще преувеличено. Я, например, «подзалетел», но не потому, что кто-то обманул мое доверие. Потом я многим доверял, но ничего плохого за этим не следовало. Отношения у меня с этими Валиными приятельницами были вполне доверительными, дружескими. Страшно было не от недоверия, страшно было жить, зная такое про жизнь. Когда я им стал объяснять, что происходит, они меня выслушали внимательно и даже благодарно. Думаю, что в моих словах они слышали то, о чем уже сами смутно и робко догадывались, но боялись догадаться. Они все равно не согласились, но сомнение в качестве полученных ими от «вредителей» знаний, как мне показалось, перестало их мучить. Впрочем, другого выхода и не было.

Подыхающий вождь об остающейся после него жизни вообще не думал — сводил свои счета, давние и только возникшие... Также не подумал он — что же теперь, при введенном им порядке, делать всей несчастной советской медицине? Ведь по этому порядку книги «разоблаченных» авторов запрещались не столько из-за своего содержания, сколько из-за того, что они воскрешали фамилии авторов, подлежащие забвению. А в результате «дела врачей» попали под запрет главные медицинские книги и пособия, без которых не может обойтись ни студент, ни практикующий врач. Да и все, чему они учили, вдруг становилось подозрительным. Впрочем, Сталину этот вопрос вряд ли казался сложным — он, вероятно, твердо верил, что путем государственной фальсификации можно выйти из любого положения. Объявили бы этих ученых злостными плагиаторами, труды их присвоили бы или пересказали предприимчивые люди — и колесо через некоторое время опять бы завертелось. Не было бы только живого присутствия этих ученых, их опыта, их привычки мыслить, которые передаются не только логически, но и как-то индуктивно. Со временем и это компенсировалось бы — Россия, как говорит моя жена, страна плодородная. Но как было жить медицине до этого времени и как бы он поладил с этими новыми светилами, если бы дожил до них? Они бы тоже не смогли обеспечить ему земного бессмертия.

Ярость Сталина на халатность врачей, злонамеренно не желавших обеспечить ему беспредельное долголетие и безграничное продление «срока годности» (то есть сохранение

прежней трудоспособности), хоть и послужила толчком к началу этого «дела», была тогда только дворцовой тайной. Но антисемитская направленность этого «дела», то, что оно использовалось для натравливания остального населения на евреев, было видно невооруженным глазом. К сожалению, глаз у многих порядочных и хороших советских людей был вооруженным. Причем иногда именно у тех, кто искал истину. Не следует забывать, что все мы искали истину в пределах большевизма, а большевизм предполагает хитрые, запутанные, заговорщицкие пути к достижению невероятно чистой, светлой и осмысленной жизни, к раю на Земле... Это в значительной степени обессиливало сопротивление сталинщине. Но ни с какими национальными фобиями он не вязался. И если антинемецкую пропаганду такие люди, вовсе не склонные к шовинизму, могли еще списать на потребности войны, то подвести легальную большевистскую базу под антисемитизм было уж совсем невозможно. Его можно было только отрицать.

Однажды в общежитии я встретился с бывшим нашим студентом, только недавно получившим диплом (он был старше курсом) и уже работавшим на шахте на штатной должности... Особой близости между нами не было — было некое расположение друг к другу, при встречах приветливо здоровались. Теперь разговорились. В техникуме он был фигурой заметной, и имя его я помню — звали его Виктор Подлубный.

Сначала мы поговорили о его работе. Мне было интересно, как он устроился и как работает — все же наш, студент, свой. Оказалось, что горным мастером, не то в лаве, не то на проходке — начальником смены. Конечно, я примерял это все к себе, но делал это зря — его опыт мне пригодиться не мог. Был он крепким, красивым, уверенным в себе парнем и явно лишенным того технического идиотизма, каким природа столь щедро наделила меня. Слово за слово, оказалось, что он очень интересуется политикой. И даже кое-что читал по этому вопросу.

«Читал!» Мне и теперь унизительно думать об этом его чтении. Чем он вынужден был питать свою мысль, этот живой и стремящийся к истине юноша... Ведь ничего способствующего этому тогда не печаталось, а самиздата или тамиздата тогда не было и в помине. Читал он и принимал

за духовную пищу разъясняющие пропагандистские брошюры Политиздата, предназначенные не для всех, а для агитаторов. Он искренне верил, что с последними разговаривали как со взрослыми и понимающими людьми, доверительно и уважительно, и хотел к этому приобщиться.

Естественно, разговор быстро перешел на то, что было у всех на слуху: на «дело врачей» и антисемитскую вакханалию, связанную с ним. Попутно в разговоре выяснилось, что и сам он отчасти еврей. Впрочем, антисемитскую направленность этой кампании он начисто отрицал, бросая в бой всю свою «эрудицию» (я бы сказал: «антиэрудицию»). Он полагал, что мы, лагерь социализма, противостоям империалистической Америке, как Добро Злу, а многие воротилы Америки, к сожалению, евреи. Он приводил фамилии «воротил» — все они действительно были нерусскими (что еще отнюдь не значит, что еврейскими), и это его убеждало... А какие-то заядлые националисты из наших, добавлял он, их поддерживают. Что ж остается делать нашей власти, как не защищаться? Это борьба против этих гадов, а не против евреев вообще. Глаза его сияли удовлетворенностью от понимания и причастности к тайнам, которыми он, впрочем, готов был делиться со всеми желающими. Вопрос о том, на кой черт американской разведке и этому «Джойнту» заниматься массовыми отравлениями советских людей, ему в голову не приходил. И возражениям он не верил — так же, как не так уж давно я сам защищал таким способом основы своего духовного существования. Он был хорошим и неглупым парнем, а его рассуждения характеризуют не столько его самого, сколько время, когда стремление к духовности оборачивалось такой дикостью основы своего духовного существования.

Между тем (выражение критика Анастасьева) «маразм крепчал». В Караганде это меньше ощущалось, но, судя по газетам и радио, обстановка в стране накалялась. В несчастной стране евреям грозило стать самыми несчастными. Конечно, далеко не все это одобряли. Мне рассказывали, что видный киевский хирург, фамилию которого я не помню, но человек вполне русский, когда ему утром 13 января перед операцией, показали газету с историческим сообщением, прочел ее и прилюдно выразился так:

— Только в нашей стране воинствующего мракобесия еще возможны такие вещи. А теперь моем руки — и в операционную.

Как ни странно, я не только восхищен мужеством этого доктора и его чувством собственного достоинства (и тем, что никто не донес, что тогда было весьма опасно для недоносителя) — я завидую ему. Завидую его «еще» — у меня такой несокрушимой веры в необратимость прогресса давно нет. Слишком многое произошло после этого... Я убедился, что дикость мастерски умеет адаптироваться к прогрессу, и стал подозревать, что она в состоянии даже ассимилировать его.

Были и случаи противоположные. Родственник моих друзей, интеллигентный генерал, дворянин, много и безрезультатно лечившийся, в один из этих страшных дней объявил своей сестре, что теперь понимает причину своих злоключений — вредительство. Та выгнала его из дома. Между тем он не был и не стал антисемитом. Просто он был измучен болезнью, не предвещавшей ему ничего хорошего, и любое рациональное объяснение выглядело утешительней, чем иррациональное несчастье или слепая неизбежность... И он уступил этому соблазну. Товарищ Сталин не понимал, что он в данном случае взрывает, потакая своей мстительности... Любое неустранимое страдание, любой летальный исход, неизбежно связанный с любой медициной (человек, как известно, смертен), можно было бы теперь объяснить злонамеренным вредительством врачей. Это парализовало бы медицину.

Однако про оба эти случая — про хирурга и про генерала — я узнал потом. Вокруг ничего подобного не происходило. Только что-то все время над нами нависало, неотвратимое и страшное. Все время, каждый день что-то могло с нами случиться, и к этому шло. Мы все могли в любой день оказаться в лагере, в ссылке, в болоте, на плахе — где угодно. К этому у таких, как я, прибавлялось другое — психологическая драма. От меня отрывали Россию, противопоставляли меня ей. Я сопротивлялся как мог. Вот мое стихотворение тех дней, которое я обычно не печатаю, ибо оно и несовершенно, и слишком связано с моментом:

РОССИИ

(по поводу «процесса врачей»)

Твой свет во мраке был рожден.
Во мраке выращен. Взледеян.
Мрак наступающих времен
Не может быть его сильнее.

Пусть грязь и ложь царят опять,
Но каждый раз я повторяю:
Тебе ко тьме не привыкать,
И света ты не потеряешь.

Впрочем, было у меня стихотворение и более обобщенное, которое я при случае напечатаю:

* * *

Может, гибнуть за решеткой
Нет за что в кромешной мгле.
Может, нынче правды четкой
Просто нету на земле?

Чтоб не стать усталым зверем,
Чтобы выжить... Будь теперь
Хоть нечетким правдам верен —
Сердцу собственному верь.

Все это были попытки вырваться из того смутного и тревожного состояния, в котором я пребывал. Но, что бы я ни писал, время шло и приближало страшный конец, о котором лучше было не думать. И я не думал, но веселей от этого не становилось. И вдруг однажды утром, в самом начале марта, я услышал по радио сообщение, что Сталин болен. Для нормального слуха тут нет ничего сверхъестественного. Все время от времени болеют. Надо полагать, и Сталин болел не в первый раз за время нахождения на троне. Но до сих пор нам о состоянии его здоровья не сообщали — у небожителей не бывает состояния здоровья. А теперь вот сообщили. Возникло подозрение, что великий вождь умирает. Потом несколько дней по радио читали высокоученые бюллетени о его болезни и, наконец, 6 марта утром скорбным голосом сообщили, что вождь умер.

В дни его болезни ничего особенного не происходило — все шло как всегда. Правда, у меня на душе от мысли, что Сталин умирает, становилось еще тревожней.

Удивляетесь? Да, я ненавидел Сталина — давно и прочно. И остатками своей веры в коммунизм (незадолго до этого у меня родилась строка, так потом никуда и не вошедшая: «Герострат революции — Сталин»), и просто так. Кроме того, я понимал, что за «делом врачей», грозящим мне невероятными унижениями и бедами, стоит лично он, а это для меня тогда было особенно важно. И вдруг — такое... Как будто бы есть чему удивляться. Есть, но только со стороны.

Нет, я отнюдь не потеплел к Сталину и вовсе не смягчился к нему. Чувство тревоги при его болезни у меня было вызвано не этим, а просто страхом. Страхом перед тем, что может начаться в стране после него. То есть перед тем, что могут наделать без присмотра его выдвиненцы последнего «призыва», ни с какими сдерживающими партийными (скажем так — «ленинскими») традициями не связанные и составлявшие теперь примерно три четверти Политбюро. В преддверии предстоящего «процесса врачей» это было особенно страшно (я ведь не знал, что в таком составе Политбюро ни разу не собиралось). Во избежание кривотолков по поводу употребления мной в положительном смысле термина «ленинские», напоминаю, что, во-первых, этот термин тогда для меня значил совсем не то, что сейчас, и что, во-вторых, то, что с ним было для меня связано, было единственным, что тогда и еще долго потом можно было легально и внутренне противопоставить нацистской стихии, легализованной Сталиным и нашедшей свое крайнее выражение в «деле врачей».

Очень хорошо помню похороны Сталина. Разумеется, не сами похороны, — они, как известно, состоялись в Москве, — а трансляцию их по радиорупору (телевидения тогда в Караганде не было). Как и почему я оказался в тот момент на Центральной площади у обкома, никак вспомнить не могу. Наверно, это связано с тем, что она находится на полдороге между общежитием и техникумом. Но так или иначе, оказался — прямо в центре скорбящей толпы. Слышал речи вождей — они поразили меня холодом. Конечно, теперь, зная о том страхе, которого они натерпелись от

него в последние месяцы его жизни, понимаешь, что теплоте было взяться неоткуда, а тогда это меня поразило... Но когда его стали хоронить, помещать в саркофаг, и заиграла музыка, толпа вокруг стала утирать слезы. Карагандинская толпа, где солидный процент составляли пострадавшие от него: раскулаченные, их дети, немцы, не имеющие права на передвижение, просто ссыльные, отсидевшие и как я — все рыдали под эту музыку. И я почувствовал, что тоже плачу. Вместе со всеми.

Из мимикрии? Да нет, в толпе я все равно воспринимался бы плачущим, да и кто на кого глядел? Что ж, за компанию? Но это мне никогда не было свойственно. Я не поддаюсь ни внушению, ни гипнозу и ни на секунду не забывал, какого вурдалака и растлителя хоронят в Москве. И тем не менее слезы мои были искренни. Ибо плакал я не по поводу его смерти, а по поводу всей своей прошедшей жизни. Думаю, что и большая часть тех, кто меня тогда окружал, — тоже... Ведь никакой другой жизни, кроме как при Сталине, я не знал и не видел. Ведь пробуждение моего сознания совпало с началом сталинщины. Все, чем я соблазнялся, чему сопротивлялся, чему противостоял, было связано с этой зловещей фигурой, на разгадку ее примитивной, хоть и страшной и действенной сущности ушло непропорционально много сил и времени. Он узурпировал у «честных большевиков» право единолично вести к мировой гармонии, сломал жизнь миллионов, а теперь, заведя всех в болото, там оставил. И похоронная музыка пела мне про все это. Конечно, все это было в моем случае не так чисто. Я ведь знал, что вождь относился потребительски и к самой большевистской утопии (к ней прежде всего), используя ее только для камуфляжа (что меня, для кого все это еще было свято, тогда больше всего оскорбляло). Знал и помнил даже в тот момент, но искренние всхлипы людей вокруг и эта музыка как бы заглушали это знание. И я плакал.

Это состояние наложило свой отпечаток на мое стихотворение «На смерть Сталина», написанное в день похорон, на следующий или через день — не позже. В нем я отношусь к Сталину гораздо мягче, чем относился на самом деле. Там есть даже восклицание: «Я сам не знаю, злым иль добрым роком / Так много лет он был для наших дней», хотя я прекрасно знал, что злым. Так что ж я, приспосаб-

ливался? К кому? В те дни эти стихи не только бы не напечатали, а могли бы за них и посадить — причем на этот раз не для плана, а по велению души. А кто-то, и не обязательно гэбэшник, мог бы от чистого скорбящего сердца просто морду набить. Ну хотя бы из-за этих же строк. Как так, «не знаю»? Ведь гений и спаситель!.. А тем более из-за двух предшествующих: «Холодный траур. Стиль речей высокий. / Он всех давил и не имел друзей». А в стихотворении ведь и почище есть. Во всяком случае, когда я прочел эти стихи Гусеву, он оценил это как знак доверия. Нет, оно оставалось по тем временам вполне крамольным. А времена эти еще совсем не кончились и никто пока не знал, что кончатся. Нет, приспособленчеством здесь и не пахло. Я рассказываю о том, что стихи эти не совсем точно отражали мое понимание происходящего. Понимал я это все жестче, а написал так. А иначе не мог, что-то (может быть, толпа на площади?) мне не давало это сделать, что-то, через что я не мог перешагнуть. Там и строки такие были: «И лишь народ к нему не посторонний, / Что вместе с ним все время трудно жил». Это как бы ответ на предшествующие всему процитированному строки: «Его хоронят громко и поспешно / Соратники, на гроб кося глаза». Логически говоря, в свете того, что я знал даже тогда, а тем более теперь, в этой ситуации разумней было бы сочувствовать его грешным «соратникам», наконец-то избавившимся от него, но стихотворение против моей воли влекло меня этим путем. Меня это самого смущало, но теперь я несколько не жалею, что уступил ему. Думаю, что я уступил художественному чувству, замыслу, от меня не зависящему. А руководить течением стиха — дело гиблое. Кстати, если насчет Сталина я в этом стихотворении «недобрал» до уровня моего тогдашнего понимания, то в конце стихотворения я «перебрал», вышел за его пределы, за пределы большевизма вообще, выразив надежду, что страна поймет: «Что слепо верить никому не надо / И к правде ложь не может привести». Я говорю здесь не о стихотворении, не о его качествах, оно несколько раз напечатано, и каждый может выработать к нему свое собственное отношение, я говорю о влиянии общего настроения на него. Следовательно, об этом общем (конечно, локальном, характерном для краткого отрезка времени) настроении. А может, и о том, что за ним стояло — о нашей искореженной судьбе.

Дни, последовавшие за этими историческими похородами, как будто ничем знаменательным не отмечены. Угрозу, висящую над нами, никто не рассеивал. Антисемитские фельетоны продолжали появляться, но как будто реже, и не в центральной прессе. Тревога не проходила, но теряла остроту, возможно, просто стала привычной. Но 27 марта грянул Указ Верховного Совета СССР об амнистии.

На первый взгляд, событие это было вполне ординарным. И при жизни Сталина время от времени появлялись такие указы об амнистии. Общей чертой этих амнистий было то, что «политических», то есть сидевших по политическим статьям, они не касались. Как я уже отметил, на первый взгляд, этот указ в этом отношении следовал предыдущим. В одной из первых строк он громогласно объявил, что на ряд статей, в том числе и на «пятьдесят восьмую», амнистия не распространяется. О чем же тут говорить? — вроде все ясно. Настолько ясно, что через много лет не заметил подвоха такой видный историк, как Р.Г.Пихоя. В своем изданном недавно интересном и важном труде «Советский Союз. История власти. 1945—1991» (М.: ВАГС, 1999) он отмечает, что сидевших по политическим статьям этот указ, как и все предыдущие, не касался. Между тем я точно (на собственном опыте — куда точнее!) знаю, что это не так. Касался и коснулся — я, например, по нему освободился от 38-й статьи положения о паспортах.

Впрочем, поначалу я тоже так воспринял, даже иронически хмыкнул: «Ну, конечно!» Но поскольку интерес у меня к этому вопросу был не академический, я вчитался в текст указа внимательней. И нашел то, что искал, точнее, то, что хотел и втайне надеялся найти (что-то, видимо, было в воздухе, что питало эту надежду). Почти уже у самого конца мелким шрифтом сообщалось, что амнистии подлежат все осужденные на срок до пяти лет. Исключения по статьям при этом не оговаривались. Я перечел этот указ несколько раз — упоминания о том, на кого это не распространяется, не было. А это значило, что я могу получить чистый паспорт и жить в Москве. В стране явно что-то менялось. На другой день, захватив свои документы, я зашел в прокуратуру и спросил, распространяется ли на меня амнистия. Молодой прокурор ответил, что да, распространяется. Я обрадовался:

— Значит, я могу сейчас пойти в милицию менять паспорт?

Но оказалось, что для замены паспорта одного указа мало — нужна специальная, разработанная на его основе инструкция, которая придет на днях.

— А как я про это узнаю? — удивился я.

— Наведывайтесь ко мне ежедневно к концу рабочего дня и узнавайте, — любезно предложил он.

И я наведывался. Несколько дней подряд. И каждый раз задавал один и тот же вопрос, получал отрицательный ответ и уходил. Пока однажды под вечер молодой прокурор ответил мне, что инструкция пришла и я могу идти в милицию. Я сказал «спасибо» и бросился бегом в Михайловку. День уже кончался, а мне надо было успеть забежать домой за паспортом, заготовленными фотографиями и справкой об освобождении и поспеть в милицию до закрытия. Собственно, это можно было проделать и завтра, и послезавтра, от этого ничего не зависело, но мне не терпелось. Милиция была пуста, я был единственным посетителем. Паспортистка дала бумаги. Я быстро заполнил нужную анкету, документы у меня приняли без звука и велели за паспортом зайти завтра. Когда я пришел в назначенный срок, милиция была переполнена — амнистированные услышали об амнистии. Но для получающих очереди не было. Мне выдали ЧИСТЫЙ паспорт. В стране явно что-то менялось. Вернее, начало меняться. Но тогда из моих друзей это распространялось еще только на Ваву, Заяру Веселую (дочь расстрелянного писателя Артема Веселого) и на Алика Вольпина — они были осуждены на пять лет ссылки и тоже попадали под амнистию. Освобождали с таким сроком и из лагерей. А вскоре во все лагеря были направлены специальные комиссии, которые пересматривали дела «политиков» и скашивали всем сроки до пяти, после чего они автоматически попадали под амнистию и освобождались. Это, на мой взгляд, и было главной целью этой «ворошиловской» амнистии, остальное — камуфляжем. Боюсь, что и выпуск столь большого количества закоренелых уголовников, некоторое время буквально терроризировавших всю страну, тоже был камуфляжем. Переборщили малость. Хотели разгрузить лагеря, но боялись недоуменных вопросов: «Как же это так?» и «А где вы были?», которые потом все равно стали задавать.

Амнистия эта говорит о многом. О том, например, что тогдашнее Политбюро, состоявшее не то что не из ангелов, а, наоборот, из людей, привыкших не только к вкусу крови (как-никак, старые большевики), но и к предательству соратников (подельников), в том числе и друзей, не говоря уже о предательстве, многократном перелицовывании идей и принципов (да что говорить — окружение Сталина!), — все равно было намного ответственнее, разумнее, человечнее, чем их вождь, скрутивший их в бараний рог, и даже боялось своего благородства. Так в каком же аду мы все жили? Нет, совершенно зря г-н Пихоя не заметил исключительности этой амнистии. Если бы он это понял, он бы в своем очень важном и серьезном труде не воспринимал столь серьезно идеологические доводы сторон в дискуссиях, возникавших в послесталинском руководстве. Понял, что там это был единственный легальный язык, на котором оно говорило и которым высказывались самые разные соображения и расчеты, порой не имевшие никакого отношения к идеологической убежденности. Эта амнистия приподнимает завесу над многим, до той поры гадательным, в нашей истории.

Конечно, никаких комиссий, снижающих сроки, я тогда не предвидел, но из самого факта, что амнистия распространилась и на политических, я сделал вывод, что что-то меняется. Даже угроза «процесса врачей» перестала на меня давить неотвратимостью. Тем более что внимание было целиком поглощено радостным ожиданием уже упоминавшейся инструкции.

А события нарастали. Я не помню, когда она пришла, до или после 4 апреля, дня, когда было опубликовано сообщение МВД СССР о прекращении «дела врачей» (прошло ведь всего восемь дней со дня опубликования указа об амнистии), но помню чувство невероятного облегчения, словно в последний момент меня сняли с плахи из-под занесенного топора. А по радио уже передавали передовую «Правды», в которой говорилось о порядках в МГБ, которое было абсолютно бесконтрольно, но отныне должно находиться под контролем «руководящих органов и всего советского общества». Это было нечто новое. Настолько, что в провинциальные газеты эти слова кто-то передал с искажением без «и». Не думаю, что это была сознательная хитрость. По

радио передавали с «и», в центральных газетах тоже «и» наличествовало, а в провинцию через ТАСС сознательно переслали без него. Неправдоподобно! Наверное, просто кому-то из пересылавших это показалось неправдоподобно, что «органы МГБ собираются поставить под контроль общества», и он убрал это злополучное «и» как опечатку. Получилось правильно: под контролем «руководящих органов всего советского общества». То есть просто под контроль руководящих органов (то есть ЦК КПСС) — это ни сомнений, ни тревоги не вызывало. Это и отправили. Но «и» это все-таки было и производило впечатление. Старый социалист Соломон Ефимович, с которым мы где-то вместе выслушали или прочли это предисловие (я его читал много раз с разными людьми — не мог насладиться), вдруг даже вспомнил молодость. Присущая ему взрослая трезвость покинула его. «А вы знаете, к чему идет? — торжествуя спросил он. И сам ответил: — Будет коалиционное социалистическое правительство! Не смейтесь, не смейтесь! Среди социалистов тоже есть серьезные деятели».

Как будто в этом было дело! Великая вещь — эйфория. Действует как наркотик.

В связи с таким развитием событий мой авторитет в общезнании вырос необычайно. Ведь кроме того, что насчет врачей брехня, я еще «угадал», что Маленков станет премьером (человеку, знающему московские сплетни, это было нетрудно). И на время я стал там то ли оракулом, то ли пророком.

— Наум, а немцев скоро отпустят? — это был главный вопрос, который мне задавали.

Этот вопрос был насущным, и естественно, что он многих волновал. А что я мог ответить? Я, конечно, понимал, что если лед тронулся, то отпустят и немцев. Но когда? Я ведь и про врачей знал только, что они невиновны, а не когда их отпустят. Так я и отвечал. Авторитет мой от этого не падал. Врачихи тоже увидели во мне сведущего человека: Однажды они обратились ко мне со следующей просьбой:

— Эма, мы хотим знать твое мнение... У нас есть одна врач... Ее мужа несправедливо уволили из МГБ и не хотят восстанавливать. Что ему делать, как ты думаешь?

Я ответил гордо:

— Работникам МГБ юридических консультаций не даю.

— Да что ты, Эма, он там работал в архиве.

— Все равно.

Наверное, моя ригористичность была чрезмерной. Не говоря уже о том, что юридических консультаций я не мог давать не только таким, как он, а и всем остальным. Но таким, как он, еще меньше, даже если бы хотел, ибо любой совет касался бы отношений внутри МГБ, а о них я не имел никакого представления. А я и не хотел — человек, несправедливо уволенный из тогдашнего МГБ и желавший туда вернуться, не мог рассчитывать на мое сочувствие. Конечно, и его притеснили за происхождение, как могли бы притеснить и меня. Но общности с ним я не чувствовал. И праздник этот был праздником общего освобождения от кошмара, а не только евреев.

В один из этих радостных дней встретил я Витю Подлубного: на том же месте — у входа в общежитие. Приветствовал его не без ехидства:

— Ну, так как?

Витя был несколько смущен — все его построения рушились и все доверие, — но смущен радостно... Все-таки это насилие над разумом давило и его.

— Теперь я им никому не верю, — объявил он мне. — Такое собрать!

Я спросил, как отнеслись к новым сообщениям шахтеры.

— Нормально, — ответил он. — Тогда ругались на «отравителей»: «Чего им не хватало!» — а теперь удивлены: «Как такое могло случиться?» Только один, сволочь, сказал: «А по-моему, было на них клеймо, пусть бы и было. И разбираться не надо было». Ну я дал в рожу. Такой гад!

Я думаю, что и впрямь это был гад. И что антисемитизм был и единственной точкой приложения этого гадства... Такие люди есть. Но их немного. Скорее всего, и ему досталось от нашей «эпохи», но ведь не ему одному... А в своем окружении только он превратился в абстрактного носителя злобы. Ведь не то, что он не поверил сообщению, просто нуждался в «клейме» на ком-то, пусть даже явно несправедливым, а может быть, именно несправедливым — тем слаще наслаждение. Страшно, когда такие люди получают возможность реализации. Как в октябре семнадцатого.

Но этот случай или даже подобные случаи не влиял на общую атмосферу радости. Начиналась другая жизнь. И не в последнюю очередь — для меня.

В Караганде после амнистии

Полноправная командировка

Начиналась новая жизнь — во всей стране, и у меня в частности. Но и инерция старой продолжала меня держать. Все экзамены были сданы в мае. До окончания техникума, то есть до защиты диплома, оставалось полгода, и я по разным причинам считал нужным его закончить. Логике в этом не было — я прекрасно знал, что использовать его диплом не смогу. Собственно, радужных надежд, как уже знает читатель, я с этим дипломом не связывал с самого начала, но положение мое тогда было безвыходным, и возможностью где-то, говоря по-лагерному, пару лет «перекантоваться» пренебрегать мне никак нельзя было. И к тому же я надеялся, что этот диплом при случае все-таки облегчит мне возможность хоть как-то пристроиться — конечно, не без помощи добрых людей, которые в нужный момент найдутся, как до сих пор находились — и тихо, и в сторонке дожить до лучших времен... Диплом этот хоть как-то, но все-таки открывал мне пути в новую жизнь.

Но мне повезло — к концу моей возможности «кантоваться» умер Сталин, и безвыходность моего положения испарилась. Наступало время мне возвращаться в свою собственную жизнь, в которой диплом горного техника был явно ни к чему. Безусловно, никакие знания, никакое расширение кругозора никогда не бывают (и в моем случае, могу засвидетельствовать, не были) лишними, но ведь курс я уже все равно закончил, а чего было стараться ради диплома?

Но что-то мешало мне это сделать. Слишком уж нелепо это выглядело — два года проучиться и вдруг, за полгода до завершения, взять и бросить. Да и потом — возвращаться мне, конечно, было необходимо, но как? У меня ведь в Москве и до ареста кроме места в общежитии ничего не было, следовательно, у меня ничего (кроме свободы, которую теперь вернули) не отняли и ничего не были обязаны возвращать... Я, конечно, знал, что мне надо жить в Москве и что я все равно туда уеду, но сделать это так, сразу не хватало решимости. Да и было мне теперь уже не двадцать

два, а двадцать восемь — шло к тридцати, я уже был женат — вообще маневренность уже была не та. Да и сам техникум держал. И ребята — столько вместе прожили, и вдруг — все закончат, а я нет. Почему-то меня это не устраивало.

Предстоящей защите диплома предшествовала преддипломная практика, последние каникулы и собственно работа над дипломным проектом. Каникулы и работа над дипломом — периоды определенные и ясные. Практика как будто тоже. Обычно студенты нашего техникума проходили ее на шахтах Карагандинского бассейна — вариантов тут не было и не нужны они были. Но, на мое счастье, в этом году вариант появился: кто-то наверху придумал новшество — обмен практикантами между техникумами, находящимися в разных бассейнах. Наш техникум обменивался со Сталиногорским в Подмоскowie. Этот техникум должен был прислать одного практиканта к нам, а наш тоже одного — в Сталиногорск. Нужно ли было это новшество для пользы дела, я и теперь не знаю, но для меня оно было подарком судьбы — если бы отправили меня, я получил бы возможность съездить в Москву на казенный счет и месяца два жить не очень далеко от нее. Естественно, я попросился в Сталиногорск, и мне пошли навстречу — тем более что никто кроме меня на это не претендовал.

Ехал я в Москву не один, а вместе с освобожденными из ссылки Вавой и Заярой Веселой. Только они уезжали из Караганды насовсем — москвички от рождения, они, в отличие от меня, имели право на возвращение отнятой жилплощади, — а я на время. Соотношение положений изменилось. Раньше из нас только я имел хоть полулегальную, но все же возможность посещать Москву, а они — никакой. Но, как вы понимаете, я о том, что так получилось, не жалел... Да и я ведь ехал теперь в Москву в новом качестве. Впервые вполне легально. Больше у меня не было причин вздрагивать при появлении милиционера — если он даже потребует предъявить паспорт, это больше не означало для меня какой-либо, а тем более смертельной опасности. Я мог теперь ездить из Сталиногорска в Москву и обратно сколько угодно — документы у меня были в полном порядке...

Москва конца весны и начала лета 1953 года — во всяком случае, та, с которой я общался, естественно, была

немного не той, какую я оставил прошлой осенью! Между моим последним посещением и нынешним была не только радость по поводу «новых веяний», но и мрачная тень «дела врачей», которое она переживала ближе и непосредственней, чем я. Все-таки главное действие происходило здесь. И задевало оно не только «лиц еврейской национальности», а вообще всех людей, не лишенных здравого смысла и личного достоинства. Ведь с разгрома гитлеризма прошло к тому времени всего восемь лет, а с момента выставления на позор на Нюрнбергском процессе его страшных и постыдных «тайн» — и того меньше. Память об этом была еще свежа и остра.

Это вовсе еще не история.
Это свежая рана,
Что в душах поныне жива.
В лагерях еще целы
развалины крематориев,
В Бабьем Яре
густая и жирная
всходит трава.

Это я писал год-два спустя, когда уже жил в Москве, и эти строки встречали полное понимание и сочувствие читателя и слушателя. В этой обстановке крайний, гитлеровского типа антисемитизм «дела врачей», исходящий от руководства нашей собственной страны, унижал не только тех, кого стремился унижить, не говоря уже о том, что он кричаще противоречил коммунистической доктрине, которой почти вся интеллигенция еще дорожила как своим единственным духовным достоянием. И без того приходилось затрачивать слишком много диалектики для подкрепления уверенности, что «все продолжается». Но держались. Конечно, неприятные слухи о «деле ЕАК» до них доходили, но о его леденящих душу подробностях никто не знал, а в расистскую его направленность никто не верил. Хотя с менее драматическими проявлениями этой направленности, допустим, с пресловутой «кадровой политикой», сталкивались все, и довольно часто. И все же до 13 января многим удавалось закрывать на это глаза, доказывать себе и другим, что тут не антисемитизм, что по отдельным злоупотреблениям нельзя судить об общем (это в стране, где ни один функционер не смел ни шагу ступить, ни слова

сказать по своей воле). Но 13 января все обнажилось. Не для всех. Как вы помните, Виктор Подлубный, наоборот, еще больше погрузился, но это в провинции — среди моих московских друзей никто не искал истину в пропагандистских брошюрах. Не говоря уже об евреях — для всех это был очередной виток верховного идиотизма, дополнительный пласт его паутины, которую каждый в обязательном порядке должен был сам натягивать на свои мозги — операция для всех, и особенно для людей с обостренным чувством собственного достоинства, мучительная. Короче, отмена «дела врачей» вызвала вздох облегчения отнюдь не только у евреев.

Амнистия поначалу такого впечатления не произвела, но когда стало ясно, что она боком задевает и жертвы репрессий, когда начали прибывать по одному первые амнистированные — а это было уже после реабилитации врачей, все ощутили, что что-то меняется... Это был очень важный, ни с чем не сравнимый перелом — с этого момента начала медленно проходить оглушенность сталинщиной. Медленно — ведь большинство из нас привыкли к ней с детства. Надежда и вера в благие, неведомые перемены (ведь дальше восстановления «подлинной идейности» и «ленинской законности» даже лучшие из нас не заглядывали) стали всерьез овладевать сердцами.

Отношения у меня с окружающим миром установились идеальные. О моих друзьях я не говорю — с ними у меня и раньше было полное взаимопонимание (даже при несогласии), а теперь оно еще укрепилось и согласием. Но радостное ожидание перемен царило повсюду. Иногда это доходило до комизма.

Однажды я зашел в «Литературную газету» к своему однокласснику и товарищу по моей, если можно так насчет меня выразиться, военной службе Владимиру Огневу. Во время моего с ним разговора — в основном о поэзии — вдруг вошел по какому-то делу известный критик Анатолий Тарасенков. Поговорив о делах, он на прощание между прочим сказал:

— Нет, завтра я не смогу (*выполнить какую-то просьбу*). Я сегодня еду в Ленинград на совещание по лирике. Так уж через пару дней.

Услышав слова «совещание по лирике», я, находящийся тогда еще «вне игры», еле удержался от смеха. Но мой

друг Володя посмотрел на Тарасенкова с завистью — его тогда еще на подобные совещания не приглашали.

Современный читатель, услышав словосочетание «совещание по лирике», скорее всего, рассмеется вместе со мной тогдашним. Но это потому, что он, как и я тогда, находится «вне игры», вне той игры, которая тогда велась. Но и Тарасенков, и Огнев прекрасно знали, что такое лирика, и все-таки серьезно относились к этому мероприятию. Почему? — спросите вы. А потому, что оно при всей нелепости своего названия было одним из симптомов раскрепощения — по-настоящему это мероприятие, вероятно, надо было бы назвать «совещанием по реабилитации лирики». Тоже смешно, но смешными выглядят не Тарасенков, не Огнев, не некоторые другие реальные или потенциальные участники этого действия, а ситуация, в которой надо было «ставить вопрос» о лирике, ситуация, которую создали не они и из которой надо было как-то выходить. То есть выработать более приемлемую, более «либеральную» государственную (пардон, партийную) точку зрения на этот вопрос, примирить лирику с государственной (пардон, партийной) идеологией. Поскольку просто отменить руководство партии литературой было невозможно, на эту нелепость (а это нелепость даже с точки зрения идеологии) никто и не замахивался. Смешными были не люди, которым приходилось изворачиваться, смешным, хоть и страшным было мертвящее сталинское наследие, которое заставляло их это делать и даже радоваться, что наконец это становится возможным.

Кто о чем, а шивый о бане. Я действительно пользуюсь сейчас еще одним поводом, чтоб дать представление о том, чем была по своей мертвящей сути сталинщина и что она значила в судьбе России. О живчиках, которые в жажде делать открытия открывают необходимость Сталина русской истории, я не забочусь — корысть опровергнуть нельзя. Но что касается остальных, мне очень хочется, чтобы они поняли, от какого наследия им еще предстоит освободиться, что преодолеть, чтобы увидеть реальность и как-то с ней справиться — выжить. В каком-то смысле этой возможностью ставить наконец на обсуждение «вопрос о лирике» определялось все тогдашнее освобождение. Ведь это был год 1953-й, а даже не 1956-й и тем более не 1962-й. Под автори-

тет Сталина его соратники уже подкапывались, но тихо и робко. Якобы и не покушаясь на его незыблемость — его имени и его порядков. Как выпускали по амнистии репрессированных.

Характерная деталь. В один из своих приездов (а я, как, наверное, догадывается читатель, удалялся в Москву с места своей практики часто) я обнаружил на дверях всех продовольственных магазинов объявление, что с такого-то числа в этом магазине будет свободно и без всяких ограничений продаваться мука... Родившимся позже поясняя: мука в Москве продавалась, может быть, и чаще, чем в Чумакове, но тоже очень редко, ее надо было «доставать». И вот, пожалуйста. Алексей Баталов, с которым я тоже встретился, рассказал мне по этому поводу такой анекдот. На Красную площадь к Мавзолею, где тогда вместе лежали Ленин и Сталин (по этому поводу тоже был анекдот — газетное объявление: «Меняю один мавзолей на два в разных районах») приходит подвыпивший рабочий и с великой грустью причитает:

— Товарищ Сталин!.. товарищ Сталин!.. Вот уже и муку стали продавать!.. Эх, товарищ Сталин!.. Три месяца до хорошей жизни не дожил!

Анекдот в утрированной форме передает настроение, бытовавшее в определенной части городского населения. Она же в основном и определяла «Ходынку» в дни прощания с вождем. Деревню тогда эти настроения почти не захватывали. Мне рассказывали, что на московских вокзалах, где скапливались в ожидании поездов ездившие в столицу по своим делам колхозники, и в день объявления о смерти Сталина, и в дни прощания с ним, и в день его похорон царило полное спокойствие — ни скорбных возгласов, ни скорбных лиц не было... Деревня тогда еще хорошо помнила, что с ней проделывал усопший.

Заходил я и в Литинститут. Сначала в комитет комсомола — выяснять, с какой формулировкой меня исключили, с целью ее опротестовать, то есть собирался немного «покачать права». Да и боялся, что эта формулировка может в дальнейшем мне помешать. Но оказалось, что формулировка нейтральная, помешать она не может, придаться не к чему — постановили «исключить как арестованного органами МГБ». Что ж, все правда и ничего не сказано... Орга-

низацию, способную исключать своих членов с такой формулировкой, следовало саму исключить из себя, но это, как знает читатель, я сделал уже давно, и вопрос был исчерпан...

С восстановлением в институте все оказалось сложнее — мне стали чинить препятствия. Видимо, во многом он нес на себе печать антикосмополитской кампании. Да, наверное, и боялись, не сильно еще верили в прочность нововведений. Расскажу все сразу, забегаю и вперед. Для начала меня подвергли унижительной в данном случае процедуре — потребовали стихи на рецензию, как будто я был никому не известным абитуриентом и должен был пройти творческий конкурс... И стали ловчить. В рецензенты был выбран ими Долматовский. Выбор, как им, вероятно, казалось, остроумный. Долматовский — Евгений Аронович — и обвинение в антисемитизме не могло даже возникнуть. Но это был именно Долматовский — тот самый, о котором Глазков когда-то написал: «Евгений Ароныч/ Не гений, а сволочь» и от которого они вполне могли ожидать желаемого. И еще до моего возвращения в Караганду я узнал, что на основании рецензии этого «уважаемого писателя» мне в приеме отказано. Это была наглость — ведь речь шла не о приеме в Союз писателей, а только о восстановлении в Литинституте, причем не на очное отделение даже, а на заочное... Кого только туда не принимали, а меня восстановить отказывались. Это был явный перебор. Они явно восприняли меня как еврея, от которого достаточно обезопаситься другим евреем, что, во-первых, не имело отношения к делу, а во-вторых, уже не работало. Как мне кажется, я прямо сказал директору, что «это у него не выйдет». И не вышло. Я рассказал эту историю Эренбургу — он всегда, когда я приезжал в Москву, принимал меня, — и он сказал, что поможет. И вскоре после возвращения в Караганду я получил из института извещение, что постановлением секретариата Союза писателей СССР, принятом по заявлению И.Г.Эренбурга, я зачислен в Литинститут. Думаю, что это постановление было вызвано не только уважением к Эренбургу, но и общим умонастроением. Почему бы не поддержать эту инициативу — раз она возникла — и не помочь невинно пострадавшему в таком бесспорном и незначительном деле! К тому же, как я думаю, некоторые члены секретариата слы-

шали обо мне больше, чем тогдашние руководители Литинститута.

Честно говоря, мне и пребывание в студентах было нужно как знак апробации — в провинции это было нужно. А такая бумага была еще более весомой апробацией. Так что вопреки желанию затеявших эту интригу я на ней даже выиграл — получил больше, чем рассчитывал. Первые месяцы «оттепели» (я бы сказал, оттаивания) были временем слишком эфемерным. Даже привыкшие чутко держать нос по ветру ошибались — запахи стали обманывать.

Однако пора переходить к тому, что формально было целью моей поездки — к преддипломной практике в Подмосковном угольном бассейне. Как ни хорошо и интересно мне было в Москве, а надо было ехать в Сталиногорск — теперь, кажется, Углегорск. Первый раз ехал я туда ночным автобусом. Прибыли мы на место очень рано, и шофер, крепкий, плечистый, уверенный в себе парень с широким, добрым лицом, предложил тем, кому некуда деваться, дожидаться утра в автобусе. От самой поездки (как и от следующих) у меня не осталось никаких воспоминаний, только что ночью останавливались в Туле на какой-то нарядной площади (в Туле я больше никогда не бывал), но этот парень мне запомнился. Может, благодаря его рассказу, вроде бы и не имеющему отношения к этому повествованию.

Ибо, поскольку мы, несколько человек, остались коротать время в автобусе, у нас, как всегда в России в таких случаях, завязался живой сердечный разговор: кто такой, откуда, зачем и так далее. Узнав, что я из Караганды и что сидел, шофер рассказал, как после окончания автодорожного техникума несколько лет проработал на Сахалине — водил тяжелый грузовик.

— Там кругом лагеря, уголовники часто ходят свободно — все равно не убежишь. И все дороги поэтому опасны для машин. Грабежи... убийства... Но я ездил безбоязненно — меня не трогали. Почему? А я еще в самом начале так себя поставил. Как? А вот так. Однажды пришлось мне везти муку в мешках. Вот еду я по дороге, вижу — стоят двое, сигналият: дескать, подхвати. Останавливаюсь, вижу, настоящие урки. Паханы, похоже... «Подвези, браток, немного, мы постучим, когда слезать». — «Какой разговор! — говорю. —

Залазьте, ребята!» Залезли в кузов, кое-как уместились, еду дальше. Минут через сорок слышу: стучат — значит доехали. Ну, торможу, останавливаюсь. Спрыгивают, подходят к кабине, говорят: «Спасибо!» — и хотят уйти. А я им: «Погодите, ребята!» — открываю дверцу, выхожу из кабины, потом залезаю в кузов, сбрасываю два мешка муки: «Забирайте, ребята!» Они аж опешили: «Да ты что! Нам ведь только доехать надо было... И так спасибо — довез». — «Ничего, — говорю, — ребята, берите — я ведь знаю, что вы в лагерях голодаете, а я уж как-нибудь расплачусь за пропажу». «Ну, спасибо, — сказали. — Век не забудем», — и пошли. Только на номер мой посмотрели. С тех пор с другими на дорогах всякое случалось, а я свободно ездил по всему Сахалину: со мной — ничего. У них ведь свой телеграф есть. Сообщили по нему: «Машину с таким-то номером не трогать», — и все. Тут уж у них так: тронешь — не обрадуешься.

Этим путем — из Москвы обратно — мне потом пришлось ездить несколько раз, а запомнилась только эта поездка, точнее, этот шофер с его рассказом. Что-то в нем не только от вечно-российского, иногда странного, гармоничного уживания добра со злом, но и от «долг платежом красен», по-своему обязательного и для тех, «кто вечно плачет и поет». Сохраняются ли теперь хоть рудименты такого отношения, такой тогда еще, несмотря ни на что, неответственности устоев? Судить об этом издалека трудно, но надеюсь, что сохраняются.

Настало настоящее утро, и я отправился искать местный горный техникум, куда был непосредственно командирован. Там без проволочек получил направление на шахту, так что техникум этот вообще изгладился из моей памяти. Не помню даже, где он находился — в самом Сталиногорске или в Бобрике-Донском. Кажется, к Бобрик-Донскому относилась шахта, куда я был направлен — сейчас уже не помню. Да это и неважно. Так или иначе, моя преддипломная практика началась.

Много о ней я рассказывать не буду — ибо и помню немного. Все мое внимание было поглощено Москвой, она была сильным магнитом, притягивавшим меня к себе. Я пользовался любой возможностью, чтобы туда улизнуть. Да и к тому же я уже представлял, что такое шахта, и сама по себе она такого большого впечатления на меня, как пер-

вый раз, произвести не могла. Конечно, шахты здесь были другими. В них добывали так называемый «бурый» уголь, впрочем, цветом он не отличался от карагандинского — просто процент зольности в нем был намного выше. И не были здешние шахты опасны по газу и пыли. А самым главным отличием было то, что разрабатываемые угольные пласты располагались в водоносных слоях породы. И вода лилась почти всюду и отовсюду. Одеты были мы все в резиновые робы, носили резиновые сапоги и широкополые резиновые шляпы (поверх касок), поля этой шляпы были сильно удлинены сзади — чтобы вода не попадала проходчикам (до которых мне еще нужно было расти и расти) за шиворот. Впрочем, читателю эта «униформа» может быть знакома по газетным фотографиям ударников Метростроя — метростроевцы, хоть и не добывают уголь, работают в схожих условиях. Шахта, на которую я попал, сильно отличалась от карагандинской, но все равно она была шахтой, и ничего непонятного или поразительного в ней теперь для меня не было... Ничего такого, что могло бы заглушить впечатление Москвы и все, что там происходило.

К стыду своему, я не помню даже, какую должность на этой шахте занимал и в чем состояли мои обязанности. Помню только, что приписан я был к бригаде проходчиков, но сам проходчиком не был — то ли они вводили меня в курс дела, то ли знакомили с шахтой. Похоже, я опять, как и во время первой практики, был десятником вентиляции или чем-то вроде этого. Ибо с этим был связан и некий скандал. В ночную смену бригадир стал за что-то распекать шахтеров, а заодно обвинил меня, хотя я не был его подчиненным, в том, что я это допустил, потому что спал в выработке. Допускать или не допускать то, чем он был недоволен (что именно, я не помню), не входило в мои полномочия, но возмутило меня не это, а обвинение в том, что я сплю на работе. И я разразился ответной филиппикой, от раздражения достаточно красноречивой. Потом мне объяснили, что он человек хороший и справедливый, а я очень не люблю обижать хороших людей. Однако все мои попытки потом извиниться были безрезультатны — видимо, он был самолюбив, а я его сильно обидел. Вспоминать мне об этом неприятно — так и живу с неснятым грехом на душе, отчего и помню об этом недоразумении.

Но из него видно, что я и здесь относился к «надзорам», а не к простым проходчикам (до чьей «простоты» мне еще было расти и расти). Кстати, это были очень хорошие ребята, богатыри по сложению и добрые. Ко мне относились с пониманием и сочувствием. В общежитии жил со мной другой практикант, откуда-то с Донбасса. Умный парень, я ему читал отрывки из романа в стихах «Начальник творчества», который тогда начал. Роман этот — полторы тысячи строк — я писал несколько лет. Он потом широко ходил по рукам, значился часто в протоколах обысков, тогда его напечатать было нельзя, но и потом — в эмиграции и в России — я его не публиковал и не публикую. По многим причинам, хотя и сейчас нахожу в нем и ценное. Это был роман о сталинском выдвигенце, о том, как он, ничего собой не представляя, стал трепещущим хозяином жизни. В таком плане тогда еще никто не писал и не мыслил, а у меня в нескольких четверостишиях, казалось бы, были намечены только контуры темы, но этот парень, будущий выпускник провинциального техникума, все понял. Я имею в виду не свое, не о произведении — его тогда еще и не было, — а о проблеме и типе. Это говорило как о том, что умные и чуткие люди живут не только в столицах (но это я и так знал), так и о том, что это понимание назрело.

Но все эти впечатления все равно были для меня тогда частностью по сравнению с тем, что меня ждало в Москве. А ждала меня там моя собственная жизнь, моя незаконченная, но еще не иссякшая ни во мне, ни в моих товарищах молодость — все, к чему я так рвался. И неудивительно, что при первой возможности, как только это стало выглядеть не совсем неприлично, я уволился с шахты и уехал. Правда, перед отъездом возникла заминка. Мне надо было захватить с собой заверенную шахтную документацию — проект, по которому она была построена. В шахтоуправлении я снял с него копию, снабдил своими соображениями и отправился заверять к начальнику вентиляции — таков был порядок. Несколько смущало меня, что скопированное мной не совсем соответствовало тому, что я видел. Но я полагал, что это меня не касается: что дали, то и станет основой диплома... Однако начальник вентиляции заверить принесенное мной отказался. У него была другая, соответствующая реальности документация, и мне пришлось проделать эту работу заново.

Больше воспоминаний об этой практике у меня нет. О Москве я уже все рассказал. Какое-то время я пробыл там и уехал в Киев — на каникулы. Об этом тоже можно было бы сейчас не писать. Если бы не одно историческое обстоятельство. Впрочем, покидая Москву, я о нем и не подозревал. Но Яша, встретивший меня на вокзале, был сумрачен и озабочен.

— Ты ничего не слышал про Берию? — это было первое, что он спросил.

Я ничего не слышал и не поверил. Он только покачал головой. Никто из нас не мог забыть, что о реабилитации врачей мы узнали из сообщения МВД СССР, во главе которого стоял Берия. Так что ж теперь — все снова начнется? Я не поверил — тем более сообщения еще не было. Сообщения еще не было, но Киев гудел. Киевские евреи — а их в Киеве было много, — хорошо понимали, что это их касается. Сообщение это подтвердилось вечером, когда Яша пришел с работы — ведь он работал переводчиком в украинском филиале ТАСС — РАТАУ. Я был в это время у них. Он запомнил текст сообщения о Берии и пересказал его. Настроены мы были раньше. Только дня через два было разъяснено, что возвращение к законности, в том числе и реабилитация врачей, было заслугой не Берии, а партии, Берия их только приписывал себе. Здесь не место разбираться, насколько логичны и правдивы эти объяснения. Берия, конечно, был гнусен, но даже тогда я понимал, что многое, в чем его обвиняют (например, ему ставилось в вину предложение уйти из Европы и заняться своими делами), на самом деле разумно. А теперь я знаю, что многое, что тогда сообщали о его деятельности, — неправда. При всей гнусности этого человека — а невероятная гнусность его, повторяю, несомненна — он был гораздо умней тех, кто его скрутил, и в большей степени, чем они, близок к государственному мышлению... Но тогда я этого не знал, да мне и вообще было не до этого. Из упомянутого разъяснения — кажется, оно содержалось в передовой «Правды» — стало ясно, что поворот назад — возвращение к «делу врачей» и прочей преступной фантастике — не планируется. И для меня в тот момент этого было вполне достаточно. Тем более что я вообще не ждал от тогдашних лидеров правды: на людей бы не бросались, и на том спасибо. Уж слишком не избалован я тогда был.

О том, как я провел каникулы, писать не буду. Не очень отличаются эти каникулы от других, не выделяются в памяти — тем более в смысле, представляющем интерес для этой книги... Да и забылось многое.

Но каникулы кончились, и в начале осени я вернулся в Караганду и приступил к дипломному проекту. Больших трудностей (кроме чертежных — о том, как я выходил из них, я уже рассказывал) он для меня не представлял. Конечно, требовались нормы, расчеты, но этого я не боялся. Настал день защиты, моя очередь. Я вывесил на доске «свои» (намеченные мной, но начерченные не мной) листы и сделал краткий доклад о своем проекте, ответил на все вопросы, поскольку я говорил хорошим и точным русским языком, и, в общем, вызвал симпатию комиссии. Дело шло к пятерке. Но Иван Петрович Рыбаков, который хорошо меня знал, хорошо относился, но технических талантов во мне справедливо не подозревал, некоторое время постоял у моих листов, а потом задал мне еще несколько вопросов. Оказалось, что некоторые проблемы можно было решить лучше, и я получил «только» четверку. За что никаких претензий к Ивану Петровичу не имел и не имею, даже мимолетного чувства обиды и огорчения не испытал. Ибо и на четверку не рассчитывал. Теперь я думаю, что проект мой четверки, может быть, и заслуживал, а сам я как техник до такой высокой отметки никогда не дотягивал. Хотя выполнил свой проект самостоятельно и хорошо понимал, что делал. Как говорится, не в проекте дело. Так или иначе, проект был защищен, и я получил диплом. Техникум оставался позади... Оставался позади целый период моей жизни, благодаря ему не такой уж тяжелый. И оставалось в душе все хорошее, что было связано с техникумом: теплые воспоминания о товарищах и благодарность многим людям за все хорошее, что они для меня сделали.

Но нам было не до лирики — надо было трудоустроиваться. Тогда как будто таких проблем не было — выпускников высших и средних специальных учебных заведений, «молодых специалистов», по тогдашней терминологии, распределяли и принимали на работу в принудительном порядке. Они после окончания своих учебных заведений обязаны были отработать три года по распределению и только потом получали право выбирать место работы по собствен-

ному усмотрению. Малая часть моих товарищей должна была быть распределена куда-то на периферию, в глухомань на маленькие шахты, разрабатывавшие небольшие месторождения и относившиеся даже не к Министерству угольной промышленности, а всего лишь к «местопу» — к предприятиям местной топливной промышленности, чья скромная продукция шла на удовлетворение местных потребностей. Кстати, к одной из таких шахт — близ станции «Самоцветы» — я был приписан в 1943 году (об этом я рассказал во второй части этой книги).

Мне такая ссылка не угрожала, поскольку я был женат, а жена работала в Караганде. Но те, кому выпала такая участь, стремились любой ценой от нее отвертеться — фиктивно жениться или выйти замуж. За деньги или по знакомству.

При этом всякое случалось. Одна из наших девушек заключила такую сделку с молодым шахтером. Кто-то ее познакомил с ним. Ходили вместе в ЗАГС подавать заявление, а потом, выдержав испытательный срок, заключили брак по полной форме. На обратном пути ее партнер по фиктивному браку вдруг предложил:

— Знаешь что? Давай будем жить на самом деле.

Она согласилась. И брак перестал быть фиктивным. Как я слышал, он оказался прочным. Всякое бывает.

Но большинство из нас получили направление на комбинат «Карагандауголь», отдел руководящих кадров которого должен был распределить нас по предприятиям и учреждениям комбината. Казалось бы, все хорошо — остаемся на месте, никуда уезжать не надо. Чего ж еще? Но устроиться оказалось трудно. Все более-менее «подходящие» места достались «семиклассникам», то есть выпускникам основного отделения. Они учились четыре, а не два с половиной, года, но зато защищались весной, а не поздней осенью. Дошло до того, что почти всю мужскую часть нашей группы за неимением других штатных единиц отправили в горноспасатели. Работа это опасная, почетная, но не каждому подходящая. Конечно, она требует от человека не только храбрости и мужества, но и сноровки, сообразительности, находчивости, однако имеет мало отношения к техническому творчеству. Спасибо, Иван Петрович порекомендовал Роберта во «Взрывпром» — организацию,

разрабатывающую по заказу шахт для каждого конкретного случая отдельно (приходилось много бывать в шахтах) оптимальные схемы для взрывных работ. На этой работе Роберт получал возможность хоть в какой-то мере реализовать свои незаурядные способности. Другим пришлось сложней. А я? А я просто вышел из игры — принес в отдел руководящих кадров бумагу из редакции «Социалистической Караганды», в которой содержалась просьба направить меня в эту газету, где я необходим для освещения работы угольной промышленности. Получить такую бумагу мне было не так уж сложно.

Я забыл упомянуть о том, что отношения мои с редакцией газеты восстановились сразу же после амнистии. Редактор ее, Федор Федорович Боярский, человек, как я уже упоминал, и умный, и яркий, относился ко мне хорошо, и мне в критический момент нетрудно было обратиться к нему с просьбой взять меня на работу. Бумага эта освобождала меня от, так сказать, «крепостной зависимости», от тех трех лет, которые я обязан был отработать после техникума. Никакой несправедливости в этих трех «крепостных» годах я не видел и не вижу — государство затрачивало на нас народные средства (все равно народные, а чьи еще?) и имело право на отдачу. Но совесть меня не мучила. Ибо если бы государство придерживалось права, я не учился бы в техникуме и не попал бы в эту ложную ситуацию.

Отдел руководящих кадров подобные проблемы вообще не интересовали, и просьба эта была тут же и с удовольствием удовлетворена. Удовольствие объяснялось просто — ведь отдел и без меня не знал, куда девать валяющиеся на него как из рога изобилия новые «руководящие кадры», а тут просьба такого уважаемого учреждения, как редакция, к тому же еще имеющая столь важное актуально-политическое обоснование (освещение работы угольной промышленности!) — комар носа не подточит. А для начальника отдела на одну головную боль меньше — «баба з возу, кобыли лэгше»...

И я стал работать в газете «Социалистическая Караганда». К слову сказать, в этом, как значилось под этим ее названием, «органе Карагандинского обкома КП Казахстана и областного Совета депутатов трудящихся» я занимался чем угодно, только не угольной промышленностью. Но это уже никого не интересовало.

В партийной газете

А чем я, собственно, там занимался? Должен сказать наперед, что мои производственные успехи в газете были не выше, чем на других производствах. Только причины были другими, прямо противоположными. Там у меня не хватало умения освоить серьезное дело — например, фрезеровку поверхностей или сапожное ремесло. А тут серьезное отношение к жизни и слову мешало необходимой для газетчика тех времен уверенной профанации того и другого. В редакции даже установилось мнение, что стихи я умею писать хорошо, а прозу (то есть прозой) не умею совсем. Опровергать это сегодня нелепо. Прозу (если не считать эссеистику прозой) я действительно писать не умею и не пробовал, но прозой с тех пор написал и напечатал довольно много. Но то, что надо было там писать мне как сотруднику газеты, я действительно не умел. И теперь не сумел бы. Потому что слова ко мне приходят по мере развития мысли, а если я не чувствую мысли, слова ко мне приходят отказываются. Машина выключается.

Я не стремлюсь тут представить себя обманутой невинностью. Я знал, куда и на что иду. И вовсе не был святым. Стихи на потребу дня писать я не только соглашался, но и умел. Они было имитацией мысли и восприятия. Иногда я их писал как бы от имени себя самого, каким я был раньше, или от чьего-то другого имени. Имитировал некое обобщенное отношение к жизни. О причинах, вынудивших меня это делать, и о защитном цинизме, с этим связанном, я уже говорил и сейчас не стремлюсь себя обелить. Я вообще имею в виду сейчас не моральный аспект проблемы, а только предел своих возможностей. Газетная обыденщина того времени почти не допускала не только смысла, но даже его имитации. Надо было фразами связывать несвязуемое, а это у меня при всем желании (а желание было, раз я работал в газете) не получалось. И никакой цинизм не помогал.

Приступаю я к описанию своей работы в газете, точнее, работы самой газеты, с двойственным чувством. С одной стороны, в ней работали люди, с большинством которых, начиная с ответственного редактора, меня тогда связывали теплые товарищеские отношения, а теперь — теплые вос-

поминания, а с другой — это была советская газета, функцией которой было поддерживать фикцию. И все они (и я в том числе — только менее квалифицированно) этим занимались. Ибо куда денешься. Короче, никакого побуждения каким-либо образом разоблачать своих товарищей или бросить на них тень у меня нет. На большинстве из них (и других газетчиков страны) не больше вины, чем на солдатах, попавших в плен, и на людях, оказавшихся на оккупированной территории, за то, что так получилось. Тень лежит на системе, которая требовала такой квалификации. В которую при других обстоятельствах мог бы, вполне возможно, втянуться и я. Правда, мои стихотворные поделки никуда меня не втягивали, но я их, так сказать, не принимал на свой счет — берег в себе главное, — у большинства газетчиков такой возможности не было. Но и в них далеко не все исчерпывалось этой «квалификацией».

Должен сказать, что нигде я так близко не подходил к «высокой политике», как состоя в этой газете. Все-таки она была при обкоме, а обком — недалеко от самого ЦК... «Близость» эта была довольно далекой, но кое в чем быт и нравы номенклатурного государства она открывала.

Вот, например, такой факт. Газета обнаружила злоупотребления какого-то крупного деятеля районного масштаба. Он и квартирами казенными торговал, казнокрадством не брезговал и, кажется, к сожителю принуждал — точно не помню, но букет именно такого аромата. Такая критика «отдельных недостатков», если она была «без обобщений», то есть без обнажения корней и причин, и если это не касалось партийных органов и функционеров, допускалась и при Сталине, формально даже приветствовалась!

Ответ, полученный редакцией из райкома партии, поразил меня. Он был составлен по всей форме, напечатан на бланке райкома и, кажется, даже снабжен печатью. В нем черным по белому сообщалось, что бюро райкома рассмотрело выступление газеты о недостойном коммуниста поведении члена партии, заведующего Ленинским райжилотделом г. Караганды (кажется, такова была должность этого проходимца) товарища NN. Бюро сообщает, что факты, приведенные газетой, подтвердились, и признает выступление газеты нужным и своевременным. В связи с чем товарищу NN вынесен строгий выговор с предупреждением и

занесением в личное дело. Далее в этой же или более поздней бумаге добавлялось, что товарища NN к уголовной ответственности (за уголовные деяния!) решено не привлекать, поскольку два наказания за одно преступление закон не предусматривает, а одно наказание товарищ NN, получив упомянутый выговор по партийной линии, уже понес. Тем более что для коммуниста взыскание по партийной линии страшней любого уголовного наказания.

Такая, значит, логика. Компрометировать партию наглыми уголовными деяниями товарищу NN было несколько не страшно, а какое-то чернильное «фе» в личном деле, даже не препятствующее его дальнейшему «служению народу» в том же качестве, было для его чувствительной идейной души страшней тюрьмы и сумы*. И всем, кто читал этот документ, самим фактом его существования предлагалось в это верить. «А вы что, считаете, что пребывание в партии для коммуниста не самая главная ценность?» — как бы спрашивал он. И попробуй возразить. При том, что возразить было очень просто, сказать: «Для членов *вашей* партии, особенно ответственных, эта ценность отнюдь не главная, главная — те карьерные возможности, которое пребывание в ней им открывает». Но чем чреват был тогда такой ответ и какой был смысл так отвечать — это, я думаю, и современному читателю вполне понятно. Только в обстановке беспредельной и сходящей с ума тирании можно безнаказанно написать такую глупость.

Но клеветать не надо и на «партию». Справедливость требует отметить, что через некоторое время — через год или два — такая практика была официально осуждена и, кажется, прекращена — во всяком случае, больше я о ней не слышал. Впрочем, еще роман воспевателя номенклатуры В. Кочетова «Секретарь обкома» начинается с того, что областной прокурор приходит к секретарю обкома спрашивать, судить кого-то или не судить. Но это келейные подробности государственного управления, и никем, кроме Кочетова, они не афишировались. А тут ведь открытая бумага, даже без грифа секретности — чего стесняться в родном отечестве?

Но дело сейчас для меня не в том, когда и насколько была прекращена такая практика. Для меня сейчас важно,

* Напоминаю, что я отнюдь не поклонник тех, для кого пребывание в партии было и в самом деле столь важно, но в 20—30-х годах такие наивные люди встречались... Но не воровали.

что такая бумага вообще существовала. И именно при том Сталине, с которым у многих связано представление о строгом порядке, в котором сегодня нуждается Россия... Бумага эта явно ссылается на установившийся порядок. Установившийся тогда, когда даже о попытке установить какой-либо порядок, минуя Сталина, нельзя было и помыслить. За всем этим он, это его порядок, его цинизм. И то, что при этом любого проштрафившегося «товарища NN» можно было в любой момент решением того же райкома, обкома, ЦК и «лично товарища Сталина» за то же самое отдать под суд — тоже часть этого порядка.

Из этого ответа редакции видно, в каких кадрах нуждался Сталин и какие качества в них стимулировал и воспитывал. Сегодняшний беспредел — его рук дело, его кадров и их воспитанников. При Брежневле сталинские кадры, люди с воспитанными им качествами, получили свободу от его плетки, а при их наследниках и вовсе распоясались. Ведь никто и не удивился, что в республиках перед распадом СССР самыми активными деятелями движений за отделение от Союза стали главные борцы с местным сепаратизмом — секретари по пропаганде республиканских компартий, а часто и первые секретари... А латыш с русской фамилией Горбунов даже сразу стал устраивать парады ээсовцев. А ведь до этого все «понимали», что главным их духовным достоянием является пребывание в КПСС. Это его кадры или кадры его кадров. Повторю: сегодняшний беспредел — дело рук «выкоремышей» Сталина.

Квалификация советских журналистов приобреталась вместе с умением учитывать эти и подобные табу и обстоятельства, лишавшие смысла всякое дело и мысль. У меня этой квалификации не было, а без нее в советской журналистике жить было невозможно. Старался, не получалось. Вот, например, такой случай, касавшийся меня непосредственно.

Как известно, вечной мишенью советской сатиры и вообще свободомыслия была «сфера обслуживания»: магазины, столовые, пошивочные мастерские. На них разрешалось демонстрировать, что «мы» допускаем критику «все еще имеющихся у нас недостатков». А подобные недостатки в Караганде были. Например, узким местом был «индпошив». Поскольку молодой читатель может и не знать, что

это такое, объясню. После разгрома НЭПа частные портные в СССР были, скажем так, нежелательны, а фабричная продукция, хоть и была достижением более передовых форм производства, все-таки не всех устраивала. И поэтому в середине тридцатых (когда «жить стало лучше, жить стало веселее») была создана эта сеть мастерских «индпошива» (индивидуального пошива — так «красиво» это расшифровывалось), где квалифицированные мастера на социалистическом предприятии шили одежду по индивидуальному заказу. В Караганде в Новом городе тоже была такая мастерская (там, кстати, работала Ольга), но на ее работу была масса нареканий, люди месяцами ждали возможности что-либо заказать. И многие были уверены, что причиной являются злоупотребления, что ждут они так долго своей очереди потому, что мастерская принимает все время заказы от начальников и по блату.

Мне поручили исследовать этот вопрос и разделать этих блатмейстеров под орех. И я жаждал постоять за правду и вывести негодяев на чистую воду. Забыв, что там плановоком работает Ольга.

Но, к моему удивлению, негодяев на пошивочном фронте не оказалось. В разговоре с директором фабрики (мастерская расширилась, переехала в новое помещение и теперь называлась фабрикой) мне вдруг стало ясно, что если и принимают иногда заказы вне очереди, это ничтожный процент, который годится для фельетона (если доказать, но как докажешь?), но на положении других возмущенных трудящихся почти не отражается. Директриса — кажется, ее звали Анисья Ивановна — была женщиной лет сорока, умной, энергичной и красивой, и в красоте ее каким-то образом выражалась эта энергичность. Она объясняла мне все «на пальцах»:

— Понимаете, мы можем за месяц выполнить не больше чем 200 заказов — сколько бы мы ни старались. А чтоб удовлетворить спрос, надо четыреста (точных цифр я не помню, помню, что соотношение было таким же разительным). Рабочих мест и машин у меня достаточно, но вот мастеров не хватает. Надо учениц набрать человек двадцать, тогда все и решится...

— А почему вы их не набираете? — удивился я, считая это дело простым. — Желающих нет?

— Да нет... Многие просят... Но я не могу взять их...

— То есть как? — все для меня становилось совсем непонятным. — Они хотят, вам нужно, городу нужно... В чем же дело?

— Да платить мне им нечем: фондов мне на них не хватит — Облплан не выделяет, — как малому дитяти объяснила мне она.

Естественно, это показалось мне недоразумением, которое просто уладить. Ведь не может же Облплан быть заинтересованным в создании «узких» мест, вызывающих недовольство. И еще из-за такой чепухи! Подумаешь, двадцать учениц — что это для такой области!

И я отправился в Облплан. Что мне было не очень трудно, так как возглавлял его мой знакомый, Алексей Николаевич — тесть моего друга Гены Иванова (к тому времени уже, кажется, редактора «Комсомольца Караганды»), человек вполне порядочный, интеллигентный и умный. Выслушав мои недоумения, он улыбнулся.

— Думаете, вы мне Америку открываете? — спросил он, усмехнувшись. — Да я давно все это знаю. Но мы тут ничего не решаем. Средствами распоряжается Москва, Госплан. Я туда несколько раз докладывал — срезают.

Круг замыкался — интервьюировать Госплан было вне пределов моей компетенции и физической возможности. Областная газета имела право критиковать только районные и городские учреждения, а областные — только отчасти и осторожно. Да если бы я получил доступ в Госплан, это, я теперь понимаю, ничего бы не изменило. Там тоже сидели не дураки, и, возможно, если бы я или кто другой к нему с этим проник, мою просьбу бы уважили и в порядке исключения выделили бы средства на карагандинских учениц. Но если бы разговор стал откровенным, мне бы — одни с болью, другие с гордостью — объяснили, что им не до того, чтобы заниматься такими мелочами. Они решают крупные вопросы: уголь, металлургия, машиностроение — все хозяйство страны на их попечении, до швей ли тут? Ведь спрашивают в основном за это. Так что такие недостатки неизбежны, и судить за это несправедливо. И ведь они правы — неправа система, в которой государство ведает и домнами, и прачечными. Но об этом я сам только тогда начинал смутно догадываться. Как и о том, что преслову-

тый «примат тяжелой промышленности над легкой», то есть над тем, что непосредственно касается человека и потребителя — а именно к ней относились пошивочные ателье, как и вся сфера обслуживания, — дело жестокое и противоестественное.

Но это мое — да и не только мое — сегодняшнее понимание. Тогда меня вообще волновало другое. Я проваливал поручение редакции — не мог написать острый газетный фельетон. Конечно, не моя вина, что необходимых для него виновников безобразия в природе не оказалось, но так или иначе, я опять оказывался неумехой.

Но не писать же хлесткий фельетон о ни в чем не виноватой Анисье Ивановне! Хотя методы писания таких беспочвенных фельетонов были давно разработаны советскими борзописцами... Надо было ернически объявить, что перед нами горе-руководитель, ссылается, подлец, на объективные трудности и ничего не предпринимает, чтоб с ними справиться. А людям, между прочим, пока пальто шить негде. Вроде ничего не наврано, а человека оболгали. Такой фельетон был бы не только бессмысленным, но и бессовестным поступком. Не все теперь представляют, что тогда мог значить отрицательный отзыв партийной газеты для руководителя любого ранга. Он был ему не только неприятен и обиден, но и грозил серьезными неприятностями. Газета была как бы глазом и гласом начальства.

Такого я сделать не мог. И должен сказать, что никто из моих более опытных товарищей, с кем я советовался, мне такого выхода и не предлагал. Впрочем, этого и не требовалось. Такие методы, то есть травля, применялись только тогда, когда начальству специально требовалось кого-нибудь ошельмовать. В данном случае ничего такого и близко не было. Только собственные побуждения — желание редакции получить «читабельный» материал (само наличие этого термина показывает, что большинство материалов в газете были как бы соблюдением некоего обязательного ритуала и для чтения не предназначались).

Я был очень растерян, но все-таки кое-как с помощью товарищей из этого положения вышел. Статья представляла собой просто описание положения и призыв к областным организациям помочь делу, но никого не обвиняла и не шельмовала... В ней не было подлости, но и смысла тоже.

Финал этой истории был вполне адекватен ее сюжету... Материал был напечатан, но сотрудник, заменявший в тот момент ответственного секретаря (тот самый, который не так давно рассказал «всю правду» обо мне Боярскому), объявил мне, что подпишет этот «материал» именем одного из сотрудников казахской газеты (кажется, фотографа) и, следовательно, отдаст ему гонорар за нее — с тем за что-то надо было расплатиться. Это была несусветная наглость. Он явно использовал шаткость моего положения в газете и общую мою неуверенность в себе на этом поприще... Расчет его был правильным. Я несколько удивился, но согласился. Должен сказать, что никакого огорчения я при этом не испытал: авторство в этом случае мне никак не льстило, а деньги — где наша не пропадала.

Но с его стороны это было неосторожно — ведь про то, что этим опусом занимался именно я, знали все — я советовался со многими. И это сказалось. На первой же планерке Алексей Иванович Брагин (о нем ниже) выступил и выразил свое возмущение по этому поводу. Но ничего не произошло. Временный ответсекретарь изобразил смущение, признал ошибку (никак, впрочем, ее не объяснив), и на этом вопрос был исчерпан... Углублять его никто (в том числе и я) не хотел.

Из этих двух фактов — доноса и отнятия авторства — можно сделать ложный вывод, что он как-то особенно плохо ко мне относился, преследовал меня и тому подобное. Ничуть не бывало. Он мне и помогал иногда, и совершенно бескорыстно. Конечно, был он и нагл, и без царя в голове, и бесконечно циничен. Он легко писал передовые по разным вопросам. Естественно, они были составлены из блоков (это не его отличительная черта — так требовалось), но делал это с веселым цинизмом. О чем бы ни шла речь, там была дежурная фраза «Особенно плохо с этим обстоит дело в...» Дальше всегда следовало перечисление трех одних и тех же дальних, южных, чисто скотоводческих районов, из которых я почему-то помню только Кувский — потом они все были отнесены к Джезказганской области... «А что? — смеялся он. — Они для всего годятся. У них с любым делом все обстоит особенно плохо».

В общем, был он достаточно колоритен — конечно, не Ноздрев (скандалистом не был), но того же типа. Однажды

мы большой компанией что-то отмечали в ресторане. Неподалеку от нас оказались два офицера МВД, судя по петлицам, они были инженерами. Завелся общий разговор. И вдруг:

— Ребята, а вы из какого лагеря? — невинно и добродушно спросил он.

«Ребята», естественно, вскипели. Время было послесталинское, лагеря были не в почете, а они и впрямь были инженерами, а не вертухаями. И болезненно воспринимали, когда их за оных принимали, что, видимо, случалось. Все это наш герой прекрасно видел и понимал. Зачем же ему понадобился этот выпад? Ведь никаким диссидентом или свободоловцем он не был — все-таки именно он, как помнит читатель, настучал на меня Боярскому. И ведь потом — как ни в чем не бывало. Какая же муха его укусила — бить по больному месту этих инженеров? А никакая — просто еще одна возможность развлечься.

Личность этого человека — загадка... Но не редакционной жизни, а всей нашей цивилизации. Происхождение его мне неизвестно. Не удивлюсь, если окажется, что он из раскулаченных — такое забвение трагедии своих семей тоже случалось, хотя и не слишком часто. Образовательного ценза его я тоже не знаю. Не имею я представления и о реальном уровне его образованности. Этому как-то не было повода проявиться — ни присутствием, ни отсутствием. Но ни темным, ни тем более неграмотным не был — языком вполне владел.

«Загадка» в том, что по профессии он был вроде причастен к культуре (пусть хотя бы к ее имитации), но духом своим она его обошла. И как-то очень эластично и гармонично. С одной стороны, он не был ни злым, ни особенно плохим человеком, с другой — его нельзя отнести даже к тем, о ком можно сказать словами Лермонтова: «К добру и злу постыдно равнодушны», — судя по всему, проблемы добра и зла, чести и бесчестья, честности и нечестности он вообще не заметил. Следующая строка: «И перед властью презренные рабы», — если и воспринималась ими, то только по отношению к давней, ныне официально ошельмованной (значит, ненастоящей) власти. А вообще стремление угодить власти воспринималось ими как нечто естественное, а умение угодить ей, угадав наперед ее желание, —

вообще как высшее профессиональное и человеческое достижение. И то сказать — это ведь не было связано у них с подавлением чего-то своего. Своего, кроме как на бытовом уровне, не было — его им заменяли установки, которые были для них благом и стимулом творчества. Конечно, в конкретном воплощении таких людей создала сталинская, но в каком-то смысле эта проблема намного шире. Милая библиотечка из престижного американского университета, которая сказала моей жене без всякой иронии и осуждения: «Конечно, каждый хочет понравиться своему начальнику», — тоже имеет отношение к этой проблеме. Она «работает при книгах», кое-что знает о своих правах, но тоже не имеет никакого представления о чести и достоинстве. Не знает даже, что подхалимаж постыден. Таких людей в цивилизованных странах все больше и больше, их производит сама цивилизация — ее благодушие и ее равнодушие... Боюсь, что у многих из тех, от кого сегодня зависят судьбы мира, нравственное развитие на том же тропическом уровне — таково воспитание. Это накладывает отпечаток на всю мировую политику и на судьбу цивилизации. Не отрицаю уникальности положения в изнасилованной Сталиным России, на нее действовал сильнейший катализатор, но процесс этот был и остается всеобщим. Насколько он обратим, не знаю.

Может показаться, что я отвлекся от темы, но это не так. Разговор ведь идет о моей работе в партийной газете. Временный ответсекретарь, с которого началось это «отвлечение от темы», не был типичен для журналистского состава этой редакции — по-человечески почти все остальные под этот тип не подходят, но он был наиболее адекватен роли, которую мы все должны были играть, вся партийная (а другой не существовало) печать — особенно при Сталине, когда этот временный ответсекретарь воспитывался. Как и многие другие — во всех областях жизни. Воспитанные в патологии и несущие патологию, они до сих пор мешают стране из нее вырваться.

Сегодня многим и представить трудно, чем это было (а от этого узнать ее проявления в современности). А тогда Сталин только что умер, новое руководство уже подкапывалось под его авторитет, точнее, культ. Да, это был культ, но не «культ личности», как это потом было названо для

соответствия марксистской науке и хоть для какой-то рациональности, а просто языческий культ без всякой личности — культ суперъязыческий и псевдоязыческий одновременно. Впрочем, и тут, как все при Сталине, скорее имитация культа. То есть чистая дьявольщина.

Тогда ее губительное дыхание, несмотря на все освободительные сенсации, ощущалось еще вполне явственно. Я с этим столкнулся почти сразу. В один из первых дней моей журналистской деятельности меня оторвали от дела и отрядили в котельную. Нет, не отапливать здание, а заниматься делом более экстренным и менее ординарным — сжигать книги и другую печатную продукцию. Все, что входило в справочную картотеку только что умершего старого журналиста (и, кажется, старого большевика) по фамилии Невский (к сожалению, не знаю его имени-отчества). Я ничего не знаю об этом человеке, кто он был, как и когда оказался в Караганде — человек ведь явно был столичного склада. Похоже, что это произошло во время войны, но точно не знаю. Но явно он прибыл сюда не по этапу. В противном случае его столь тесные связи с печатными органами не были бы возможны. Я его никогда не видел, но имя его слышал часто. Оно всегда произносилось с особым уважением. Похоже, он сам до болезни работал в редакции, но при мне он уже был тяжело болен и из дома не выходил. Он явно был человеком образованным, и обе редакции в нужных случаях прибегали к его услугам. Он писал приуроченные к датам заметки об исторических, прежде всего историко-революционных и культурных событиях — вел, как это тогда называлось, историко-культурный календарь. Для чего использовал эту свою много лет собираемую и пополняемую картотеку, о которой все знали и все заочно относились с восхищением. Так что косвенно редакция давно пользовалась этой картотекой, и когда он перед смертью передал ее редакции, все были обрадованы и польщены. Но оказалось, что картотека совсем не похожа на те заметки, для которых их автор черпал из нее сведения. В каких-то старых газетных вырезках упоминались имена Троцкого, Бухарина и других «врагов народа», причем упоминались не как было положено нормальному советскому человеку: с проклятиями и со скрежетом зубным (кому-кому, а коммунистам их проклинать было не за что), а в духе два-

дцатых годов — когда нейтрально, а когда и положительно. Из этого не следует делать вывод, что сам составитель картотеки относился к делу иначе, был — хотя бы в рамках большевизма — диссидентом или вольнодумцем. Во всяком случае, я ни от кого об этом не слышал. Просто он был библиограф-любитель и дорожил своей картотекой. Понимал ли он, как рискует (вспомните моего лубянского сокамерника, которому инкриминировался случайно сохранившийся с двадцатых годов номер «Правды»)? Не знаю. Ведь в принципе даже в идеологическом государстве это не преступление. Мало ли что может понадобиться журналисту в его работе. Ведь сведения о «врагах народа» и даже цитаты из них можно было при случае, препарировав, использовать против них, что, вероятно, иногда и происходило. Но у нас это было «табу», объясняемое только личной патологией Сталина — он стремился искоренить память о временах, когда народ еще не знал, что он его любимый вождь. Эта патология еще не выветрилась из памяти, давила — особенно «бойцов идеологического фронта», к каковому относились прежде всего редакции партийных газет. Короче, картотека вызвала в редакции панику, пошли разговоры, и редактор — сам он был человек далеко не глупый, но ведь в таких делах приходилось очень считаться с глупостью, с ее молвой — велел этот подарок немедленно сжечь, «чтобы не было разговоров». Исполнение этого аутодафе было возложено на заведующего отделом писем (по совместительству секретаря партбюро), бывшего выдвиженца, человека, не шибко наделенного культурным любопытством, и на меня ему в помощь (физическую, а не консультативную).

Котельная находилась в подвале дома, первый этаж которого занимала редакция. Когда мы туда спустились, у топки нас ждало несколько туго набитых мешков — вся картотека, результат многолетних забот интеллигентного журналиста. И начали мы засовывать картотеку в печь. Разумеется, активность в основном проявлял мой напарник, а я все же норовил заглянуть в сжигаемое. Но он был бдителен — замечал и прерывал мои попытки окриком:

— Не любопытствуй. Быстрее все в печку!

Проявлять настоящую заинтересованность я, как стреляный воробей, конечно, боялся, старался держаться в границах юношеского любопытства. Тем более что о своем

напарнике слышал разное. Сейчас он творил порученную ему экзекуцию, творил рьяно, я же ему помогал скрепя сердце. Но когда дошло до абсолютного идиотизма, я попробовал воспротивиться. Дело в том, что в картотеку почему-то входили некоторые вполне нейтральные классические и советские художественные произведения, в том числе и изданные в тридцать седьмом (к столетию со дня смерти) брошюры с поэмами и лирикой. Мой напарник совал все в печь, не разбирая.

— А это зачем? — взмолился я. — Ведь это же Пушкин!

И тут мой напарник меня поразил:

— А!.. Пушкин не Пушкин! Все равно!.. Потом не докажешь. В печь!

Я был поражен. Выходит, и этот дубарь, столп режима, его создание, относится к вскормившей его формации (при каком другом порядке при его общем уровне подняло бы его до журналистики?) как к бешеной собаке, которой ничего не докажешь! Думаю, что нечто подобное мог сказать и упомянутый ответсекретарь. Но тот все-таки умел писать — пусть и на партийной фене, но умел. А у этого только и было капитала, что верность режиму, и — на тебе!.. Тогда я даже испытал к нему нечто вроде симпатии, даже близости: вот и он понимает.

Теперь я думаю иначе. Думаю, что подсознательно это понимал всегда. То есть что его верность — это верность бешеной собаке, верность ее бешенству... И так же подсознательно понимал, что это ветер в его паруса, что держаться при этом бешенстве, усвоить его импульсы — это надежней и даже солидней. Важно только самому случайно не ошибиться. И поэтому жги — хоть Пушкина, хоть Маркса, хоть Ленина. Конечно, не все были такие даже не в номенклатуре (а он ведь и к ней не относился). Не таким был Медведев, спасший мне жизнь, не таким был и Боярский, но именно такие были главным фактором эпохи (сталинщины — потом все-таки все стало сложнее). Может, и они не виноваты, их ведь тоже соблазнили и сделали, виновны не они, а те, кто на них ставил и их ставил над страной. Но эта страшная прививка... прививка если не самого бешенства, то его сакрализация, уважения к нему и к его разрушительной власти. Этой прививкой отравлен весь организм страны и государства, и до сих пор еще неясно, выдержит ли Россия эту прививку яда или от него погибнет...

Вот два человека, два представителя того страшного времени. Я не испытываю по отношению к ним какой-либо потребности в чем-либо их разоблачать, не питаю к кому-либо из них дурных чувств. Ни мне, ни кому-либо другому никто из них, насколько мне известно, не причинил никакого вреда, а в те времена многие многим причиняли. Это не суд над этими двумя, случайно встреченными мной людьми, просто я хотел их запечатлеть — два слепка времени, два сформированных им характера, два проявления его психологии, причем не в самом крайнем его выражении.

В сущности, я ведь ничего о них не знаю — ни об их происхождении, ни об их биографиях. Я не знаю, что стояло за ними, может быть, оба они или один из них были из раскулаченных, от чего надо было долго и всеми способами отмываться, обретая по дороге цинизм (такое происходило далеко не со всеми, даже сделавшими карьеру, но бывало), а может, за спиной у них было чистое выдвигенчество и необходимость отстаивать себя в неестественной для них роли. Но они были такими, как были. В известной степени, как и эпизод с «индпошивом», оба этих типа характеризовали время — пожалуй, скорее только что ушедшее, чем только что наступившее, еще не имевшее очертаний. Но к моей жизни, к моему существованию в редакции, к рассказу о которой я уже исподволь приступил, оба они имели мало отношения...

Рассказанная мной история о затруднениях с «индпошивом» имеет более непосредственное отношение к моей работе в газете. К тому же она впервые столь наглядно (теоретически я это и раньше понимал, но это не то) обнажила передо мной противоестественность советской «экономической системы обкома», многое — в смысле понимания пружин управления и «партийного руководства» — обнажалось наглядней, чем перед другими рядовыми гражданами. Ну хотя бы насчет выборов. То есть самых обычных сталинских выборов с одним кандидатом от «единого блока коммунистов и беспартийных». Ну кто не знал, что это фикция? Но когда ты знаешь, что в область из центра пришла разнарядка, в которой точно обозначено, каких именно кандидатов в депутаты должен «подобрать» именно наш обком, то есть каким именно анкетным данным должен соответствовать персонально каждый из них, это возводит

ваше понимание на новую ступень. Все было подчинено созданию нужной (для пропагандистского шоу — для чего же еще?) статистической картины, предусматривалось все: пол, возраст, профессия, национальность, членство в партии, уровень образования, «трудовые успехи», занимаемая должность и тому подобное. Состав членов парламента должен был представлять заданную социальную картину. Помню, руководству области среди прочих надлежало найти и выдвинуть одну русскую женщину-инженера и одного шахтера-казаха, причем это новшество специально оговаривалось — не орденоносца, передовика труда, а рядового труженика, выполняющего норму на сто с небольшим процентов. Естественно, нашли, выдвинули и потом, естественно, «оказали народное доверие» — избрали.

Не обошлось и без курьеза... В кампанию по выборам вклинилась еще одна пропагандистская кампания — по поддержке «Декларации о создании Варшавского пакта» (вряд ли его создатели нуждались в какой-либо поддержке, просто пропагандистский театр должен был функционировать бесперебойно)... Естественно, надо было соединить обе кампании. Работник редакции дозвонился до шахты во время пересменки, кандидата подозревали к телефону.

— Что? — переспросил он удивленно, услышав вопрос о том, как он относится к «Декларации». — Какой прокламации?

Будущий депутат парламента понятия не имел об этом основополагающем документе. Потом ему в парткоме объяснили, что от него требуется, и он написанное от его имени горячее одобрение подписал.

— Политический деятель... твою мать! — раздраженно произнес готовивший этот материал журналист. И раздражение это относилось не к шахтеру, а к тем, кто его — с помощью того же журналиста — превращал в обезьяну. Но разве более грамотных людей не превращали в то же самое?

Было ли это раздражение выражением оппозиционности? Вероятно, в какой-то мере было. Но больше в этом было чистого раздражения, откровенности понимающих тяжелую участь друг друга коллег. Вело это не к сопротивлению: чему могли сопротивляться в раздавленной стране сотрудники партийной газеты (а других в природе не существовало), да и ради чего? Что они могли изменить? Вело

это раздражение только к цинизму — это было единственное, чем можно было — тоже только в какой-то мере — защитить душу и разум от полного подавления всевластной бессмыслицей. Средство, как вы понимаете, небыстречное, но другого не было. Собственно, этим защищался и я. Правда, у меня, в отличие от большинства моих товарищей, была еще другая, как бы тайная (но не от них) жизнь, однако и ее не назовешь сопротивлением. По существу, это мое противостояние было только защитой самостоятельности, самосохранением личности как необходимого условия творчества — я всегда знал, что без этого ничего не бывает. Вокруг этого и сохранялся — мой цинизм всегда оставался мимикрией, никогда не проникал в сущность моего отношения к вещам. А вокруг чего было сохраняться моим товарищам, журналистам по главной своей профессии, да еще журналистам провинциальным, то есть вдвойне беззащитным? Да еще в дни, когда ясной оценки происходящего, точнее, критериев оценки, не было еще ни у кого вокруг, в том числе и у меня.

И все-таки мои товарищи, включая главного редактора, то есть большинство «литсостава», были вполне порядочными людьми. Временный ответсекретарь, который на меня донес, был, скорее, исключением, чем правилом. Конечно, как везде, случалось и такое — но не с теми, кого я считал товарищами. Дальше некоторой богемности их цинизм не заводил. Не помню я, чтоб и при выполнении обязанностей они заходили слишком далеко. Наоборот, старались где можно защищать справедливость и клеймить злоупотребления в окружающей жизни, выдавая это за защиту «политики партии». Многие верили, что это так и есть. Впрочем, руководству действительно злоупотребления ни к чему, но, видимо, люди, их совершающие, ему ближе. И пробивать такие материалы дело непростое. Но влекущее. Ибо осмысленное и даже в профессиональном смысле перспективное — открывало возможность представить «читабельный» материал. Этот термин был широко распространен в журналистской среде. Но, как уже говорилось, означал, что основная часть материалов газеты для чтения не предназначалась. Партийная печать, по определению Ленина, не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор. Вот большая часть газетной площади и отводилась

тому и другому. Что касается статей агитационно-пропагандистских, то их просто никто не читал. Разве что во время крупных мероприятий — допустим, после объявления о начале «дела врачей» или о его прекращении. Да и то сказать, направляли агитационную работу чиновники, а какой из чиновника агитатор? Савонаролы тут были бы излишни, агитируемые тоже не требовались — агитировал шумовой фон, из которого ничто не должно было выделяться.

Статьи по организационным вопросам и примыкавшим к ним вопросам производства постигала почти та же участь. Но все-таки «почти». Ведь всем этим руководила партия, а печать была верным помощником партии. Должна была сигнализировать. И отрицательная оценка работы предприятия или учреждения в печати вполне могла сказаться на судьбе его руководителей. Они и читали, чаще просто проглядывали эти статьи.

Некоторые из них читали даже «освещение соцсоревнования». Соревнование — это нечто вроде детской игры для взрослых, придуманной в годы первой пятилетки, когда еще вся пропаганда велась в формах поклонения утопии, для того чтоб ею возместить отсутствие «буржуазной» конкуренции. Постепенно эта детская игра превратилась в бюрократическое установление, что вполне соответствовало общему насаждению инфантилизма в общественном сознании и общении... Естественно, заводилами в этой детской игре выступали печать и радио. Ибо и взрослым людям, руководителям предприятий, было совсем небезразлично, какое место по показателям производства занимает их предприятие, хозяйство или район. Тоже по соображениям отнюдь не спортивным. Но — энтузиастические времена уже давно кончились, детские игры взрослых людей перестали увлекать, и в эти «главные» материалы большинство читателей даже не заглядывали. Искали интересного — чего-нибудь на бытовые и спортивные темы.

Но официально считалось, что жизнь соответствует логике детского театра. Все горят энтузиазмом, все стремятся к конечной цели (все больше меняющей и теряющей очертания), все в этом стремлении соревнуются друг с другом и с ревнивой доброжелательностью следят за трудовыми достижениями соперников. Именно такую жизнь, включаю-

щую «все еще, к сожалению, встречавшиеся у нас» недостатки-пережитки, должны были правдиво изображать газеты. Это была их роль в спектакле.

В рамках этого спектакля ведущим у нас в газете был угольный отдел — тот самый, в который я был откомандирован комбинатом «Карагандауголь», но к которому я никогда не имел никакого отношения. Он, то есть два человека, составлявшие его штат — Иоффе и Подольский, — прекрасно выполнял свои функции без меня и без моего горного образования. И даже вообще без всякого шахтерского опыта. Функции их этого и не требовали. Они знали по именам всех начальников шахт, всех главных инженеров, начальников участков и даже большинство бригадиров. Знали они всегда сводки выдачи угля по каждой шахте, которые публиковали, знали, когда какая шахта, какой участок и в честь чего становились на стахановские вахты и какую «сверхдобычу» дали по этому случаю. Публикация всех этих сведений и называлась «освещением соревнования в печати». Знали также узкие места, проблемы и об этом тоже писали. Все это и многое другое компетентные люди, у которых они эти сведения собирали, знали и без них, но они, так сказать, помогали. Если есть в моих словах ирония, то она направлена не против них — они свое дело выполняли добросовестно и квалифицированно, а против системы, где такое «дело» воспринимается как естественное. И, может быть, даже нужное — ввиду отсутствия естественных стимуляторов.

Но я сразу был, к моему удовольствию, определен не в этот самый важный отдел, соответствовавший моему диплому, не в отдел, ведавший какой-либо другой отраслью народного хозяйства, а как бы вообще в заштатный, именовавшийся скромно — «Отдел культуры и быта». Этот отдел, чье назначение наиболее близко подходило к тому, чем вообще во всем мире занимаются газеты, ибо его публикации хоть как-то касались проблем человека и жизни; собственно, он и поставлял основную часть «читабельных» материалов. Я сужу об этом объективно, ибо сам я не очень преуспел и в этом отделе — пусть по причинам, понятным из истории моего журналистского расследования проблем «индпошива», — однако дело обстояло именно так. Но в глазах начальства эти материалы были то ли приманкой, то

ли заправкой для основного. Того основного, что оно само если и читало, то только по долгу службы, а не из душевной потребности — ему при любых вкусах такое чтиво тоже было ни к чему. Как только касалось общественного сознания, мы все, свёрху донизу — от членов ЦК до бабки, писавшей заявление в собес, — становились актерами бездарного и скучного, но воистину всенародного представления. А кто же его ставил? Отвечаю: Сталин по сценарию дьявола. Ведь только силой дьявольских сцеплений и держался так долго этот спектакль.

Он проникал во все. Но только не в частные отношения. Тех, кто пытался распространить и на них логику спектакля и делал это не по юношеской наивности, чурались во всех слоях общества и управления. Впрочем, возможно, в каких-то ответвлениях номенклатуры они никогда не становились частными — не знаю, я в этих кругах не вращался. Но редакции к ним не относились... И когда я впервые пришел в отдел культуры и быта, который возглавлял (а до моего появления и единолично представлял) опытный журналист Олег Мухин, частные, а точнее сказать, дружеские отношения установились у нас сразу. Способствовало этому и то, что Олег тоже был меченый — был в плену. И хотя его, в отличие от многих других, не арестовывали, не высылали (в Караганду он приехал не по этапу и не по путевке «органов»), но возможность того и другого, а также свою второсортность он болезненно ощущал даже теперь, после смерти Сталина, ретроспективно. Именно потому, что был советским человеком, оскорбленным в своих лучших чувствах. «Родина», тайно обернувшись одним из псевдонимов Сталина, обидела так многих. Те двадцать советских офицеров, которые в апреле или мае 1945-го вместе с другом моего отрочества Галей Якубской ушли из немецкого лагеря и пошли навстречу наступающим советским войскам, за что были потом расстреляны бдительными эмгэбистами, обслуживавшими сталинскую паранойю, были оскорблены намного больше. Или тот парень из Курска, сбежавший из плена и воевавший потом в отрядах «маки», которого я встретил в камере Свердловской пересылки. Но с Олега хватило и этого. В плену он себя вел хорошо, с немцами не сотрудничал, все вытерпел, но сам факт, что он оказался в плену, а потом недоверие или неполное до-

верие родной власти, подсознательная необходимость что-то ей доказывать его, как мне кажется, подкосили. Он растерялся. Думаю, что это сказалось и на характере его квалификации. Он был мастером любых газетных поделок, мог легко и быстро написать все, что угодно: передовицу, очерк, фельетон. Он свободно владел тем языком, который кто-то из немцев, чтоб отличить от нормального русского, назвал *Sowietparteisprache* — совпартязык. На этом языке происходило все официальное общение, в том числе и общение «партии с народом», в том числе и через газеты. Думаю, что подсознательно этому способствовало и желание соответствовать духу времени — Олег привык к этому языку и к этой логике, даже не столько он, сколько его перо. Сам он был хорошим, добрым, порядочным и совсем неглупым человеком, а как сядет писать — я имею в виду не газетную поденщину, а что-нибудь «для себя», — не может вырваться из плена этого языка и этих представлений. А хотел он писать роман о плене, опирающийся на собственный опыт, на пережитое... Но само собой писалось «как надо», точнее, как надо было еще недавно. Опыт собственных переживаний, противоречащий этому «надо», не ощущался совсем. Стерт был не только язык, но и вся картина. Главным немецким прислужником обыкновенный советский человек быть не мог, и Олег объявил его бывшим эсером. Причем с дореволюционным стажем... Причем человек, которого он объявляет эсером, по тому, что о нем сообщается, груб и темен — образ этот был домысливанием того, что Олег узнал об эсерах из «Краткого курса». Например, об одном из периодов жизни своего героя он сообщает, что именно в это время тот, хотя и был эсером, по какому-то стечению обстоятельств ничего не доносил в охранку. В том, что главной целью партии эсеров (для того, видимо, и становились ее членами) было доносить в охранку, он не сомневался. Все они были социал-предателями и, следовательно, Азефами.

Возникает вопрос: это глупость? (А Олег был, повторяю, человеком вполне разумным.) Неужели у него и впрямь было такое представление об эсерах? Полагаю, что он, скорее всего, вообще об этом никогда не думал. Но ведь он вообще был воспитан в тех правилах, что из-под пера должно выходить не то, что автор знает и думает, а то, что надо, что это и есть качество профессии. Как человек он прекрас-

но знал, что это уже не так, и был этому рад, как читатель благодарно откликнулся на все более-менее свежее, что тогда стало появляться в печати, но самого, когда он садился писать, тут же затягивало на привычные пути. В редакции Олег был и вообще заметной фигурой, а благодаря этому его качеству одной из самых необходимых. Если надо было срочно писать статью — передовицу или руководящую, то есть от имени какого-нибудь крупного начальника (такая практика была широко распространена), а иногда и от имени редактора (если тот был занят) — усаживали за эту работу Олега, и он быстро с ней справлялся. Такая работа приносила какие-то деньги, но удовлетворения принести не могла. И я думаю, что все эти расхождения между его человеческим восприятием и профессиональными навыками и были причиной недуга, заедавшего его жизнь, — я имею в виду его приверженность к алкоголю.

Я не помню, чтоб он пил на работе, но в нерабочее время он часто прибегал к его помощи. Семье доставалось. Не помню, чтобы он при этом был как-то по-особому буен или агрессивен, но лыка он при этом не вязал, был мягок и добр, беззащитен, и от этого смотреть на него было еще больней. В обычное же время Олег был достаточно деятелен. И не только в прямом исполнении своих обязанностей. Часто к нему на огонек заходили люди очень интересные. Они к нему тянулись, и он к ним тоже. Надо ли добавлять, что все это были люди отсидевшие и не до конца еще освобожденные? Это его не останавливало. Он им сочувствовал, старался помочь... А ведь год на дворе был 1953-й, а не хотя бы 1956-й — разница существенная для тех, кто тогда жил, особенно в провинции, где начальство с трудом привыкало к новым веяниям, а обладало прежней властью.

Захаживал к нему и впоследствии знаменитый ученый, основоположник гелиобиологии Александр Леонидович Чижевский. Как он оказался в ссылке, я не знаю. Только слышал от Алика Вольпина, что тот ему рассказывал, будто его в начале войны посадили за восхваление Гете. Это странно. Но, конечно, не исключено. Вряд ли Александр Леонидович когда-либо слишком интересовался политикой, а ведь сидел по политической статье. Если у него и было другое обвинение, то не менее нелепое. Впрочем, вытекающая из его теорий мысль о связи всякого рода массовых движений

(а значит, и Великого Октября) с периодами солнечной активности, будучи высказана вслух, тоже могла стать основанием для гэбистской разработки. Ведь согласно единственно верной теории все это происходило благодаря гениальности «нашей партии» и ее вождей.

Мне его теории были интересны. Они были неожиданны, но не противоречили интуиции* и казались мне убедительными. Ученость его вызывала уважение. Но в целом я скоро потерял к нему интерес. Что объяснялось только моей не изжитой еще тогда инфантильностью. Причина была чепуховой. Он то ли показал, то ли почитал нам свои стихи, и они мне не понравились. Они были похожи на многие другие интеллигентские стихи — в них не было поэтической стихии. То, что при столь высоком уровне развития он сам этого не понимал, почти уничтожало его в моих глазах. Я тогда страдал сильным поэтоцентризмом! В целом он не изжит мною и до сих пор, но давно уже утратил свою абсолютность — все-таки с годами умнеешь. Тогда же его абсолютность помогала мне в оторванности от литературных друзей сохранять, даже охранять свое представление о поэзии. Но, как видите, иногда она меня и подводила.

С Олегом мы жили душа в душу, однажды даже вместе (думаю, что больше по моей неорганизованности) «засолили» целый ящик неотвеченных «писем трудящихся», за что получили нагоняй. Этот мой «подвиг» и теперь меня не умиляет. Газета была наиболее доступной инстанцией, куда стекались жалобы. И поскольку она была органом обкома и облисполкома, то есть начальства, она иногда могла помочь. Даже если она не упоминала о предмете жалобы на своих страницах, она посылала эти письма в учреждения, которых это касалось, и те обязаны были ей ответить. И лучше было перед этим «принять меры» и «устранить недоработку». Время от времени в газетах — этот порядок был общим для всех газет — даже печатались сообщения под рубриками «По следам наших выступлений» и «Газета помогла». Советский человек настолько к этому привык, что даже вывоз такое отношение к печати в эмиграцию. Это с

* Этот критерий истины — «не противоречит (или противоречит) интуиции» — принадлежит не мне, а Г.Н.Полковникову, старому русскому эмигранту, жившему в Праге. Не думаю, что он абсолютен, но и пренебрегать этим не стоит...

удивлением обнаружил редактор нью-йоркского «Нового русского слова» А.Седых. В своем очерке, озаглавленном, кажется, «Люди с другой планеты», он иронизировал над приехавшими примерно так: «...И когда из их хлопот совсем ничего не выходит, они обращаются в самую высшую инстанцию — в «Новое русское слово».

Спору нет, влияние прессы на Западе велико, но все равно она не инстанция и не бюро жалоб. Она может выступать и по частному поводу, но сила ее при всех ее недостатках в обращении к общественности, а не в том, что за ней стоит начальство. А мы, хоть сами и не были инстанцией, все-таки были при инстанциях. И в противоестественном здании советской системы таким местом, куда проще всего было обратиться. Так что, повторяю, иногда в частных случаях газета могла помочь, а за каждым случаем стоял живой человек, живая беда, и «засаливание» читательских писем — поступок предосудительный.

Правда, мой покойный друг Сергей Малик, много лет проработавший в Прокуратуре РСФСР и многим людям помогший восстановить справедливость, тем не менее говорил, что «в нашей стране квалифицированный жалобщик всего добьется». Наверное, так и было, но среди тех, кто писал в карагандинскую газету, я таких не припомню. Квалифицированными могли быть только упоминавшиеся мной (и отнюдь не презрительно) так называемые «тихоновские куркули» с их бесконечными тяжбами с соседями о незаконно передвинутых межах приусадебных участков. Но именно они у нас ничего не добивались — мы советовали им обратиться в надлежащие учреждения или пересылали туда их письма. Осуждать нас за это нелепо — для таких разбирательств нужны специальные штаты. Мы еще как-то могли защищать людей от госучреждений, но не друг от друга. Для этого существовал суд.

Последняя фраза в моих устах — после всего, что я рассказал — звучит, наверное, странно. Нет, я не утверждаю, что мы были правовой страной. Как только дело касалось политики или идеологии, исчезала всякая тень права. Исчезала она и в любых других делах, если, как мы видели, дело касалось заметных членов партии или вообще вмешивалась воля начальства (знаменитое «телефонное право»). Но в тех случаях, когда это интересовало местных и централь-

ных руководителей не затрагивало, правосудие могло работать. Я в этом сам смог убедиться. И опять-таки благодаря газете.

Предстояли выборы народных судей (в СССР все было «народным»), и меня послали на участок, где судьей был человек, которого «выдвинули» (кто «выдвинул»?) на этот пост вторично — я должен был присутствовать на заседании суда и потом описать, как этот судья ведет дела. Фамилию его, Ким, я запомнил — наверное, потому, что он был корейцем (корейцы были сосланы в Казахстан в конце тридцатых, но к этому времени были уравниены в правах). Мне было любопытно — ведь до этого времени я ни разу не видел открытого суда, приговор (вернее, решение ОСО) в отношении меня был вынесен в мое отсутствие.

Уголовное дело, которое разбиралось, было весьма простым. Обвиняемых было двое — вор-рецидивист и демобилизованный матрос. Друг с другом они познакомились только в ресторане в тот злополучный вечер, когда совершили преступление. Преступление было обычным для тех лет — напившись и желая добавить, стали отбирать у прохожих часы и, кажется, другие ценности. Были ли они застуканы на месте преступления или раскрыты потом, не помню. Вины своей они не отрицали, только стремились преуменьшить. Особенно рецидивист, который даже «пушал слезу», хотя прекрасно знал, что она никого не растрогает — видимо, для ритуала полагалось. Матрос слезы не пушал, вину признавал и вызывал сочувствие. Ясно было, что с ним это произошло впервые. Отзывы командования о нем, запрошенные и полученные судом из части, где матрос служил, были самые положительные. Для меня навсегда останутся загадкой такие люди — они ведь накануне еще не подозревают, что завтра станут преступниками. Вспомните того Петро, которого я встретил на пересылке. То, что случилось с ним, еще страшнее... Я могу их чувствовать, им сочувствовать, но — не понимаю. Хотелось бы надеяться, что это несчастье (сибирские крестьяне, видимо, знали, почему называли каторжников «несчастненькими») послужит ему уроком, но университеты, которые ему предстояло пройти, не очень подкрепляют такую надежду. Хорошо бы таких случайных новичков содержать отдельно от рецидивистов.

Но речь сейчас не об этом, а о том, что меня поразило больше всего — о самом суде. Поразило меня то, что это был на самом деле суд. «Политикой» здесь и не пахло, судили за реальное преступление, а я и к этому не привык. Судья не поддерживал ни прокурора, ни адвоката, давал им всем высказаться, принимал во внимание их доводы. И приговор был вынесен на основании данных судебного следствия, а не из каких-то таинственных соображений. Ни дать ни взять дореволюционный русский суд! И закончился он для меня тоже по-дореволюционному, по-чеховски. Назад я возвращался вместе с прокурором и защитником. Обсуждали возможность кассационной жалобы адвоката. И я понял, что если и у подсудимых, и у потерпевших нет влиятельных родственников, которые могут давить как в сторону умаления, так и увеличения вины, то есть нет причин прибегать к «телефонному праву», у нас может быть и правосудие — кадры для этого есть... Поэтому мое сегодняшнее утверждение, что такие дела, как самовольное перенесение меж в Тихоновке, мог вполне объективно решать и суд тех времен, вовсе не так странно в моих устах, как может показаться. При всей нашей «не ограниченной законом и опирающейся на насилие» (и врущей, что этого больше нет) власти. Но не все письма были из Тихоновки, и не все о межах. И не все наши заступничества (даже на страницах газеты) помогали... Госучреждения — нужда заставила — научились вполне квалифицированно отписываться... В государстве, которое брало на себя ответственность за все стороны жизни и при этом подавляло всякую личную инициативу, часто — как в истории с «индпошивом» — трудно было разобраться, кто прав, кто виноват. Многие обязанности учреждений были невыполнимы, а вопросы, которые они были обязаны решать, неразрешимы.

Но главным образом я имел дело с тем, что Борис Слуцкий называл «оборотной стороной ликвидации неграмотности в СССР» — отвечал на письма, содержавшие попытки художественного творчества, в основном стихи. Редакции обязаны были отвечать и на эти письма. В основном они отвечали формально, советовали повышать культурный уровень, побольше читать произведения классиков и тому подобное. В наши дни ничего этого нет. Прямо объявляется, что «редакция отклоненных рукописей не возвра-

шает и по их поводу в переписку с авторами не вступает», и мне кажется, что это не только честнее, но и разумнее. Конечно, и тут есть риск, ибо «а судьи кто?» Но этот риск — величина постоянная, и при необходимости отписываться его было не меньше. Это та преграда, которую всякий человек, на что-то претендующий, должен быть готов преодолеть. А та система могла у не очень грамотного человека создать впечатление, что литература — это область, в которую кто-то кого-то может и обязан вводить за ручку, как в детский сад. Это был частный случай «заботы партии о простом человеке», подавляющей его волю, инициативу и ответственность.

Это мои сегодняшние мысли. Тогда я так для себя не формулировал — правда, как все, ощущал в этой необходимости некую бюрократическую принудительность. Впрочем, я таких отписок не писал, а относился к делу с неуместной для большинства таких случаев старательностью. В своих письмах я не только указывал авторам на всякие версификационные неловкости и неумелости, как делали все, но и объяснял, что даже устранение этих недостатков не превратит их сочинения в произведения поэзии, и попутно в связи с этим, что такое поэзия, чем их стихи от нее отличались бы, даже если были бы написаны грамотно... И это все людям, вообще не имевшим представления о том, чем вдруг занялись, иногда не обладавшим элементарной грамотностью!.. Вероятно, самым чутким из моих адресатов мои объяснения пошли на пользу — почувствовали, насколько непросто то, куда они сунулись, и либо стали настоящими читателями, либо просто отказались от тщетных попыток. Но думаю, чаще мои откровения, отнимавшие у меня много сил и времени, пропадали зря. Хотя, если бы теперь найти и опубликовать отрывки из этих писем, они представляли бы некоторый интерес... К сожалению, у этой моей добросовестности была оборотная сторона. Письма мои получались длинные, на несколько страниц, и возроптали машинистки, у которых работы и без того хватало. Нам стали предъявлять претензии. Олег парировал их так:

— Ну, знаешь!.. Наум, наверное, лучше знает, что и сколько писать!

И это действовало. За что мне сегодня вдвойне стыдно перед этими машинистками, которых вынудили распла-

чиваться за мою неуместную добросовестность. Я и теперь убежден, что если надо было писать эти письма, то только так. Писать их иначе значило заниматься профанацией, а это вещь социально отнюдь не безобидная. Но теперь я думаю, что без особой, спонтанно возникающей нужды их вообще писать не следует.

Но я отвлекся от разговора об Олеге. Я очень ему благодарен за поддержку в этот, тоже не совсем естественный для меня период моей жизни. С ним и его женой Инной мы дружили домами и общались вполне откровенно. Кстати, именно от них я впервые услышал имя их родственника Бориса Можаява, узнал, что он писатель, член Союза, пользуется уважением таких-то и таких-то (произносились уважаемые и мной имена). Я этого имени не знал и поэтому отнесся к их словам без должного внимания. Ибо ни от кого из своих московских друзей я этого имени не слышал, а я знал, что среди провинциальных журналистов стать членом Союза писателей, да еще в Москве — это верх успеха и состоятельности. Ведь советская печать строилась по иерархическому принципу, чего теперь, слава Богу, нет, и это поневоле отражалось на представлениях журналистов. Извиняет меня и то, что с основными своими вещами Борис Можаяв еще не выступил. Потом мы с ним подружились, дружили всегда, и теперь, когда его вдруг не стало, я молюсь за упокой его души. Был у нас разговор и о Мухине. О его романе он говорил то же, что и я — впрочем, расхождений тут быть не могло.

— Жалко парня, — огорчился он. — И опыт есть, и все... Никак не вылезет из газеты. Сколько раз ему говорил — вроде понимает. А сядет писать — и опять газета прет... Съела его газета...

И это верно — съела. Газета, неудовлетворенность ею и следствие этой неудовлетворенности — водка. Она разрушила его жизнь. Всякую, семейную в том числе. Я его видел потом в Караганде, когда приезжал: и в 1961-м, и в 1965-м. Встречались дружески. Потом он уехал куда-то в Центральную Россию. И — пропал. Иногда мне начинает казаться, что тут и моя вина, что я чего-то для него не сделал, что бы его спасло... Знаю, что это не так, что ничего я не мог, да и не знаю, что бы ему могло помочь, а все-таки...

Но это уже былины иного времени, а разговор пока идет о моем пребывании в партийной газете: о 1953—1954 годах.

Разумеется, мое общение не ограничивалось одним Мухиным. Работало там много всякого народу, в основном вполне неплохого, часто талантливого. Я уже здесь говорил (пусть другими словами), что не стоит идентифицировать их как людей с идеологической функцией советской печати, в которой они работали. Никого в СССР нельзя было автоматически и полностью идентифицировать с его функциями в системе. Например, когда я приехал в Караганду, мне приходилось слышать от разных людей, что тогдашний секретарь местного обкома партии — человек, как выражались мои знакомые, вполне приличный. Может, поэтому его вскоре услали секретарствовать на Камчатку — этого не знаю. Но Виктор Некрасов, встречавшийся с ним через несколько лет во время своей командировки в те края, в своем новомирском очерке говорил о нем тоже с теплотой и симпатией. Это не значит, что этот секретарь не проводил — хоть в Караганде, хоть на Камчатке — партийную политику, что он мог, допустим, предотвратить второй арест Юры Айхенвальда или приказать печатать меня после того, как я был «разоблачен». Даже того это не значит, что он ясно представлял себе смысл происходившего в стране (а я представлял?), но кое-что все-таки значит. А именно — что на систему, даже в сталинском ее варианте, работали не одни подлецы и идиоты. Это, безусловно, относится и к журналистам, в частности к моим товарищам по «Социалистической Караганде», которые сами никакой политики не проводили.

Журналистика всегда притягивала к себе людей ярких и деятельных, увлеченных жизнью. Под тоталитарным давлением эти качества претерпевали трансформацию (что происходило и со страной в целом), но не исчезали вовсе. И поэтому почти со всеми у меня были хорошие отношения, а с некоторыми — дружеские. Прежде всего с той же Ирой Лиховской — она перешла сюда еще до моего появления — и с ее мужем Юрой. Юра в газете не работал, возглавлял какое-то техническое — кажется, геодезическое бюро. К советской системе относился как к данности, насчет которой не питал никаких иллюзий. Не столько из-за дворянского происхождения, сколько из-за общей хозяйственной нелепости.

— Вот я теперь на хорошем счету, — рассказывал он. — А раньше был на плохом, хотя работал так же. А все пото-

му, что на все с готовностью откликнулся: «Можете сделать?» — «Конечно». — «А когда будет готово?» — «Заходите завтра». И если, не дай Бог, ему ждать приходится час или два, начинаются нарекания, претензии, докладные. Потом я понял. Теперь звонят: «Примете заказ?» — мнусь: «Знаете, я бы с радостью, но мы теперь очень загружены. Позвоните недельки этак через три». Теперь, если я в порядке великого одолжения приму заказ и выполню его через две недели, он счастлив. И я на хорошем счету. Ценить стали.

Но я отвлекся. Юра прямо к редакции не относился, только захаживал. Привожу это воспоминание как деталь общей обстановки. И ее постепенного осознания. Но я не забыл, что разговор я начал о журналистской братии.

Самым ярким представителем ее в нашей газете был уже упомянутый мною вскользь Алексей Иванович Брагин. Был он человеком талантливым и явно интеллигентным — думаю, ни то ни другое качества по-настоящему востребованы не были. В Казахстане он жил давно, может быть, еще с довоенных времен, хотя родом он был с Дона — кажется, из Ростова. Как и почему он переместился в пространстве, я у него ни разу не спросил. Вообще я чувствовал, что за ним есть какая-то тайна, но за кем ее тогда не было? Политика велась так, что каждому было что скрывать*. Грешным делом я до последнего времени подозревал, что происходит он из казаков, сопротивлявшихся советской власти, и даже не из совсем рядовых. И только недавно от живущего в Кливленде, штат Огайо, прозаика Юрия Герта, раньше долго жившего в Казахстане, я узнал, что тайна была в другом. Независимо от того, к какому сословию принадлежали его родители, скрывал он главным образом совсем другое — его отец был меньшевиком. В последние годы сталинщины казачье происхождение уже почти не было компрометирующим, даже становилось достоинством; меньшевистское же достоинством не становилось, но тоже почти не преследовалось. Конечно, при случае могли посадить и за то и за другое — вспомните моего лубянского сокамерника, сидевшего именно за то, что его отец был меньшевиком. А в те годы, когда Алексей Иванович входил в жизнь

* Видимо, Сталина это устраивало — считал, что удобнее управлять страной виноватых (при помощи окружения, состоящего из провинившихся), где каждый вынужден изо всех сил доказывать свою лояльность.

(а он был существенно старше меня — поколения Смелякова, Мартынова и Твардовского), меньшевистское происхождение (равно, впрочем, как и «белоказачье», и многие другие) если и не сулило тюрьмы, то прочно перекрывало все дороги. А уж раз скрыв, надо было скрывать и дальше, чтоб не быть обвиненным в том, что скрывал. Это и привело к тому, что Алексей Иванович стал, как он однажды сам себя грустно назвал, «провинциальным литератором». А это означало не только жительство в провинции, но и привычку внутренне приспособливаться к уровню представлений провинциальных властей — не забудьте, что «партийное руководство литературой» осуществлялось на всех уровнях. В Караганде начальству было не до того, да и некем особенно было ему в этом смысле здесь руководить, а в Алма-Ате, где А.И. жил до недавнего времени (и через некоторое время), это руководство было достаточно ощутимо.

Из грустного самоопределения А.И. не следует делать вывода, что речь действительно идет о человеке с кругозором провинциала. Ничуть не бывало. Он был вполне интеллигентен, и кругозор его был достаточно широк. Речь вообще не о кругозоре, а о подрезанности крыльев. В творческом, конечно, отношении, в последствиях того, что я чуть выше определил как невостребованность. Невостребованность теми, в чьих руках была жизнь. Когда-то, в конце двадцатых — начале тридцатых, в них еще виделся (ошибочно, но виделся) критерий истины, справедливости и бескорыстия, до уровня которого интеллигенту следовало расти и расти, чтобы слиться в едином порыве... И стремление скрыть свое неблагоприятное происхождение часто могло проистекать не только из трезвого расчета (что в тогдашних условиях было бы вполне оправданным), но и из желания побыстрее убрать это мелкое недуховное и, с точки зрения великих свершений, случайное и досадное препятствие на пути к этому слиянию. Такое умонастрое-ние не повышало внутренней стойкости... Не поручусь, что все только что сказанное (или хотя бы часть) имеет реальное отношение лично к А.И. Брагину, я этого не знаю, но, судя по всему, отчасти имеет. Как и ко многим представителям его субпоколения, по условиям формирования и тому, что ему пришлось пережить, может быть, самого трагичес-

кого из всех советских поколений и субпоколений. Через это прошли и сильные, состоявшиеся таланты, которые, несмотря на все препятствия — внешние и внутренние, — в конце концов состоялись (Твардовский, Мартынов, Смеляков, Симонов*). Алексей Иванович пройти через это не смог, он в этом застрял, как многие другие. Те, кому придет в голову «в сердце своем» возвышаться над ними, глухи к трагедии, постигшей нашу страну. Что же касается самого Алексея Ивановича, то мысль о подрезанных крыльях пришла мне в голову после одного разговора.

Как известно читателю, я был восстановлен в Литинституте — согласно моему желанию на заочном отделении... А это было связано с необходимостью писать контрольные работы по разным предметам — в том числе и по современной литературе. Я выбрал поэму одной поэтессы-лауреата, имя которой сейчас не хочу называть. Я никогда не был поклонником ее творчества, но всегда относился к ней хорошо, да и вообще здесь она только повод — для удобства назовем ее N. Поэма ее не была бездарна (N вообще не была бездарна), но представляла собой описание трудового подвига молодых колхозниц, искренне восхищавших автора... Вероятно, очень хотевшего быть восхищенным, но это — другая тема. Описание это было не простым, а, так сказать, «поэтизированным». Оформленное вполне квалифицированным стихом, местами напряженное — сказывалось искреннее восхищение, — это описание тем не менее так и оставалось описанием, прозой по замыслу**. Я не предъявлял претензий к теме, а, анализируя текст и течение стиха, приходил к выводу, что поэтического замысла здесь не было. Сегодня я бы, наверное, написал это точнее, но и тогда все-таки сумел вытащить свои мысли и отношение. Это не было попыткой косвенным путем выругать автора за идеологическую направленность, эта проблема и впрямь меня очень интересовала и интересует.

Показал свою работу Брагину. Реакция его была неожиданной. Даже поражающей.

* Были и другие поэты — А.Тарковский, С.Липкин, М.Петровых и др., которых, строго говоря, советскими не назовешь. Но они — другая тема.

** Этого добра и теперь хватает; хотя темы стали жутко интимными и индивидуальными. Не в темах дело, а в характере замысла.

— В принципе это интересно, — сказал он. — Но когда читаешь, бестактно получается: «Какая маленькая N и какой большой Наум!»

Странная реакция. Работа моя была обычной критической статьей, ничем более. Если бы он сказал, что работа плохая, неверная, это не было бы странным, это было бы мнением о работе, хоть вряд ли бы я с этим мнением согласился. В статье моей не было заушательского пафоса, только независимый голос и серьезный разбор. Конечно, советский читатель от этого отвык, но ведь А.И. не был рядовым читателем, а был образованным человеком, который знал, какие бывают подобные статьи и какой вообще должен быть разговор о литературе. И вдруг такая реакция: его оскорбило не содержание статьи, а нарушение субординации!.. Это в нем, заглушая все, что в нем было и на что он был способен, сработала реакция действительно провинциального журналиста, для которого напечататься в республиканской газете — большая удача, в центральной — серьезный успех, а московские писатели, да еще отмеченные наградами, находятся в заоблачных высях. Я бы еще понял, если бы я принес ему эту статью для публикации и от него зависело бы: публиковать ее или не публиковать — тут было от чего растеряться и чего испугаться. Я бы взваливал на него некую ответственность. Но ведь этого не было. Раздражение его было бескорыстным — это говорила в нем та подрезанность крыльев, о которой я уже упоминал... Причиной ее было не только и не столько проживание в провинции — в той же Алма-Ате жили Николай Ровенский и Павел Косенко, крылья которых подрезаны не были — такая реакция с их стороны была немыслима... Дело тут было в том, что они — люди иного поколения, иного опыта, иной степени запуганности... Да и сам Брагин потом почеловечески от этого освободился, оттаял... Впрочем, и до этого, хотя в этой реакции что-то и проявилось, но настроение, стоящее за ней, вовсе не переполняло его все время (второго случая не припомню). Общаться с ним было интересно и приятно. Но в творческом отношении это оттаивание наступило для него слишком поздно. Потом он переселился обратно в Алма-Ату, стал членом Союза писателей, переводил, кое-что писал. Дела его шли неплохо, и претензий к нему ни с какой стороны быть не могло. И не

было у них никогда, нет и у меня. Просто меня никогда не покидало ощущение, что в него было заложено гораздо больше, чем он смог реализовать. Он, видимо, это тоже чувствовал. Этим и объяснялась его склонность к Бахусу, о которой я забыл сказать. Ибо она не была столь судьбоносна и разрушительна, как у Мухина. Добрые, теплые отношения с ним и с его женой Галиной Александровной Исаченко у меня сохранялись до моей эмиграции. С добрым чувством я вспоминаю их и сейчас. Хорошо, что я их встретил — особенно в Караганде...

Поскольку я заговорил о своих контрольных работах, я не могу не рассказать об одном курьезе, с ними связанном. Придется познакомить читателя и с предысторией эпизода. Почему-то мне при восстановлении в институте сперва не зачли курса по русской литературе начала XIX века, хотя до ареста экзамен по этому предмету у меня был сдан. Пришлось писать и контрольную работу. Ничего вроде страшного. Я много и тогда уже думал о Пушкине и с удовольствием поделился бы своими мыслями с ученой кафедрой. Но вот беда — я не знал, что о нем писать уже можно, а чего еще нельзя. Ведь год был еще 1953-й. Еще были обязательны для усвоения и повторения невероятные глупости о приоритете русских во всех областях науки и культуры, и в порядке «борьбы с иностранщиной» отметалась сама возможность влияния западных мыслителей и художников на наших. Прошло слишком мало времени, и я не знал, можно ли уже писать, что Пушкин испытывал иногда иностранные влияния (значение и роль которых в его творчестве я, кстати, и тогда не преувеличивал), или по-прежнему следует делать вид, что ничего подобного и быть не могло. А ведь были и более сложные проблемы. Писать же что-нибудь *не так, как надо*, мне никак нельзя было — сожрали бы. А я не затем восстанавливался в институте, чтоб рисковать, защищая очевидную истину в контрольной работе. Короче, я оказался в положении, близком к положению старика С.К.Шамбинаго, который не знал «слов», какие «надо говорить», преподавая русскую литературу XIX века. Правда, я не знал, какие *именно* слова следует говорить. Что было делать?

И я нашел блестящий выход из положения — отыскал в списке предлагаемых тем (его присылали) такую, о кото-

рой вообще не имел никакого представления, а следовательно, и «ошибочных» мыслей, и на ней остановил свой выбор. Она называлась «Поэты-радищевцы (Пнин, Востоков и другие)». Импонировало мне и то, что список рекомендованной литературы к ней ограничивался вступительной статьей к одноименному сборнику. О том, что я прикоснулся к этой теме, я не жалею. Эти радищевцы, конечно, не были поэтами, да и в радищевцы их произвели несколько слишком обобщенно, конъюнктуры ради. Но они были учеными и благородными людьми и имели отношение больше к истории русской интеллигенции, чем к истории русской литературы. Но тогда я об этом не думал, мне надо было писать работу. И я сделал все, что позволяла тема и материалы к ней — добросовестно пересказал вводную статью, добавил пару собственных соображений, запечатал и отправил в Москву. В полной уверенности, что теперь я кум королю, что ко мне теперь ни с одной стороны не подберешься.

Но оказалось, что я отстал от развития прогресса, не заметил из своего провинциального далека, насколько уже окрепли в Москве либеральные веяния. Из института пришел гневный ответ, в котором молодая преподавательница «выводила меня на чистую воду» — доказывала мне, что работа несамостоятельна, выражала удивление по поводу выбора мной темы — неужто не нашлось более интересной и важной для такого богатого периода в истории нашей литературы? Дальше она не нашла у меня ни одной собственной мысли и в заключение советовала учиться мыслить самостоятельно. Последнее очень умилило — таких советов мне никогда никто не давал ни до того, ни после этого. Безусловно, рецензентка была права по всем пунктам. Ее письмо свидетельствовало о том, что я достиг всего, к чему стремился — работа никак не проявляла способности автора к самостоятельному мышлению. И тему можно было выбрать поинтересней (потом в процессе жизни я так и делал), но вот вопрос: а кто мне эту тему предложил? — но над этим вопросом самостоятельно мыслившая преподавательница не задумывалась. Тут она знала, почему так нужно было делать. А что те же обстоятельства могли определять и мое поведение — да еще при обратном адресе «Караганда», — ей и в голову ее самостоятельную не приходи-

ло. Она видела во мне того агрессивного жлоба, перед которым еще недавно приходилось расшаркиваться, и теперь освобождалась, расправлялась с ним как следует. Неспособность и нежелание либеральной интеллигенции понимать обстоятельства людей «вне нашего круга» отчасти сказались и в этой отповеди. Впрочем, она была в этой отповеди права и честна. Слава Богу, роли в моей жизни эта ее правота не сыграла — мне зачли сданный до ареста экзамен, который принимал у меня, к слову сказать, А.Л.Слонимский. А ведь могли и не зачесть. И что бы я делал — ведь «слов» я пока еще по-прежнему не знал.

Но и я в этой истории дал маху — после всех антикосмополитских собраний в Литинституте и «теплого» приема, оказанного мне по возвращении, я относился к этому заведению как к чему-то вроде филиала МГБ. Может, какие-то основания для этого были, но в чем-то это оказалось не совсем так. И чем больше я входил в его жизнь, тем больше в этом убеждался... Да ведь и в обе карагандинские редакции я шел как в стан врагов, а потом оказывалось, что там работают люди, такие как везде, а часто и более близкие мне. Все дурное в стране (все хорошее тоже, но не о том речь), в том числе и в идеологии, делалось людьми, и часто совсем неплохими. Во времена, когда вся жизнь в «тоталитарном захвате» (А.Солженицын), о человеке — я уже здесь отмечал — не всегда можно судить по его функциям.

Так получилось, что наиболее близко я сошелся с людьми, прямого отношения к редакции не имевшими, но как бы входившими в ее «коллектив» — слово скомпрометированное, но в данном случае незаменимое. Можно еще сказать: в «редакционное сообщество», но как-то не подходит к тому времени. Речь идет об аккредитованных в Караганде корреспондентах. Может, это было связано с тем, что они состояли в редакционной парторганизации, в которой числились и корреспондентка Всесоюзного радио, и корреспондент «Правды», но они в это неформальное сообщество не входили. Корреспондентка радио из-за женской занятости, а корреспонденту «Правды» — кажется, его фамилия была Антонов — видимо, по уставу полагалось сохранять дистанцию — все-таки представитель главного надзирающего органа в области. Отзывались о нем все, кто его знал, с искренней симпатией. Сам я с ним ни разу не общался,

но несколько раз его видел, и впечатление на меня он тоже производил хорошее — лицо умное, вел себя скромно. Конечно, внешняя скромность корреспондентам «Правды» предписывалась, но ощущалось, что для него она естественна. Ничего, что могло бы компрометировать его в моих глазах — я имею в виду то, что он тогда публиковал в «Правде», — я за ним не числю... Хотя понимаю, что значила работа в «Правде». Но ведь и в «Соц. Караганде» — тоже. Что делать, если вся энергия страны, по позднему выражению, «уходила в гудок», если вся она практически работала на этот «гудок»? С детства воспринимаемое как данность, это по-своему формировало людей, социальную стратиграфию, социальную психологию, шкалу престижа и, следовательно, выбор жизненных дорог.

Но Антонов, как уже сказано, не входил в круг моего общения. Общался же я (помимо Олега Мухина, Иры Лиховской и Алексея Ивановича Брагина) еще с корреспондентом КазТАГа (ТАСС) Марком Фельдом — о нем разговор особый, — а также с корреспондентом «Труда» Борисом Моревым и корреспондентом «Известий» Бобровым (свели меня с ними те же Фельд и Брагин). Люди это были неглупые, прошедшие огонь, воду и медные трубы советской журналистики. Общение с ними носило не интеллектуальный, а богемный характер — возможно, сказывалась выработанная за многие годы привычка, даже техника, свободно, непринужденно и весело общаться, при этом даже краем не задевая острые, насущные, да и просто серьезные, то есть чреватые опасностями темы. С годами это стало нормой приличия, даже респектабельности и не требовало усилий. И действовало и тогда, когда в этом отпала нужда — хотя в те месяцы это еще было далеко не так ясно. Конечно, мое общение с Фельдом (о нем чуть позже) и Алексеем Ивановичем было несколько иным, ибо они были интеллигентами, и как бы ни был подмят эпохой А.И., от бессмысленной потребности мыслить он бы избавиться не мог. Но когда мы собирались все вместе, общение приобретало именно тот характер, который я называю богемным... И дело было не в том, что кто-то кому-то не доверял, в порядочности друг друга никто не сомневался, но просто такое общение стало бытом и традицией. Общаться с ними было приятно — вероятно, потому, что понимание общих обсто-

ятельств, хоть они и не обсуждались, все-таки молчаливо присутствовало в наших общениях и было оно, в общем, одинаковым. Это не имело отношения к политическим взглядам — у всех у нас они тогда были коммунистическими, политические разногласия в обществе возродились потом, — а к чему-то более элементарному и человеческому, что подавляла сталинщина. То, что она воспитала, а то и окрылила слой тупиц, для которых стихия такого подавления — единственное представление о воздухе и ценностях жизни. Но это не система политических взглядов, пусть даже самых неприемлемых, а социальная болезнь, трупный яд в ее крови. Никто из тех, о ком я говорю, к этому слою не относился, и сближало нас всех если не противостояние ему, то хотя бы стремление отгородить от всего этого свой досуг.

Все эти люди, кроме моего ровесника Фельда, были зубрами советской журналистики и знали много смешных историй из журналистской жизни... Особенно Бобров, начавший свою деятельность еще в годы первой пятилетки... Произнес «еще» и вдруг сообразил: ведь это «еще», казавшееся очень отдаленным временем, было тогда отделено от нас максимум двадцатью с немногим годами, а теперь со дня этого разговора прошло уже почти полвека, да и в эмиграции уже живу — и все это не так давно для меня. Конечно, это аберрация связана и с возрастом, с ограниченностью человеческой жизни, опыта и восприятия. Но не только. Гражданская война кончилась всего за 13—15 лет до начала моей сознательной жизни, а казалась вообще почти доисторическим временем, чем-то вроде времен сотворения мира, хотя все родители мои и моих сверстников пережили это время. Все дело было в том, что мир наш действительно сотворился в октябре девятьсот семнадцатого — до этого была только борьба за его наступление или противодействие этому, а еще раньше — чистое дикарство. Не скажу, что мы больше ничего не знали и не представляли, но таково было летосчисление нашего мира. Ему бы еще и сейчас не было восьмидесяти пяти, а тогда вообще было всего ничего. К тому же каждое следующее трехлетие из упомянутых сорока отличалось от предыдущего лозунгами, общей аурой и кумирами — почти системой ценностей. Оттого и выглядело двадцать лет таким «еще», таким большим сроком и такой интерес вызывали истории Боброва... К сожа-

лению, из всех его историй я запомнил только одну. Рассказал он ее, когда мы, он, А.И., Фельд и я, прогуливались по парку имени Орджоникидзе — так назывался бульвар, занимавший часть проспекта Ленина рядом с редакцией. Разговор шел о какой-то мелкой неприятности в редакционной жизни — пришло какое-то вздорное опровержение на критическое выступление газеты. Никому это ничем не грозило, газета никогда по своей инициативе (участие в декретированной сверху политической травле, где беспредел был нормой, определялось не ее инициативой) не начинала атаки, не имея документальных доказательств своей правоты. Но все-таки это было событие в жизни редакции, и о нем говорили.

— А когда я в тридцать первом работал в ... (он назвал город и шахту в одной из горячих точек пятилетки, но я не запомнил, какую именно), такого быть не могло — в чем бы тебя ни обвиняли, раз напечатано, полагалось признавать критику правильной. А однажды мы совсем развеселились, фельетон о каком-то начальнике назвали «Очумелый бюрократ». Тут он не выдержал, стал жаловаться, нас — в партком. Он выступает, говорит: «Я безусловно признаю критику правильной (иначе тогда нельзя было), конечно, есть в моей работе элементы бюрократизма, я это учту, но, товарищи, почему «очумелый»? Знакомые проходу не дают».

Бобров рассмеялся — воспоминание о наивном романтическом начале нынешней эпохи, совпавшем с юностью его поколения, с его собственной, что все-таки не помешало юности, было приятно ему... Мне она тоже казалась живой и прекрасной. Но не так ли зарождались качества этого поколения, определившие его беспомощность перед всем, что на него надвигалось, что превратило одних его представителей в бессмысленных палачей, а других — в бессмысленные жертвы? И что не помешало основной части этого запуганного и запутавшегося в трех соснах поколения вынести на своих плечах всю тяжесть Отечественной войны, полечь на фронтах и все-таки спасти мир от нацизма. Чудны дела твои, Господи!

На идеологические темы я беседовал больше с Фельдом. Не потому, что больше ему доверял (я вполне доверял и Олегу Мухину, и Алексею Ивановичу, и кое-кому еще — вообще не таился), а потому, что его это больше интересо-

вало... Он закончил философский факультет Киевского университета, входил в группу молодежи, которая исповедовала, точнее, разрабатывала примерно те же «теории», что и я до ареста. То есть члены ее, как и я когда-то, стремились подвести серьезную научную (скорее, марксистско-идеологическую) базу под сталинщину и ее преступления, искали и находили оправдания им и ей. Так что не я один был такой — многие искали смысл в этой бессмыслице, но сталинщина в интеллектуализации не нуждалась. Их самостоятельное согласие с линией партии, естественно, вызвало подозрения киевского МГБ, их стали таскать на беседы, но ареста они все-таки избежали. Потом — так получалось — я в разных местах и в разное время познакомился и с другими членами этой группы, с каждым отдельно. Былая принадлежность человека к этой группе обнаруживалась случайно — допустим, при упоминании имени Караганды или Фельда. Разумеется, в период моего знакомства с ними они уже прежних взглядов не придерживались. Не придерживался их уже в описываемый период и сам Фельд. После всех «приоритетов» и, конечно, «дела врачей» вера в спасительную диалектику как в подобие философского камня, способного преобразовать грязь в золото, потускнела. Как и гордость пониманием ее «закона» и умением ими манипулировать для иллюзии своего взаимопонимания и единения с «эпохой».

Но по характеру Фельд был чужд всякой схоластике, в том числе и диалектической. Скорее, он был склонен к доброжелательной, хотя и несколько ироничной наблюдательности. Это проявлялось и в его отношении к происходящему, и к людям, и к своей работе. Он во всех тонкостях понимал, как работает советская система и какая роль отведена печати. Он считал, что это не только средство пропаганды, но и все-таки как-то выбивающийся из номенклатурной иерархии (корреспондент «Правды» не зависел от обкома, наши корреспонденты на местах — от райкомов) орган критики — в смысле надзора за правильным исполнением директив. В той системе это было даже неким компенсатором. Ольга Чайковская, кроме всего прочего, автор очерков и статей на судебные темы, говорила мне в конце 90-х:

— Раньше они (правоохранители и судейские) боялись только прессы и начальства, а теперь — никого.

От того, что компенсатор исчез, людям стало не лучше, а хуже — ведь деятели остались те же, только вырвались из-под присмотра! Да и судебная система мало изменилась...

Очень тонко понимал Марк и специфику ТАССа, создающего направленную информацию — я бы сказал, дезинформацию — подбором фактов и по возможности скрытым их истолкованием.

В принципе он относился к происходящему как к данности — взгляд был бы мудрым, если бы «данность», с которой мы все имели дело, не была столь качающейся и судьбоносной. Но что мы могли изменить при любом своем отношении? Тем более что от общей идеологической схемы — правда, теперь уже освобожденной от сталинской профанации — мы не отказывались. Поэтому мое общее отношение к происходящему — оно отличалось только последовательностью в отрицании сталинской системы — не вызывало его возражений, но моя «зацикленность» на этом казалась ему чрезмерной, чем-то вроде того, что теперь обозначается словом «экстремизм». События показали, что эта «зацикленность» была реакцией не только не чрезмерной, а и недостаточной, но об этом в те дни не догадывался еще и я сам. Не знал этого и Фельд. И тогдашнее его восприятие моего поведения выразилось однажды такими словами:

— Конечно, существует журналистский цинизм, всякое острословие. Это естественно, при том, что им иногда приходится делать — они ведь не идиоты*. Но у тебя совсем другое. Ты все время бьешь в одну точку — работаешь как ТАСС, только наоборот.

В его словах не было осуждения, скорее, ему это нравилось, но слишком он привык относиться к системе со всеми досконально ему знакомыми и понятными нелепостями как к данности. И та напряженность, с которой я все время этому внутренне — конечно, только внутренне! — противостоял, его удивляла как аномалия, даже забавляла. Видимо, он полагал, что хотя дело и плохо, но может так

* Крайним его выражением было сообщение ТАСС об освобождении заложников в Энтеббе израильскими спецслужбами. Помимо дежурных поношений израильских агрессоров за их очередное преступление сообщалось, что, совершив свои злодеяния, они потом, «захватив заложников, улетели». Словно они совершили эту операцию с целью захвата, а не освобождения заложников. Много тогда, наверное, смеялись в здании ТАСС у Никитских ворот.

продолжаться вечно или потом все само собой образуется, как говаривал, правда, в несколько иных обстоятельствах Стива Облонский. То есть отчасти полагал (хотя так и не формулировал), что наша вздыбленная современность — это «просто жизнь», так к ней и надо относиться. Как потом прямо — только менее простодушно и более корыстно формулировали и чем утешались литературные «сорокалетние» семидесятых годов и те, кто им наследовал. Однако все они ошиблись — «просто жизнью», как ни далека и она от идеала, никому из нас и дня пожить не удалось.

Через Фельда я тоже смог узнать кое-что любопытное. Вот пример. Пропагандировать очередное решение «коллективного руководства» (так тогда именовалась наша власть) разъехались по областям все его члены. Лидера, прибывшего в нашу область — кто это был, я не помню, — по долгу службы в его вагоне посетил Фельд. Разговор был по делу — о предстоящем выступлении высокой персоны перед «массами» и об информации о нем в прессе. Марк мимоходом обронил, что имеет от своего руководства указание о размере этой информации — допустим, двести строк.

— А разве не сто пятьдесят? — испугалась важная персона. — По моим сведениям, было решение — сто пятьдесят.

— Нет, в телеграмме ясно говорится: двести. — И Марк показал телеграмму.

— Ладно, я сегодня буду звонить в Москву, уточню, — успокоилась, найдя выход из рискованной ситуации, важная персона.

Так держали тогда друг друга за руки, чтоб никто не мог самовольно высунуться, наши руководящие товарищи. Оно, конечно, было и понятно, но одно дело — умозрительность и интуиция, и совсем другое — личное впечатление твоего товарища.

Вообще круг обязанностей Фельда был невелик. В обычные дни он должен был найти — в основном в нашей газете — существенный (с точки зрения пропагандистской картины) материал и отправить в ТАСС телеграфом «информашку» строк в десять—двадцать. Все это вызывало со стороны его товарищей разнообразные, без всякой злобы или задней мысли, шутки и эпиграммы. В том числе и мою:

Мне бы жить, отдыхая
Душою и плотью:
Как фельдмаршал — в отставке,
Как Фельд — на работе.

Его это не огорчало. Начальство его работой было довольным. Вообще эпиграмм, которые мы писали друг на друга, было много, были они остры, часто талантливы, но имели, так сказать, только локальный интерес. Приводить их здесь особого смысла нет.

Рассказ о редакционных буднях не входит в мою задачу. Да и в памяти остались только человеческие отношения, о которых была уже речь. Для того чтоб говорить об этом подробно, надо было бы писать на этом материале полноценную художественную прозу, а я никогда не чувствовал себя прозаиком — хоть и никогда не относился к прозе свысока, как свойственно многим представителям поэтического цеха. Да и задачи у меня, сформулированные мной в начале этих мемуаров, иные.

Не поговорить напоследок чуть более подробно еще об одном человеке в редакции — об уже не раз тут упоминавшемся ответственном редакторе нашей газеты Федоре Федоровиче Боярском, я просто не считаю возможным. Да и сюжет не позволит.

Безусловно, Федор Федорович Боярский, к которому я всегда относился и теперь отношусь с симпатией, был человеком системы. И при всем том он был хорошим, достойным и надежным человеком. Противоречие? Возможно. Хочу только напомнить, что вне системы в нашей стране не было ничего. Когда-то я говорил, что коммунизм (имелся в виду первоначальный, подлинный коммунизм) страшен еще и тем, что часто (отнюдь не главным образом и не только) привлекает к себе людей бескорыстных, расположенных к добру, и превращает их во врагов человечества. Сталинщина в основном таких людей отталкивала, но выдавала себя за воплощение их идеализма, при этом выхлостив из него всякий смысл — но для камуфляжа хватало. Больше всего ей подходили исполнительные ничтожества. Ничтожества она и привлекала, им открывала все дороги. Но система потому и была тоталитарной, что пронизывала и подменяла всю жизнь страны, а для новых поколений и

всю ее мысль, все представления об истории. Все жизненные дороги были связаны с ней, и привлекала она к себе не только ничтожество... Многих из таких она потом все равно превращала в ничтожество. Но все-таки не всех до конца.

В сущности, о Боярском до его появления в газете я не знаю почти ничего. Только что в Караганду он был направлен из Москвы после окончания ВПШ (Высшей партийной школы при ЦК КПСС), что он воевал и был ранен (он и теперь хромал) — вот и все. Ни из кого он происходит (почему-то мне кажется, что из прииртышских казаков, но, может, это и не так), ни где, ни кем он работал до войны, а по возрасту где-то и кем-то он работал. Вряд ли он это скрывал, но просто об этом никогда не заходил разговор — говорили на другие темы. Так что в своих суждениях о нем я опираюсь только на свои личные впечатления и на восприятие тех, кто его окружал. Высокий, крепкий, стройный, несмотря на хромоту, с волевым, но в то же время живым и мягким лицом и умными, понимающими и, несмотря на строгость, добрыми глазами, он вызывал не только симпатию, но и доверие и в общем его не обманывал. Впечатление мое не изменилось, и когда по доносу временного ответсекретаря я был отлучен от печатания, и когда в дни свистопляски вокруг «дела врачей» в газете — ведь не без его же ведома — был опубликован подстрекательский антисемитский фельетон «33 Поляковых». Все это исходило не от него, а от системы... Вероятно, он стремился смотреть ее глазами, находить в ее деяниях смысл, целесообразность, справедливость — не знаю (а я разве не занимался тем же, пусть по другим поводам?). Я уже отметил, что он был человеком системы. Сохранял ли он при этом хоть малую, хоть какую-то способность внутренне дистанцироваться от «воли партии», способность самостоятельного суждения? Думаю, что хотел он этого или нет — а сохранял. Ибо слишком был очерчен, умен и — не побоюсь сказать — талантлив. В чем? Действительно, он ничего не писал, ничего замечательного после себя не оставил — только редактировал партийные газеты разного уровня. И не во времена, когда этим еще могли заниматься такие люди, как Н.И. Бухарин, а в эпоху нивелированной печати — что тут после себя оставишь! Да ведь и не был он Бухариным — тот, безусловно, был интеллектуалом, а потенциально и худож-

ником. В чем же он был талантлив? А в том, что, несмотря на свои посты и несмотря на то что был человеком этой мертвящей системы, во многих людях оставил по себе добрую память, оставался живым и мыслящим — пусть и в рамках системы — человеком. А иначе — с чего б он вдруг стал симпатизировать мне? А ведь мы с ним общались, особенно потом, во время моих наездов в Алма-Ату. Он тогда уже работал там, был ответственным редактором «Казахстанской правды» — что ни говори, органа ЦК КП Казахстана — и, конечно, членом казахстанского ЦК. А я — хоть я не был уже тогда изгоем — был внештатным сотрудником не очень одобряемой тогда начальством «Литературной газеты». Он принимал меня у себя дома, мы с ним разговаривали вполне свободно и дружески. Конечно, тогда уже это мне ничем не грозило, но при случае могли и припомнить. Мне кажется, он в основном ценил во мне самостоятельность. Не оппозиционность, а именно самостоятельность. И сам он был самостоятелен, хотя в номенклатуре это качество могло сослужить и дурную службу. Но в его случае оно однажды сослужило ему службу хорошую.

Случилось это в пору всяческих «починов» и «начинаний» при Хрущеве. Поскольку жертвой «почина», о котором пойдет речь, оказался я сам, помню я это особенно хорошо. Мне надо было возвращаться из Алма-Аты в Москву, и я собирался, как всегда это делал, захватить с собой некоторое количество яблок, знаменитого здешнего сорта «алма-атинский апорт». Но, придя на «Зеленый базар», я был обескуражен. На прилавках вместо гор фруктов, и прежде всего гор ярко-розового апорта, теперь только кое-где виднелись редкие кучки весьма хилых и вялых яблочек. Крестьяне, подъезжавшие к рынку с возами фруктов, прочитывали объявление, прибитое к воротам рынка, пожимали плечами, чертыхались, разворачивали лошадей и убирались восвояси. Объявление гласило, что постановлением Алма-Атинского облисполкома на рынках города и области цены на фрукты не должны превышать установленного максимума, который тоже был включен в текст постановления. Те хилые и вялые фрукты, которые лежали на прилавках, продавались теперь по этому максимуму, намного превышавшему их обычную стоимость. Благодаря решению исполкома они овладели теперь рынком. И я не привез в Москву

алма-атинских яблок, которых я хотел, но не мог купить, а кто-то хотел, но не мог продать. Ибо в отдельно взятой Алма-Атинской области, стремясь соответствовать реформаторскому пафосу тогдашнего генсека, была проявлена инициатива — был частично восстановлен «режим военного коммунизма».

Интересная деталь. Возвращаясь с рынка вместе с другими потенциальными покупателями, в основном домохозяйками, как и я, оставшимися без покупок — вялые яблоки им тоже были ни к чему, — я был удивлен их реакцией... Они, конечно, были озабочены и недовольны, но, как ни странно, объектом их недовольства были колхозники. «Таким и надо! — ругались тетки. — А то совсем распоясались, последнюю шкуру дерут». Крепко вбито в сознание людей это представление, что продающий — стяжатель, жулик и эксплуататор. А понимание того, откуда берется продаваемое, каких трудов стоит, не то что отсутствует, но как-то исключается из сознания. Работала здесь и выработанная десятилетиями террора привычка переадресовывать раздражение.

Да что эти тетки — они дня через два поневоле поуменьли. Дифирамбами по поводу этого «прогрессивного» нововведения разразилась областная газета «Алма-Атинская правда». Явно готовилась очередная свистопляска, мысленно в одежде сверлились дырочки для новых орденов.

А вот республиканская «Казахстанская правда» почина «столичной парторганизации» не поддержала, хранила молчание. Конечно, Боярский не мог не понимать, что этот «почин» — очевидная глупость. Но при этом не мог он не понимать и того, что очевидной глупостью было и «рязанское чудо», когда Рязань «по мясу» перегоняла Америку. Для чего был перерезан почти весь скот, в том числе частично хитроумно отобранный у «частного сектора» — приближающегося коммунизма ради. Потом это было признано ошибкой, но тех, кто сопротивлялся этому хрущевскому вдохновению, потом не восстановили. Свободолюбец Хрущев не любил, когда кто-то оказывался более прав, чем он. Какие основания были у Боярского думать, что Хрущев и тут не вдохновится? Потом бы это все равно тоже отметили и признали ошибкой, но... слава Богу, Хрущев на этот раз не вдохновился, и Боярский выиграл. Но это выглядело

тогда далеко не столь однозначно, как теперь... Тогда это требовало самостоятельности и твердости — шутка ли, не поддержать всенародный (других не бывало) почин! За такое консерваторство по головке не гладили. Но у Боярского хватило мужества.

Однако разговор у нас сейчас не об Алма-Ате, а о Караганде — часть этой книги, посвященную ей, я сейчас кончаю. И кончаю ее Боярским. И это не случайно. Ибо задержавшееся окончание моего пребывания в этом городе связано именно с ним. И с его самостоятельностью тоже.

О том, что мне надо поскорее вернуться в Москву, я прекрасно знал. И я собирался это сделать, но никак не мог собраться. Это было необходимо, но связано со многими трудностями — прежде всего мне там негде было жить. Проблема нешуточная — ведь я был женат, и жена была беременна. Но и задерживаться здесь мне больше было нельзя. Это значило отказываться от судьбы — судьба моя явно была не здесь. Но я все медлил. Видимо, нужен был толчок. Но кто б меня стал толкать? Помощь пришла с неожиданной стороны. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Впрочем, до несчастья дело не дошло.

Это был 1954 год. Летом пышно праздновалось трехсотлетие объединения Украины и России. Не думаю, что кто-нибудь на Украине или в России отнесся к этому празднику всерьез — кроме, может быть, литинститутского завуча, доцента Таран-Зайченко, который с гордостью нацепил на лацкан пиджака значок с соответствующей эмблемой. Но, как всегда в таких случаях, все вокруг праздновало. Я по этому поводу написал ироническую «Оду в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией»*. Читал ее и в Москве, и в Киеве, и в Караганде, и в редакции, и все сходило. Но кому-то я прочел ее в помещении отдела писем, куда меня к тому времени (почему — не помню) перевели от Олега. И тут случилось — дама, к тому времени заместившая Волкова на посту заведующего этим отделом (и по партийной линии, кажется, тоже), доложила об этом Боярскому.

Почему она это сделала, мне и теперь непонятно. Из ненависти ко мне? Но ее не было — отношения у нас были равными, вполне дружелюбными. К тому же я ей ни в чем

* К этой «Оде» я и отсылаю всех, кто интересуется моим отношением к этому празднику. Она с тех пор была неоднократно опубликована.

не мешал и мешать не мог. По глупости? Конечно, позволять себе доносы тогда уже было неумно. Тем более доносить такому человеку, как Боярский, которому это, скорее всего, и раньше претило. Но особой глупости, как и особого ума, я в ней тоже не замечал. Обыкновенная женщина. Инерция представлений еще не глупость. Но откуда все же вдруг такой пароксизм подлости? Можно, конечно, ограничиться гордым заявлением, что психология подлости не всем доступна, но это ничего не объясняет. Скорее всего, ее просто оскорбило, что кто-то смеет позволять себе смеяться над тем, пред чем всем приказано преклоняться, что уже по всему по этому есть абсолютная истина. Так она была воспитана и только так могла ориентироваться. Те, «кто слишком много о себе понимал» (это не ее язык, но суть ее отношения к интеллектуальной жизни), покушались на ее способность ориентироваться, в сущности, занимать то место в жизни, которое она занимала, разрушали атмосферу, к которой она привыкла. Она, конечно, знала, что атмосфера в чем-то меняется, но как меняется и с чем это сопряжено, вряд ли тогда уже догадывалась. Тогда ведь Сталина еще не раскассировали, только слегка подкусывали, больше действиями, чем словами, — так что большинству это было и не заметно. А что касается ее поступка, то не исключено, что тут был и элемент женского кокетства. Боярский очень нравился нашим дамам — и, возможно, она таким образом хотела обратить на себя его внимание. Как-никак она сообщала ему ценную информацию, как бы предотвращала возможные неприятности... Я помню, как она встала, вся подтянулась, даже похорошела (хотя уродиной и до этого не была) и вышла из комнаты. Я, конечно, не понимал, куда и зачем она пошла, но это запало.

Она, конечно, не понимала, что своим поступком поставила в сложное, а проще сказать, ложное положение всех, и в первую очередь самого Боярского. Но она это сделала. Представьте его положение. Мое стихотворение откровенно иронически относилось к недавней грандиозной пропагандистской кампании партии, а партия никакой иронии по отношению к своим мероприятиям, тем более недавним, допустить не могла... Тем более со стороны сотрудника партийной газеты, каковым я тогда являлся... И покрывать меня ответственный редактор такой газеты никак

не мог. С другой стороны, дело было грязное, доносное и совсем не в характере Боярского.

Но сигнал поступил, и он должен был принять меры. Дама после содеянного вернулась и села за свой стол с независимым видом. А через пару минут появилась секретарша с сообщением, что меня вызывает Федор Федорович.

Я был несколько удивлен, обычно он меня столь персонально не требовал, но по-прежнему ни о чем не догадывался — связи между этими двумя фактами я еще не уловил. Однако встретил меня Федор Федорович непривычно строго. Брови его были насуплены.

— Вот что, Наум, — сказал он, — дело очень серьезное. Ты написал плохие, неправильные стихи о Богдане Хмельницком.

Я признал, что у меня есть стихи на эту тему, но насчет оценки их содержания «ушел в глухую несознанку».

— Ну хорошо, — сказал он. — Покажи мне эти стихи.

Что было делать? Но во мне проснулся весь мой лубянский опыт, все зэковское хитроумие.

— Так у меня их здесь нет, — «честно» затруднился я. — Разве что домой сбегать...

— Что ж, сбегай, почитаем, посмотрим.

Он прекрасно понял мой маневр. Но в данном случае мы оба не нуждались в раскрытии истины. Чувствовалось, что этот разговор его тяготил, а конец его принес облегчение — наметилась тропка, выводящая из трясины.

Я со всех ног бросился домой — каждая лишняя минута уменьшала достоверность моего замысла. Добежав, я сразу, в считанные минуты («жить захочешь — легкость пера проснется») переделал свое «ужасное» стихотворение в наивно-крамольное упражнение усомнившегося мальчика (совсем «правильное» сочинение тут не годилось — что-то ведь должно было вызывать позыв к доносу) и так же быстро прибежал назад. Времени ушло не больше, чем если бы я проделал оба эти конца нормальным шагом. Алексей Иванович потом восхищался тем, что я нашел верный тон для этой фальшивки:

— Ну и Наум! Все опасное убрал, а все же легкий налет крамольности остался. За это можно слегка пожурить, но не больше.

Но Федор Федорович меня слегка журить не стал.

— Я понимаю, — сказал он, — ты мне не те стихи принес (потом, в Алма-Ате, он выражался четче: «Я ж понимал, ты ж не дурак»), да и эти не совсем. Но дело не в этом.

И он намекнул мне, что в этой ситуации мне надо уходить. Как он это сделал, не помню, но в форме совсем небидной.

— Что ж, — сказал я. — Мне уже и так давно пора в Москву.

И написал заявление об уходе.

— Вот и хорошо! — обрадовался Федор Федорович. — Так будет лучше.

В таком исходе его устраивало всё: и мой отъезд, и мое заявление. О том, что я собираюсь в Москву, знали все — так что и он, и все понимали, что зла он мне не причинил. А с другой стороны, он по сигналу «принял меры» и изгнал смутьяна из здорового коллектива. Столько изворотливости надо было проявить двум, как я полагаю, серьезным и неглупым людям, такое стечение обстоятельств должно было этому сопутствовать, чтобы была нейтрализована неуместная активность одной, по меньшей мере, не очень умной и даже не очень руководящей дамы. В этом и была суть еще не отошедшей сталинщины.

Но из того, что она не совсем отошла, следовал и другой вывод — надо было учитывать, что слухи об этом эпизоде и, следовательно, этом стихотворении дойдут куда не надо, а что там завертится — не предугадаешь. И лучше не пытаться судьбу, а как в Калуге, как можно быстрее сматывать удочки.

И дня через два-три я уехал — сбежал в Москву. Точнее, окончательно туда возвратился. Это было в конце декабря 1954 года. С ночи на 21 декабря 1951 года, когда «лазоревый подполковник» со товарищи увезли меня из литинститутского общежития на Лубянку, прошло семь лет и несколько дней. Я никогда не считал это время потраченным зря.